



ЮНОСТЬ

10

1969



Акварели
Г. ХРАПАКА.

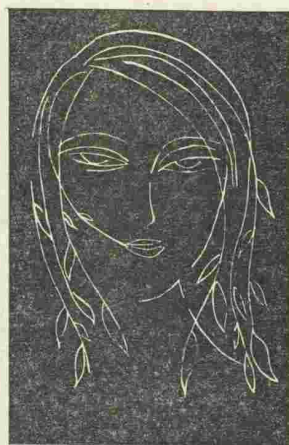
Дом-музей В. И. Ленина в Ульяновске.



Комната Володи в доме Ульяновых.

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



ГОД ИЗДАНИЯ
ПЯТНАДЦАТЫЙ

10

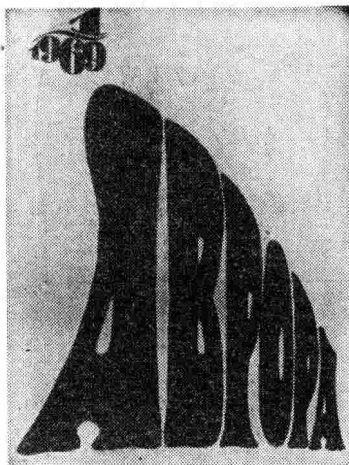
[173]

ОКТЯБРЬ

1969

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

Салют, «Аврора»!



В Ленинграде родился молодежный журнал — «Аврора». Новый литературно-художественный ежемесячник — орган Центрального Комитета ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. Его первый номер открывается словами Николая Тихонова: «Растущему свежему поколению очень необходим свой журнал, своя учебная шхуна — наподобие тех, что совершают кругосветные путешествия с молодыми моряками, будущими капитанами больших океанских и морских кораблей». «Литературная шхуна» молодых ленинградцев отправилась в трудное, но интересное плавание.

Первенец «Авроры» знакомит нас с новыми стихами Вадима Шефнера и Николая Тихонова, с рассказом Даниила Гранина и повестью Александра Володина. Наряду с известными литераторами в журнале выступают молодые поэты и публицисты. Печатаемая глава из книги Льва Успенского «Записки старого петербуржца», журнал открывает любопытную рубрику «Питерские всеведы».

К моменту выхода этого номера «Юности» ленинградский молодежный журнал выпустит уже третью свою книжку. «Юность» сердечно поздравляет младшего собрата с днем рождения и желает ему высок нести честь молодой ленинградской литературы. Имя «Аврора» к этому обязывает.

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

● ПРОЗА

И. ДУБИНСКИЙ. Слово червонного казачества. Рассказ 5

Сергей АНТОНОВ. Царский двугривенный. Повесть. Окончание 7

Дмитрий ТАРАСЕНКОВ. Человек в проходном дворе. Детективная повесть 40

● ПОЭЗИЯ

Аскар ТОКМАГАМБЕТОВ. Часовой. Поэма. С казахского перевел Виктор Урин 2

Лев СМЕРНОВ. Улица. Весна 35

Григорий ГЛАЗОВ. На Отто - Гротеволь - штрассе. «Пройденные прописи забыты...» «Я в сумерки покину дом...» «Мы так от прошлого зависим...» 36

Петр ВЕГИН. В дни оккупации. Воспоминание о елке 1945 года. Форель 37

Александр СОКОЛОВСКИЙ. Метроном. Точный прибор. Зимние строки 38

Агния БАРТО. Он был совсем один 39

Леонид МАРТЫНОВ. Сад Адамеа. Капля крови. Сладкие дары. Лики жизни. Зимний пейзаж. Лампочка 69

● ПУБЛИЦИСТИКА

Владлен ЛОГИНОВ. Мыслитель, революционер, человек. (Окончание) 70

А. ЕГОРОВ. Твои родословная 87

● К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

Марина АКОПЯН. Рембрандт. 80

● ДНЕВНИК КРИТИКА

Вл. ВОРОНОВ. Рабочий человек и литература. (О духовности физического труда) 82

● НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Лев ШИЛОВ. Кармен. Понаблюдаем блоковых дневников и писем 92

● СРЕДИ КНИГ

Маленькие рецензии и аннотации 100

● ДЕБЮТЫ

Петр МОСТОВОЙ. «Остановить мгновение» 102

● СПОРТ

Александр БЕРМАН. Столбы, Столбы... 104

Е. ХОДЗА. Испанская серия Юрия Петрова 108

● «ПЫЛЕСОС»

Варлен СТРОНГИН. Смехи 110

Юрий РАКОВ. Новый ход 111

На 1-й и 4-й страницах обложки рисунок Т. ЗЕБРОВОЙ.

Художественный редактор
Ю. Цишевский.

Технический редактор
Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефон 255-17-83.
Рукописи не возвращаются.

А 10812. Подп. к печ. 24/IX 1969 г. Формат бумаги 84×108¹/₁₆.
Объем 12,18 усл. печ. л. 17,62 учетно-изд. л. Тираж 2.000.000 экз.
Изд. № 1894. Заказ № 2244.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



Аскар
Токмагамбетов

Часовой

Поэма

Глава первая

Революция, здравствуй! Бурли, обновляй!
Растревожен, как улей, отеческий край.
О прошедших годах, о далеком и близком
Вспоминает сегодня Тайшиев Жакай.

Помню ветер холодный, как жало змеи,
Помню самые первые наши бои,
Помню иней на сжатых бровях комиссара,
Как воскликнул Джангельдин: — Джигиты
мои!

Говорил он:

— Поход и тяжел и велик,
И от вас я скрывать ничего не привык,
Вам хочу сообщить, что в Москве
краснозвездной
Курсы есть пулеметчиков имени ВЦИК.

Почему, я не знаю, он выбрал меня,
Только вы мне поверьте, что с этого дня
Мое сердце удары копыт повторяло
И несло, как тулпар¹, посредине огня.

В эту пору, в тревожный и яростный час,
Ырыгуль появилась в отряде у нас
И себя в партизанской семье показала
Как джигит, как боец и как равный жолдас.

И я понял: она из семейства чинар,
На щеках бронзовел ее нежный загар,
Ее косы пылали над конскою гривой —
Вместе были, как пламя, — она и тулпар.

И в тургайскую пору потерь и побед,
Молодые, мы дали на верность обет,

¹ Тулпар — сказочный конь.



И была наша верность бескрайней, как
степи,
А любовь высока, точно горный хребет.

Я прощался... Вот руку я вскинул под шлем.
Мне товарищ Джангельдин сказал между
тем:
— Если встретишь... Быть может, придется
случайно,
Передай Ильичу партизанский салем.

И друзья проводили меня на перрон:
— Так что Ленину ты передай наш поклон.
— А какой он! Я даже портрета не видел...
— Тебе сердце шепнет — и поймешь: это
он.

Как ведется в народе в годину разлук,
В память нежных свиданий и ласковых мук
Мне на левую руку, что к сердцу поближе,
Ырыгуль нанизала колечко — жузук.

— Если сможешь, — сказала, — пришли
письмецо, —
И к лицу моему прислонила лицо.
И, чтоб нам не мешать, отвернулись
джигиты,
И шепнула она: — Не забудь про кольцо...

Глава вторая

Паровоз запыхтел в сероснежной пыли.
Ехал вместе со мною Сарсендин Али,
И, казалось, сквозь бурю Центральной
России
Мы с собою казахский аул провезли.

На десятки сутки кричат нам: — Слезай!
Мы идем по столице — Али и Жакай.
Степняки, закаленные в буйных атаках,
Признаюсь, мы боялись садиться
в трамвай...

Как мы маялись в холоде лютой зимы!
Жили впроголодь, спали в снегах без
кошмы.
Но в кремлевской казарме в суровое
время,
Словно в доме родном, стали братьями
мы.

И отсюда, друзья, от кремлевских ворот,
Как из юрты отцовской, для новых забот
Выходил я и чувствовал дружбу и ласку,
Ту, какой отличается русский народ.

На верблюда положишь не всякую кладь,
И за пядью не просто дается нам пядь.
А добиться достатка в ближайшие годы —
Все равно что колодец иголкой копать.

В этих думах я с грустью снимаю домбру,
И курсанты садятся послушать игру.
И пока я играю, блуждая по струнам,
Все арыки глубокие переберу...

И отрада одна — то, что рядом с тобой
Человек самый мудрый, зовущий на бой...
Кто из нас, молодых, в эту пору не думал:
Может, встретится он! Но какой он! Какой!

Точно улей, гудел растревоженный мир.
Вот однажды в казарму пришел командир.
Мы построились.

— Где тут товарищ Тайшиев! —
Перед строем курсантов спросил
командир.

Видно, кровь у меня, степняка, горяча.
Видно, вздрогнул, когда он коснулся плеча.
По-родному коснулся и вымолвил тихо:
— Просят вас охранять кабинет Ильича.

Я бы понял, когда б мне сказали: «Приказ».
Только как же мне это понять: «Просят вас»!
Навсегда мне запомнилось это: «Вас просят».
Как джайран, я дрожал, не спускал с него глаз.

Задумчивость и строгость — особый талант.
Вдруг сказал командир мне:
— Товарищ курсант
(Очень кратко и веско сказал),
Вам понятно?
Есть вопросы? Идите. Вас ждет комендант.

Мне хотелось степную призвать широту,
Как-то выразить верность свою и мечту.
Ведь у Ленина быть часовым — это значит
У дверей всего мира стоять на посту.

Глава третья

Каждый день был как праздник.
И вот как-то раз
Аксакал коренастый прошел мимо нас.
И в лице его что-то отцовское было,
Что-то было казахское в росчерке глаз.

Я припомнил отъезд и далекий перрон,
Как сказали друзья: «Передай наш поклон», —
Как, прощаясь со мною, сказали джигиты:
«Тебе сердце шепнет — и поймешь: это он».

Почему же я так растерялся теперь!
О, молчанье мое горше всяких потерь!
Почему не сказал! Как исправить ошибку!
Может быть, подойти! Постучать в его дверь!

Только этого не было. Я часовой.
Я стою, и я вижу его пред собой.
И глаза, повторяю, отцовские вижу,
И я рад, что в Кремле человек есть родной.

Вот он вышел опять.
Помолчал у дверей,
Подмигнул мне, лаская усмешкой своей:
— Прежде вас я не видел. Откуда вы? Кто вы!

Я сказал:
— Партизан из тургайских степей.

Все хотел он узнать: где я рос и как жил,
С кем сражался и кто нас в походы водил.
И когда рассказал я, что друг мой —
Джангельдин,
Оживился Ильич и о нем расспросил.

Как сумел, рассказал я ему.
Между тем
Я ему передал партизанский салема.
— Что такое «салема»? — он спросил.
И я молча
Поклонился и тут растерялся совсем.

И ответно, на мой молчаливый поклон,
К сердцу руку прижав, поклонился и он.
Как обидно, что этих мгновений не видел
Краснозвездный отчаянный наш эскадрон!..

Я видал его множество раз с той поры.
Встречи с ним освещали мне жизнь,
как костры.
Жар в душе оставался. И все свои чувства
Доверял я отзывчивым струнам домбры.

Глава четвертая

Дни за днями помчались. Искрился июль.
С тем же трепетом шел я нести караул.
Так же сердце мое волновали все время
Революция, Ленин и ты, Ырысгуль.

Я писал ей письмо:
«Если б знал кто-нибудь,
Как хочу, верблюжонок, в глаза заглянуть.
Я в смятенье, как горный ручей в Ала-Тау,
И тревожные чувства стеснили мне грудь».

Знай, что выполнил просьбу своих земляков,
Что салема передал, что отныне готов
На фронтах мировой революции драться
За свободу всех наций и материков!..»

Я писал, что любовь наша — только исток.
И она напоит собой степь, как поток.
Я писал. И в арабских каракулях черных,
Точно шкурка каракуля, был мой листок.

И пришел мне ответ через месяца три.
Ты остынь, мое сердце, ты так не гори!
Как вы там, партизанские наши батыры,
Удалые казахские богатыри!

Что-то страшное понял я с первой строки.
«Ты прости нас, — писали мои земляки, —
Не смогли уберечь Ырысгуль, не сумели.
Вечным сном она спит у притихшей реки».

Кровь в виски мне стучала ударами пуль.
Сердце плавилось, точно барханный июль.
Кто-то крикнул:
— Тайшиев, на пост!
Я поднялся.
Ырысгуль! Свет души моей, о Ырысгуль!

У дверей Ильича, как убитый, стою,
И не в силах сдержать был я горсть
свою.
Лучше б в детстве меня задушили шакалы,
Лучше б байские когти терзали в бою!

Видно, горесть и злая беда — мне родня.
И, спокойствие только лишь с виду храня,
В первый раз Ильича не хотел я увидеть
И хотел, чтобы он не увидел меня.

Но как раз он прошел, озабоченный чуть,—
Я не знал, как лицо мне в слезах
отвернуть,
Чтоб несчастье мое не коснулось невольно,
Не смогло опечалить его как-нибудь.

Быстро шел он, бородку свою теребя,
И, его всей душой бесконечно любя,
Отошел я, чтоб он меня вдруг не заметил,
Только трудно от Ленина спрятать себя.

— Что случилось! — спросил, запахнувши
пиджак.

Я сказал: «Ничего». Я сказал: «Просто так».
Ну, а сам посмотрел, на колечко, вздыхая,
И невольным движением дал ему знак.

И с кольца не спуская сочувственных глаз,
Он проник в мою боль и догадкой потряс.
Он спросил:

— Как сказать по-казахски «товарищ»!
Я сказал.
Он раздельно промолвил: «Жол-дас»...

Я не знаю, как горе свое перенес,
Ырыгуль!
На глазах моих не было слез.
Ленин взглядом своим пеленал мои раны,
Разделил мою боль и частичку унес.

Глава пятая

Часовые Кремля — сообщить вам хочу —
Жили дружно, плечо прислоняя к плечу.
И о чем бы ни думали, ни говорили,
Возвращались в беседах своих к Ильичу.

Отдавая ему свой бессменный салют,
Часовые надежно охрану несут,
Мы все вместе и каждый в отдельности
тоже —
На груди Ильича, как кольчуга-саут.

Часовой — я не службу, а радость несу.
Я в наряде то в раннем, то в позднем часу.
А с поста прихожу, и ружье в пирамиду
Я вставляю, как в общий колчан карамсу.

И сверкает он, мой вороненый металл.
Вот и полночь.
Звучит «Интернационал».
Но «спокойной вам ночи» не скажут
в казарме,
Чтоб Владимир Ильич «с добрым утром»
вставал.

Я душил свое горе. И мне помогли
Побратимы — посланцы огромной земли.
Рядом с русским — грузин, украинец,
эстонец,
Я и верный товарищ Сарсендин Али.

Помню зал, помню яркий багрец кумача,
Помню, как наша радость была горяча:
Открывают в столице Восьмой съезд
Советов —
Я опять в охране у Ильича.

Проходили в президиум наши вожди,
И волнение в моей поднималось груди,
И рука Ильича, вся живая, в полете
Предо мной начинала парить впереди.

Я на сцене стоял.
У него за спиной.
Мне казалось, крылом он взмахнул, не
рукой,
Не с трибуны, а с горной скалы вылетали
Стаи слов и неслись над волнистой рекой.

...Когда вижу я памятник в сквере у нас,
Все мне кажется, внуки, что Ленин сейчас
На плечо мое руку опустит по-братски
И промолвит:
— Держись! Что поделать, жолдас...

Понял я: съезд Советов — большой
маслихат¹,
А Ильич — миллионов сердец делегат.
Самый бедный казах, после ленинской речи
Я почувствовал вдруг: как никто, я богат.

Я богат тем, что, вечною правдой звуча,
Бьется речь эта в сердце, прозрачной
ключа,
Я богат этой силой, суровой и нежной,
Справедливостью и правотой Ильича.

Тем богат, что причастен к его высоте,
Что равнялся в походах по красной звезде.
Если армия наша, как щит, выступала,—
Был в боях я кровинкой на этом щите.

Я на этом кончаю свой долгий рассказ.
Так что, внуки, теперь вся надежда на вас.
Надо, главное, верить. А трудно — друг
другу
Мы прошепчем: «Держись! Что поделать,
жолдас...»

Так идите на свет Ильичевой мечты,
Вы, питомцы душевной его чистоты,
Чтобы всюду по вашему доброму следу
После каждого шага рождались цветы.

Перевел Виктор УРИН.

¹ Маслихат — высший родовой совет.

И. Дубинский

СЛОВО ЧЕРВОННОГО КАЗАЧЕСТВА

РАССКАЗ



Сне залеченной еще раной боец Богуслав Громада покинул насквозь пропахшие карболкой и йодом, опротивевшие ему стены корпусного госпиталя. Расстался он с госпиталем не потому, что ему кружили голову мысли об одной Доброй Душе — славной дивчине. Раненого бойца взбудоражил, не давал покоя ни днем, ни ночью пришедший сюда слух: Ленин собирается в Геную на конференцию, где он встретится с представителями двадцати восьми капиталистических стран. Ленин поедет в Геную.

Начинался 1922 год. Всюду — на фабриках и в селах, в воинских частях и в учреждениях — шли споры о предстоящей Генуэзской конференции. Многие считали: Ленину надо туда поехать, только он сможет перехитрить акул капитализма, не продешевить, добиться мира, займов — всего, в чем так остро нуждалась измученная войнами молодая Советская республика.

А вот молоденький взводный Богуслав Громада, тертый и перетертый жизнью, сюрпризами и капризами жестокой судьбы, думал по-иному. Не зря в его линейной сотне все политруки, сколько бы их ни менялось, поручали ему деликатное дело — читку газет. Соль тут была не столько в самой читке, сколько в способности Богуслава разъяснить, или, как теперь говорят, прокомментировать, печатное слово, а главное, уметь ловко дать по чубу любителям подкидывать вопросы с табачком. За это и прозвали Богуслава Громаду «наркомвзвод»...

Как-то один занозистый дедок угостил Громаду медком. А потом, от души жалея взводного, завел шарманку:

— Смотри, хлопче, ты весь изранен, исклеван пулями. Начальство, известно, в кабинетах окопалось, а вас, сосунков, сует под шрапнель и бонбы. Вот и вышли бы те начальнички с двух сторон и, как в старину, решили меж собой все споры-раздоры праведным боем и божьим судом. А то вашему Ленину нужны такие, как ты...

— Ты вот рос на пчельне, — возразил взводный, — дышал цветочным духом, пользовал хлебушко из чистой крупчатки, а меня с малолетства чертова доля загнала глубоко под землю. В той преисподней надо мной измывался всяк. А кто дал мне жизнь? Кто? Конечно, товарищ Ленин. И на кого, как не на Богуслава Громаду, перли все эти Деникины, Петлюры, Махно, Врангели? Кто дал мне в помощь товарищей, чтобы одолеть ту нечистую силу? Видал наше войско? Орлы! Тот же Ленин дал. Так что, видишь, папаша, не столь я нужен Ленину, как Ленин нужен мне.

Следуя по непроснувшимся, еще тихим улицам древней Винницы, Богуслав вспоминал, как недавно в Багриновцах из засады нагрянули бандиты. Трех казаков — они конвоировали хлебный обоз для голодающих Поволжья — те продажные шкуры зарубили, а его, старшого, кругом связанного, дали «для первой практики» какому-то юнцу. На счастье, у того малолетки шашка была тупой и рука вялая. Рубанул по шее, а тут нагрянула выручка из Литвина.

Ну, скажем, срасходовали бы Богуслава лесовики, так во взводе оставалось еще немало бойцов. Жил еще закаленный в боях и рубках его полк, гремел на всю Украину корпус Червонного козацтва. Значит, жива и Страна Советов... А тут Ленин... Выходит, приговор один: рваться Ленину в ту чертову Геную — все едино что лететь вниз головой в шахтный ствол.

Сунусь-ка я в политотдел, а то и к самому комко-ру Примакову. Очень даже просто, — любит Примак побеседовать с линейным бойцом. Можно ему сказать напрямки свою думу про ту Геную. Да, но то будет мое единоличное понятие, а надо, чтобы вся казачья громада собралась на срочную раду... Ну, а что смелся самовольно из госпиталя, то не всякого дезертира казнят. Есть которым оказывают милость...

Еще там, в госпитале, один бойкий отделком, слушающая напористую речь Громады, внушал ему:

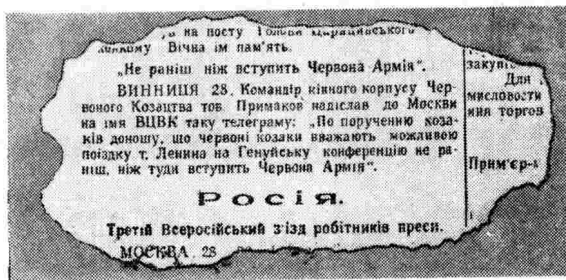
— Тоже нашелся политик... в эскадронном масштабе. Поменьше шебурши,— напорешься. Откаючат тебя свои же похлестче того малолетки-лесовика. Чего нет — не получишь, что есть — потеряешь...

С трудом вытаскивая ноги из глубокого снега, что пал на дорогу, путник не переставал давать отпор в уме тем «мудрецам». И чем крепче были его думы, тем легче давалась ему нелегкая дорога.

Совсем недавно — это было в Литине — беседовал с ним сам Примаков. Вручая ему серебряные часы за прежние дела, командир корпуса сказал:

— Духом, хлопче, не падай. Крепись. Вмиг домчим с тобой до Винницы. На моей машине. А там в госпитале наши фокусники не то что шеи врачуют, а срубленные головы ставят на место... У тебя же сущий пустяк... Заштопают.

В возбужденной голове взводного продолжало настойчиво биться: нет, не должен ни в коем случае Ленин ехать туда, в разные заграницы. Это же он разжаловал буржуев и помещиков, отобрал у французов и англичан рудники и шахты. Там все помнят...



Чем меньше оставалось до Литина, тем тревожнее сжималось сердце. В штабе, он знал, строгий адъютант потребует документы: направление, продат-тестат. Всучат трое суток гауптвахты. Ну и что? Пусть! А все одно Ленину нельзя в Геную.

Вскоре встретились шедшие в Винницу полковые сани. Знакомый каптер крикнул:

— Где же твой вороной чуб, товарищ Громада? Кто его тебе здрючил? Или пропил шинкаркам?

— Попал бы ты,— отвечал он,— в ту горячую циркулюню, где разом с шерстью сносят и башку! Я же только чубом поплатился...

...Вот и Литин. В штабе полка, как того надо было ожидать, беглеца не встретили кружкой хлесткого первача. Напротив. Но он спокойно отвечал:

— Вот в лазарете том не долечили, так долечивайте на гауптвахте, товарищ полковой адъютант. Бросать бойцов на губу — не велика мудрота. Если б стало вам потруднее сажать,— научились бы ловчее нами командовать... Вы извините меня наскрозь, а помните — это сказал всем нам Примаков. А все одно, — с незлобным вызовом продолжал Богуслав, — меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют. Как был товарищ Громада «наркомвзвод», так им и останется.

Все же штабники, перекипев, отвели взводному командиру Богуславу Громаде один из параграфов в суточном приказе. Главное для бойца — попасть на котловое довольствие. А там...

В сотне сразу же велели ему проверить оружие — ждали инспекцию из дивизии. Сотник не думал расспросами. Раз человек притопал на своих из самой Винницы — значит, порядок. А что шея в бинтах, то до свадьбы заживет. Бывало и не такое.

Бойцы взвода потянулись к взводному двору: вер-

нулось начальство. Мало из госпиталя, можно сказать — с того света. Взводный зорко осмотрел людей. Все налицо. Не считая, конечно, суточного наряда.

Запорошив всем более чем щедро кремenchугско-го вергуна и сам пуская густой дым изо рта и ноздрей, Громада не стал долго рассказывать о своих злоключениях. Почти без предисловий он подошел к тому, что терзало его всего больше.

— Как же, братва, можно верить буржуизму? — с яростью спрашивал взводный. — У себя дома и то не уберегли Ленина, не схватили руку эсерки. Сможем ли уберечь в Генуе? А что мы без Ленина? Не думайте, хлопцы, что я собираюсь делать на этом какие-то моменты. Нехай каждый особо, а потом вся наша громада целиком выскажет. Да! Пусть все козачество предьявит свое железное слово...

И сразу же пошло. Перебивая друг друга, казаки заговорили по очереди и вперебой. Зашумели в один голос: «Нет, нет и нет!» И что там, на окраине Литина, говорили, то и постановили.

А потом взводный сказал своим рубакам: пусть идут по всем дворам, пусть топают в Борков, Селице, Ванячин и пусть колотят во все барабаны, лупят боевую тревогу, пусть поднимают казачью братву...

И сам Богуслав, хотя более всего его тянуло в Борков, к Доброй Душе, сам он верхом на своем Барсучке с позволения сотника подался на Летичев, в соседний полк. Не было там у него дружков, но стоило гукнуть: «А кто тут из шахтерского края?», — и сразу отзывались, будь то в первом, в пятом или же в самом крайнем, двенадцатом, полку червонных казаков.

Прошло всего лишь два дня. Комиссар полка общал из Литина в Винницу о всеобщем возбуждении среди казаков. Спустя еще один день комиссару полка уже звонили из Винницы, что та «инфлуэнция», оказывается, перекинулась в Гайсин и в Изяслав, в Тульчин и в Немиров — всюду, где стояли крепкие полки украинской конницы.

...А в ближайшее воскресенье резвый дончак снова нес Богуслава Громаду в Борков.

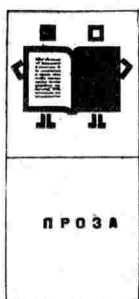
За отворотом казачьей папахи вместе с увольнительной лежал свежий номер газеты. А в ней была набрана волнующая телеграмма: «По поручению казаков доношу, что червонные казаки считают возможной поездку товарища Ленина на Генуэзскую конференцию не раньше, нежели туда вступит Красная Армия. Примаков».

Богуслав хорошо знал — более чем ясный текст депеши не нуждался ни в дополнениях, ни в разъяснениях, как знал и то, что во многих чубатых аудиториях он вызовет яростный, как конная атака, восторг и даже со стороны тех, кто любит подкидывать каверзные, с табачком вопросы.

Не знал наш червонный казак лишь одного: минет много-много лет, и, пройдя через ад Освенцима, полюбивший своим партизанам седоватый синьор Громадио на плечах эсэсовцев и чернорубашечников ворвется в Геную и тут же на стене муниципалитета, помня Литин и Винницу своей юности, повесит рядом с изображением Гарибальди сделанный углем портрет Ленина...

А пока что, примчав в Борков, Богуслав Громада вместе с припасенным им гостинцем — литинскими кустарными пряниками-жамжиками — с замирающим сердцем преподнес ту газету своей Доброй Душе. Пусть знает.

Ведь у настоящего солдата сердце мрет не только от любовного колдовства, но и от сознания хорошо выполненного ратного и гражданского долга...



Сергей Антонов

ЦАРСКИЙ ДВУТРИ- ВЕННЫЙ

Рисунки
Н. Цейтлина.

ПОВЕСТЬ

19

Удивительно, до чего часто нелепые мелочи и пустые случайности меняют судьбы людей в переходные времена.

Хотя Славик не вынес обещанных денег, Таракан его простил.

Славика спасла нужда. Если не считать ни на что не годной Машутки, он был единственным существом во дворе, которое могло пролезать через форточку. Без него нельзя было обойтись.

И после того, как Славик во второй раз натаскал из подвала полный мешок бумаги, Таракан восстановил его в правах голубятника, а про шестьдесят девять копеек забыл сам и велел забыть другим.

На этот раз Славика было велено не тащить, что попадет под руку, а набрать как можно больше документов с сургучными печатями. Он выполнил свою задачу безукоризненно.

Зачем Таракану понадобились сургучные печати, стало ясно на другой день, когда рано утром, еще до школы, ребята увязывали пачки.

Первым догадался Митька. Увидев, как тщательно Таракан прячет между листами бумаги сургучные

печати, он мигом представил себе вытянутые морды торгашей, когда они вместо обертки обнаружат сургуч на картонных квадратах.

Пакет получился солидный, увесистый. Чтобы увязка стала еще тяжелей, Коська, подыхая от смеха, сунул в середину стальной биток.

Продавать бумагу с сургучной начинкой Таракан отправился сам. В сопровождающие был взят только Славик. Он должен незаметно признать и указать Кулибина и смываться. Было решено наказать именно Кулибина, чтобы этой жиле было неповадно на десятом году революции сбывать ребятишкам негодную монету.

Сентябрь уже начался, а солнце палило по-летнему. На базаре дул горячий азиатский ветер. Вдоль рядов неслась острая, горькая, как махорка, пыль. Между арбами и телегами дремали лиловые ишаки. Вдали, у карусели, упрямо бухал барабан, и красивые, дикие, как тысячу лет назад, цыганки толкались в толпе.

У овощных навесов Славик заметил Козыря. Песик лежал в тени и дышал тяжело, всеми ребрами. — А он меня знает, — сказал Славик, — Козырь, тубо!

Козырь два раза стукнул хвостом по земле.

— Хочешь, Таракан, он сальто покажет?

Славик поднял дынную корку, стал подманывать собаку.

Но Козырю было не до фокусов.

Вчера подвыпивший маляр бросил ему телячью кишку, начиненную для смеха синим купоросом.

Окончание. Начало см. в №№ 8 и 9 за 1969 год.

Козырь чувствовал подвох и был не голоден. Но маляр уж очень потчевал, и он отведал немного из вежливости. У него начались судороги. Он бегал по пустырям за лечебной травкой. За лето зелень выгорела, трава помогала плохо. Козырь не спал всю ночь, ничего не мог есть и ослаб.

— Козырь, тубо! — звал его Славик. — Тебе сколько раз говорить? Какой ты все-таки свинтус! На, на!

Козырь отлично видел, что в руке Славика несъедобная дынная корка, и все-таки собрался с силами и попробовал перевернуться. Сальто не вышло. Он больно ударился боком, поднялся и виновато вильнул хвостом.

Таракан пнул его. Песик отбежал молча и взглянул на Славика издали печальными глазами.

— Наверное, у него температура, — сказал Славик. Таракан ухмыльнулся. Поэтому Славик тоже засмеялся и пулынул в Козыря дынной коркой.

Ничего не поделаешь. Подражатели всегда немного пересаливают, особенно в жестокости.

Ребята миновали карусель и вышли в мясные ряды.

— Вот он! — прошептал Славик, хватая Таракана за рукав.

— Где?

— Вон, направо... Смотри!

Прислонившись к притолоке, Кулибин обрезал длинным ножом-резаком ногти. Ему было скучно. — Ясно! — проговорил Таракан. — Топай отсюда.

Славик отошел за помойный ларь и, замирая от страха, приготовился наблюдать, что будет.

Он увидел, как Таракан с пачкой на плече прошел мимо Кулибина, подымая ногами пыль. Мясник окликнул его. Таракан остановился. Они перебросились короткими фразами. Таракан плюнул Кулибину в ноги и пошел дальше. Кулибин позвал его еще раз. Таракан лениво воротился. Мясник сунул резак в кожаные ножны, взвесил на руке пачку и покачал головой. Славик испугался. Пачка была слишком тяжелая. Кулибин послушал, как у соседней лавки скандалит босая казачка, взял кипу под мышку и скрылся за дверью. Время тянулось. Славик и не заметил, как вышел из-за укрытия, и ноги понесли его к лавке.

Таракан невозмутимо ждал. Наконец за прилавком появился хозяин с длинной мооссельпромвской банкой.

Хотя все шло как по маслу, сердце у Славика колотилось. «Сейчас, сейчас, — успокаивал он себя, — достанет денежки, и побежим выкупать Зорьку».

Но денежки Кулибин достать не успел. Наторговавшись вволю в соседней лавке, казачка подошла к нему. Мясник отставил в сторону банку и занялся с покупательницей.

— Какая же это телятина? — привередничала казачка. — Она старая...

— Помоложе тебя, — отвечал Кулибин.

Пришлись ли ей по душе его гарри-пилевские бачки или понравились прибаутки, сказать трудно. От его шуточек она взвизгивала, как циркульная пила, и уходить не торопилась.

— И телятина у нас свежая, — деликатничал Кулибин. — И оберточка свежая для вас подоспела.

Он бросил на прилавок пачку, перекатил ее на один бок, потом на другой и стал примеряться, где лучше развязывать.

— Надо бы рассчитаться, хозяин, — сказал Таракан.

— У нас такой закон: сперва клиента уважить, а после заниматься своими делами.

Таракан с интересом наблюдал, как мясник шевелит узлы.

— Чего мучаешься? — посоветовал он нагло. — Тесаком вспори — и весь бал,

Узелок стал подаваться. У Славика задрожали колени. А Таракан стоял как ни в чем не бывало, у самой лавки, заложив руки в карманы. Он так веровал в свою счастливую звезду, что иногда без всякой надобности пускался на крайний риск, словно испытывая терпение охраняющих его неведомых сил.

На этот раз палочкой-выручалочкой оказались собачники.

В тот момент, когда Кулибин вытянул наконец из тугого узелка первую петельку, между лавками промчался полоумный от ужаса Козырь, волоча на себе гремучую палку-ухватку, которой собачники ловят бездомных псов.

— Гляди за товаром! — завопил Кулибин неизвестно кому и бросился из дверей.

Козырю сильно не повезло.

После неудачного сальто ему стало совсем худо. Он улегся на самом виду, на пути у идущих во все стороны людей, и задремал.

Он несколько раз засыпал и просыпался, и все время ему снился один и тот же неприятный сон.

Ему снился человек в черном шелковом цилиндре. Человек семенял по Соборной улице с саквояжем в руке, следы его пахли мокрыми опилками. Козырю было почему-то жутко. Человек заскочил на газончик, обнюхал чугунную тумбу, воротился на асфальтовый тротуар и затрусил дальше... Дворник замахнулся на него метлой. Он отпрыгнул и побежал, тревожно оглядываясь. На пути валялась косточка, но он пробежал, даже не понюхавши. Рядом с ним бежал мороженщик... И внезапно Козырь понял, что его пугало. Все люди, которые обыкновенно стояли на одном месте — дворники, милиционеры, мороженщики — бежали в ту же самую сторону, куда и человек в цилиндре. То, что все они бежали в одну сторону, как будто спасаясь от потопа, и было самое жуткое.

Прежде Козырь давно бы догадался, что сон предвещает беду. Но он был болен, и слабость придавила его.

Очнувшись он, когда шею его сдавил проволочный хомут. Он открыл глаза и с ужасом увидел заслоняющее половину неба лицо собачника в бархатной рубашке.

Зажав ухватку коленями, собачник вынимал из ладони занозу. У него была широкая грудь и короткие ноги.

Подожли люди: Алина, выпивший маляр, дедушка с афишками. Козырь улыбнулся маляру, рванул-ся. Петля затянулась крепче.

Козырь взвизгнул.

— Не любишь! — сказал маляр.

Заноза не вынималась. Собачник крикнул по-татарски. Подскочила татарочка с тонкой, как нагайка, косой, подала булавку. Он вручил ей ухватку и занялся занозой.

— Дочку и ту приучил живодерничать, — сказал квасник. — Нехристь.

— Какая это дочка. Это жена.

— Еще чего надумал! Вон она, жена, на вожжах сидит. — Квасник кивнул на фургон, в котором скулили и царапались отловленные барбосы. — Разуй гляделки-то...

— Та старая жена. Это молодая.

— Ладно брехать!

— Чего брехать. Ихний закон до четырех баб дозволяет.

— Ну и вера! Тут с одной не знаешь что делать.

— Он, небось, знает чего... Оне не такие олухи, как у твоего отца дети. Собак наловят — и будь ласковый. И мясо тебе и шкура на воротник. Верно, шурум-бурум?

Собачник молча занимался своим делом. На окружавший его народ он обращал внимания не больше, чем на пыль и ветер.

— За что его поймали, бедного? — вздохнула Алина.

— За то, что закон надо соблюдать. Собака должна обитать при хозяине.

— Возьмите его кто-нибудь. Он смеяться умеет. Такой душка.

— Дед, взял бы ты... Сидели бы на печи да друг дружке улыбались.

— Отвяжитесь вы от меня, ради христа. — Дряхлая голова дедушки непрерывно кивала, и казалось, что он на все соглашается.

— Деда самого скоро на петлю изловят.

— Да он убежит.

— Старый-то? От кого хочешь ускачет.

— И две жены не поймают.

— Отвяжитесь, ради христа.

— А-а! Не любишь!

Как раз во время этого разговора Кулибин бросил на прилавок пачку бумаги, перекатил ее на один бок, потом на другой и стал примеряться, где лучше развязывать, и у Славика потемнело в глазах, и Таракан сказал: «Надо бы рассчитаться, хозяин».

— Эй ты, Сабантуй! — спросил продавец кваса. — Чем она тебе приходится? Жена или что?

Собачник не отвечал.

— Молчит, — сказал маляр. — Царь персидский.

— Не хочет с нами, с дураками, связываться.

— Брежговает.

— За людей не ставит. Сам барбосом стал возле барбосов-то.

— Возьмите же его кто-нибудь, мужчины, — просила Алина. — Он сальто умеет крутить. Такая хорошенькая собачка.

При слове «сальто» Козырь насторожился. Он подумал, что если удастся перевернуться, — его, может быть, отпустят. Он собрался с последними силами и прыгнул.

Татарочка взвизгнула.

Козырь почувствовал, что петля ослабла, и, поджав уши, полетел по базару. Его подбадривали, шлепали в ладоши, свистели. Где-то далеко взвизгивал по-татарски собачник. Только палка не отставала ни на шаг и жутко грохотала за спиной.

Сперва Козырь сунулся в ноги людям, в темноту, под лотки с товарами. Загremели на землю гипсовые коты-копилки, зазвенели осколки. Козырь изо всех сил работал мохнатыми лапками. Он вспомнил, что в мясных рядах, между пустыми бочками, есть конурка, и повернул туда.

Он мчался сломя голову, прижав уши и вывалив тонкий язычок. А палка прыгала за его спиной, не отставая, и бранилась, бранилась, бранилась.

Вот и мясные ряды, вот и бочки...

— Гляди за товаром! — послышался крик из лавки.

Кулибин в два прыжка настиг беглеца и наступил сапогом на палку.

Козырь упал на спину, захрипел, забился в пыли.

Все ближе раздавался топот собачника, и брэнчали ключи у него на поясе.

— Давай, Сабантуй! — подначивал Кулибин. — Быстрее! Держи, не упускай!

Смеялся глупый маляр, смеялся мальчуган в коротких штанишках. Как только татарин нагнулся, Кулибин отпустил ногу, Козырь, почуяв призрак свободы, побежал снова.

— Шайтан! — крикнул собачник.

Вот наконец черная спасительная нора. Козырь, раскoraчившись, полез в узкую щель. Там уже спалась большая облезлая сука. Козырь попробовал



проткнуться дальше. Сука лязгнула зубами и чуть не откусила ему ухо. Он выбрался обратно и припустился, куда глаза глядят. В запарке он наколол заднюю лапу и скакал то на трех, то на четырех. Возле лавки путь ему преградил мальчишка с золочеными глазами. Козырь бросился в сторону. Навстречу бежал мальчик в коротких штанишках и дико кричал «у-у-у!». Вслед за ним топал Кулибин, размахивая прутом.

Козыря обуял ужас. Он уже не помышлял ни о чем. Только бы скрыться от мальчишек и от гремучей палки. Он метнулся под арбу и хотел бежать к монастырскому садику, но палка заклинилась под колесом.

— Смотри, Таракан,— кричал Славик,— у него кровь из носика!

Козырь улыбнулся ему молочными зубками, мелко завил хвостиком. Он просил помочь. Просил отпустить его... А мальчик в коротких штанишках, возбужденный толпой, орал:

— Вот он, дяденька! Смотрите, вот он!

— Поспевай, Сабантуй, шибче! — гудел Кулибин, размахивая прутом. — Товар упустишь!

И как только татарин подбежал, хлестнул что есть силы верблюда. Верблюд дернул арбу. Палка освободилась. Козырь бросился куда попало, натываясь на людей, на столбики коновязи. Посреди дороги он увидел дырявую корзину и сунулся в нее в полном отчаянии. Корзина была мелкая. В нее влезли только голова да передние лапы. Но палка перестала греметь, и Козырю показалось, что наконец-то он укрылся.

До него доносились голоса мясника, Алины, пьяного маляра, мальчика в коротких штанишках.

— Тикай! — кричал мясник страшным голосом.

И больно хлестнул его.

Козырь не двинулся. Только задняя, наколотая лапка задергалась, как во сне, побежала.

— Тикай, поймают! — Мясник ожег его еще раз.

Козырь едва слышно взвизгнул.

— Не любит! — сказал маляр.

— Он, наверное, утомился, — сказал Славик. Он оглянулся по сторонам, и его вдруг поразило, что все лица в толпе были похожи друг на друга.

— Затравили, — сказал Кулибин с сожалением. — Все.

Петля резко натянулась. Козырь ослепительно отчетливо ощутил, что жизнь его обрывается. Он решил защищаться, но не знал как. Единственно, на что он отважился, когда его выволакивали, — укусил корзинку, и то так, чтобы ей не было больно.

Палка подняла его высоко над землей. Петля сдавила шею. Все четыре лапы, каждая на свой манер, забились в воздухе.

— Гляди, Огурец, вон он сальто крутит, — сказал Таракан.

Козырь этого уже не слышал. Человек в черном цилиндре бежал по Соборной улице, и Козырь бежал за ним, и все люди бежали в одну сторону...

Поглядев, как тело Козыря тряпкой волочится по базару, Таракан и Славик вернулись к лавке.

Кулибин дышал часто, ноздри его раздувались. Он хватался то за тесак, то за счеты и долго не мог сообразить, что надо делать. Наконец, вспомнив про купленную обертку, отсчитал деньги, и ребята отправились домой.

Проходя мимо фортуны, Таракан прищурился и спросил:

— Может, сыграем?

Славик опустил глаза. На душе его было мутно. Они прошли уже порядочно, а перед глазами

все стояла собачья мордочка с прикушенным язычком.

— Противный какой-то собачник, — сказал он. — Не мог уж отпустить.

— Может, он заразный. Или бешеный. Почему ты знаешь?

— А если бешеный, тогда что?

— Цапнет — узнаешь что. Сам сбесишься. Мать, отца перекусаешь. Они других. И так далее.

— До смерти?

— Ясно, до смерти. Бешеный кобель никого не признает. На хозяина кидается.

Славик стало легче. Ведь объясняла не какая-нибудь Машутка, а сам Таракан. Бродячих собак уничтожают правильно. И Славик правильно сделал, что не помог Козырю убежать на монастырские могилы.

Угрызения совести утихали. Но как только мимо пробежала собачонка, перед ним снова возникала мордочка Козыря, жалко улыбающаяся ему в петле.

Минут через десять он спросил Таракана:

— А их разве не лечат?

Таракан, видно, тоже думал о Козыре, потому что ответил сразу:

— Еще чего! Не царский режим — собак лечить.

И Славик совсем успокоился.

Удобно живется на свете от чужого ума.

20

В этот вечер полет Славика на кровати был особенно удачен. Он залетел очень далеко. Открытая во все стороны пустыня — может быть, Нубийская, а может, Аравийская — простиралась до горизонта. В небесах клубились первобытные бурые дымы. Славик покрутил шариком, и кроватка мягко села на песок всеми четырьмя ножками.

Славик откинул одеяльце и осмотрелся. Призрачно светлела первая заря. В отдалении стонали динозавры.

И вдруг на самой середине пустыни он увидел женщину в рваной юнштурмовке. Это была Таня. Она шла, пошатываясь от истощения, за ней медленно гнался динозавр.

Славик мигом взлетел и опустился возле нее. Он схватил ее за руку, и они взвились высоко над пустыней. «Оказывается, Славик, ты смелый и вдумчивый мальчик, — сказала она. — Мне кажется, что ты более вдумчивый, чем Яша. Если хочешь, давай с тобой дружить...»

Так приснилось Славик во сне. Он ошалел на весь день. И когда Кура продиктовала: «Не откладывай на завтра того, что можно сделать сегодня», — он написал: «Не откладывай динозавра» — и получил неуд.

Потом его вызвал Митя. Ребята собрались выкупать Зорьку. Он отправился без всякой охоты. И только когда его у цирка нагнала Ольга, он очнулся от оцепенения. Ольга сказала, что вожатая срочно велит Славик прийти к ней. Он понял, что сон привиделся неспроста, и пошел.

Таня, как это и должно было быть, жила на Советской улице. Советская была главная улица. По ней ездили все шесть красных автобусов.

Вся улица, до самой реки, была залита мягким асфальтом. По обеим сторонам стояли каменные дома и мороженщики. Дома были двухэтажные, четырехэтажные и даже пятиэтажные с чугунными балконами. Каждый дом отличался от другого или колоннами, или львиными мордами, или цветными

стеклышками на мезонине, или огромным окном с затейливым переплетом над парадным входом. На глухой стене самого большого дома, в котором помещалось и кино, и ресторан, и, кроме того, жили люди, виднелась полусмытая дождями реклама «Жорж Бормань».

Славик любил главную улицу. Перед каждым домом ковриком расстился личный, принадлежащий этому дому тротуар, или выставленный каменными квадратами, или выложенный в елочку клинкером, или из того же асфальта со втопленной, сверкающей на солнце медной табличкой асфальтового промышленника.

В первых этажах располагались государственные, кооперативные и частные магазины и лавочки. Некоторые витрины были затенены выжженными солнцем маркизами. Кое-где от маркиз остались только клочья на ржавых каркасах. Славик знал наизусть, где стоит пучеглазый манекен в мятой пиджачной паре с белой этикеткой, где рядом с новеньким томиком Фенимора Купера, изданным «Зифом» в красном коленкоре с золотым тиснением, лежит книжка в серой с занозами обложке под названием «Цемент», где из оклеенного серебряной бумагой рога изобилия сыплется «раковые шейки». В витринах частников среди товара для задабривания фининспекторов были выставлены увитые ленточками портреты Всесоюзного старосты.

Почти на каждом углу, на тумбах, ушедших наполовину в землю, сидели мороженщики. В их двухколесных тележках в ледяном месиве плавали бидоны со сливочным, шоколадным, малиновым и земляничным мороженым.

У Собачьего садика, как всегда, стояла очередь извозчиков. Захудалые лошадки спали, извозчики, одетые по-зимнему, безнадежными голосами зыывали пассажиров. Немного подалеже стоял переделанный из часовенки киоск. Мама покупала там «Всемирный следопыт», «Красную ниву», «Смехач», огоньковские книжечки рассказов Зощенко и «Известия» трехдневной давности с обязательной карикатурой Бориса Ефимова на первой странице.

Всю дорогу Славик ломал голову, зачем он понадобился Тане. Не узнала ли она про кражу в подвале? От Ольки добиться ничего не удалось. Она непрерывно думала что-то. Навстречу дул ветер. Ее застиранное платьице прилипало к телу, она делалась, как голая, но ей было все равно, и она шла быстро, и Славик едва поспевал за ней.

Они прошли прохладную аркаду Караван-Сарая, миновали асфальтовый чан и подошли к Таниному дому. Дом был двухэтажный, с полуколоннами, покрашенный белой и желтой краской. Болтали, что в этом доме бывал Пушкин.

Славик открыл парадную дверь, которую каждый день открывала Таня, и, держась за перила, которых каждый день касалась Таня, поднялся по чугунной лестнице на второй этаж.

Танина площадка была выложена цветной плиткой. У двери висел электрический звонок с кнопкой. Звонок принадлежал не Тане, а соседям, и Ольга постучала рукой. Послышались шаги. У Славика заколотилось сердце. Таня открыла дверь.

Она крепко взяла его за руку и повела по темно-му, как ночь, коридору.

Жила она вместе с родителями, братьями и сестрами в большом паркетном зале. Там были три высоких окна, камин. У потолка тянулся лепной, похожий на сливочный торт карниз из позолоченных виноградных лоз и младенцев с крылышками.

Все было правильно. Под таким роскошным потолком и должна жить Таня.

Правда, в углах от младенцев остались только пухлые ножки. Остальное было отрезано перегородкой, и головы торчали у других жильцов — обладателей электрического звонка с пуговкой. Но и на Танину долю достались целые амурчики.

Перед приходом гостей Таня мыла пол. Мокрая половина пола была черная, а немая — белая.

Полы здесь мыли часто. Паркет рассохся, квадратики выскакивали из гнезд.

Таня посадила Славика за столик и спросила: — Ты на чем любишь играть? На барабане или на горне?

Славик подозрительно посмотрел на вожатую. Медленно, как учительница Кура, прохаживалась она по залу, от угла до черной половины пола и обратно. И было непохоже, что ей известна кража в подвале.

— Я предпочитаю на барабане, — ответил Славик.

— Вот тут и загвоздка. — Таня поправила длинной ногой паркетину. — Шефы обещают барабан и горн через неделю. А барабанить хотят все. Даже девчонки. Прямо с ума сойти...

Было ясно, что про подвал она ничего не знает. Может, ей насплетничали, как он гонялся за Козырем?

— Сойти с ума, оказывается, можно от собаки, — сказал Славик. — Если собака бешеная, человек моментально сходит с ума и начинает кусаться.

Таня запрокинула голову и расхохоталась.

«Кажется, она и про Козыря не знает», — подумал Славик. Он вспомнил изложение исторического события и предложил:

— Давайте устроим конкурс. Кто лучше расскажет про революцию — тому барабан. Я думаю, это будет справедливо.

— И ты выиграешь? — спросила Таня.

— Может быть.

— Что же ты думаешь рассказать?

— Я много чего знаю.

— Читал?

— Читал. И мама рассказывала.

— Твоя мама участвовала в революции?

— Приблизительно.

— Как это приблизительно?

— Ну как вам сказать... Она принимала участие, а сама не знала, что принимает участие.

Таня засмеялась и взглянула на подругу.

Олька сидела на подоконнике и не сводила со Славика глаз, и брови ее были сведены до отказа, как будто ее заставили держать на огне руку.

— Как же так может быть? — спросила она. — Мама не знала, что участвовала, а ты знаешь... и потеряла узкой рукой висок.

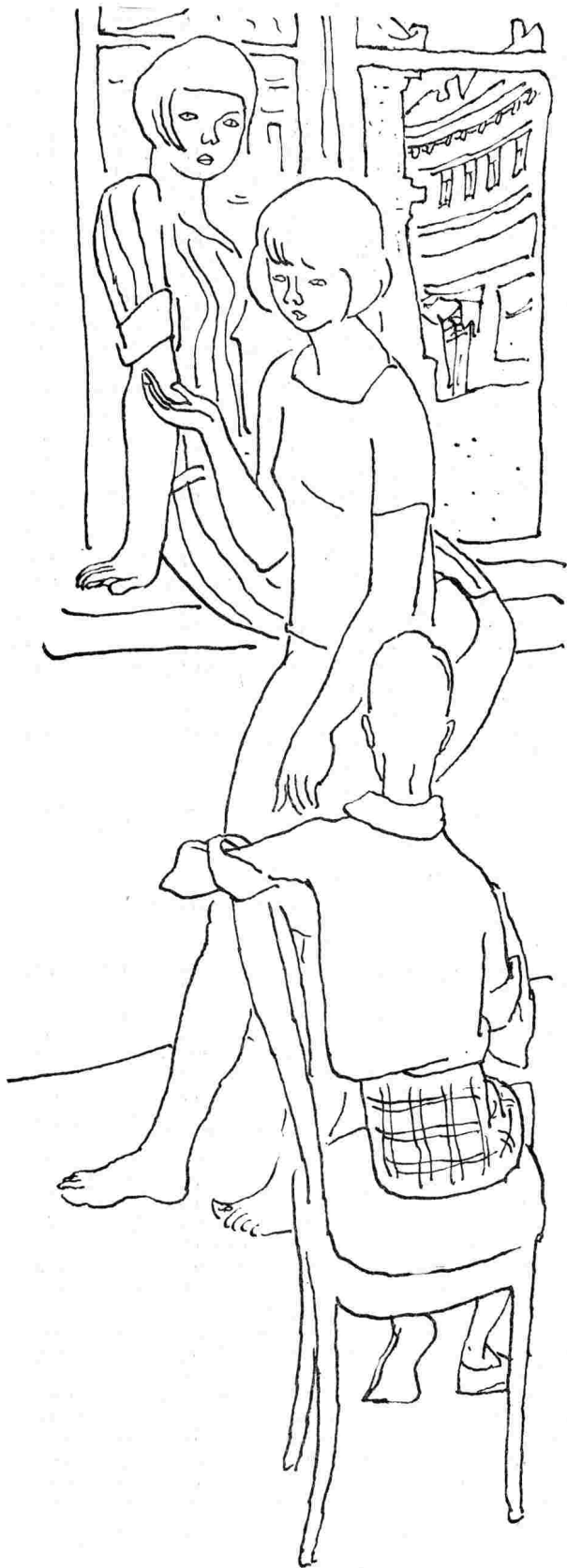
— А папа рассказывал... Папа все время называет ее конспиратор. И гостям рассказывает. И они смеются. А мама сердится, потому что школа у нее единственное светлое пятно в жизни.

— Какая школа? — встрепелась Ольга.

— А мамина. Мама, когда жила в Петрограде, устроила у себя в доме школу. Она сама учила, и подруги приходили, учили. А папа тогда был студент и нуждался в средствах. Мама пригласила его учить в свою школу... Они учили, учили и поженились.

— Кого же они учили?

— Всяких неимущих... Если мне не изменяет память, то приходили неграмотные барышни с фабрики. Мама им объясняла азбуку и показывала волшебный фонарь. У нее была легкая школа: учились только по воскресеньям, уроков не задавали. А кому надоело учиться, шли в другую комнату и играли в лото. Сначала ходили одни барышни, а потом барышни стали приводить большевиков. Мама



декламировала Пушкина, а они как будто играют в лото, а сами сговариваются. Главный большевик попросил маму купить гантели, как будто для гимнастики. А папа говорит, из гантелей они делали бомбы...

— Видишь, Танюша,— проговорила Ольга с укором.— Твое решение не больно сходится с ответом. Такая барыня вряд ли наймется в шпионки.

— С жиру бесилась. Делать ей было нечего — вот и учила. Простая арифметика. Ей писано!

— Да почему ты знаешь?!

— Я мыслю по логике. И отец думает так же.—

Таня выжала тряпку и принялась домывать пол.

— Твоего отца жгут прежние страдания и обиды.

— А Яшка? Яшка тоже считает, как я.

— Нашла кого слушать! Да твой Яшка не знает, почему штаны на толкучке! А туда же, берется на живых людей тавро ставить!

— Ну ладно! — Таня выпрямилась, поправила волосы локтем.— Так ты считаешь, что им подкинули эту пакость?

— Не считаю, а чувствую. Душой чую...

— Зачем? А ну, скажи, если ты чувствуешь?

— Можно наметать тысячу причин... Самых чудных и невероятных. И, знаешь, Танюшка, как бывает в жизни: чем чуднее, тем верней. Ну, представь себе: какой-нибудь злодей захотел замарать инженера Русакова.

— Так письмо-то послано не ему, а ей.

— Есть глупая пословица: муж да жена — одна сатана. Хотя пословица и неверная, на нее многие клюют.

— Ладно! А зачем Русакова марать?

— Также можно тысячу причин надумать... Гринька Мотрошилов, и тот бы не отказался. Из ревности... А про перевозку фермы забыла? Подумай сама: как проще всего сорвать перевозку? Русакова поставить под вопрос, и перевозка встанет под вопрос.

— Что-то слишком мудрено.

— В жизни много мудреного.

Ольга подошла к Славику и уперлась в него черными глазами. Ему стало немного страшно.

— Послушай, Славик. К вам гости ходят?

— Ходят.

— Дяденьки или тетеньки?

— К маме тетеньки, к папе дяденьки.

— К папе, наверное, служащие ходят, из управления?

— Наверно.

— А теперь скажи быстро: кто очень не любит твоего папу? Или маму. Сразу скажи. Знаешь, так не думай.

Таня разогнулась. С тряпки текла вода.

— Конечно, знаю,— сказал Славик.— Чего же думать!

— Кто да кто? — спросила Таня.

— Например, Коськин папа. Он говорит, что мы типы, и еще...

— Ну, это ладно,— нетерпеливо перебила Ольга.— Еще кто?

— Еще Нюра.

— Какая Нюра?

— Прислуга. Она папу не переваривает. Во-первых, он никогда не приходит вовремя к обеду.

— Еще кто?

— Ну, я не знаю... Мало ли кто... По правде сказать, и мама его не очень любит. Она говорит, что, если бы не он, она жила бы себе в Ленинграде и преподавала французский...

— Подожди, Ольга.— Таня подошла к Славику.— Твоя мама знает по-французски?

— Раньше знала. Теперь забыла.

— А раньше хорошо знала?
 — Конечно, хорошо. У нас же бабушка была баронесса.
 — Что?! — Таня уронила тряпку. — Какая баронесса?
 — Обыкновенная баронесса. Вы разве не знаете? У нас во дворе все ребята знают. А Машутка думает, что это означает парикмахерша.
 Подруги уставились на Славику, как будто во лбу у него прорезался третий глаз.
 — Еще не легче! — произнесла наконец Таня. — Чего же ты утаил, что ты барон, когда тебя в пионеры принимали?
 — Вы меня не так поняли, — ответил Славик вежливо. — Это не я барон. Это бабушка называлась баронесса.
 — А что она теперь делает?
 — По правде сказать, не знаю. Раньше она вызывала мертвецов. При царе баронессам работать не разрешали, вот они собирались и вызывали мертвецов... Так и бабушка вызывала мертвецов, вызывала, а потом уехала куда-то в заграницу.
 — Все ясно, — сказала Таня. — Простая арифметика. Лезь на окно, буду домывать угол.
 Ольга печально улыбнулась.
 — Любишь ты, Танька, простую арифметику. — Она потерла висок узкой ладошкой. — Ну чего тебе ясно? Царский инженер плюс письмо Барановского в колонке, плюс жена баронесса равняется лишенцу? Вроде бы других доказательств не требуется. А я верую, что он честный и чистый человек, потому что знаю его. — Черные глаза ее сверкнули. — Знаю лучше вас всех, лучше, чем твой Яшка, лучше, чем твой отец...
 — Эй-эй! — закричала на нее Таня. — Куда по мытому! Ноги вытирай!
 Не обращая на нее внимания, Ольга быстро подошла к столу, выдвинула ящик и достала письмо. То самое, которое нашли в ванной.
 Славик сжался.
 — Тебе знакома эта бумажка? — спросила она.
 — По правде сказать, да, — сказал Славик.
 — Ты видел ее раньше?
 — Видел.
 — Где?
 Славик потупился.
 — В ванной? — помогла Оля.
 Славик кивнул.
 — А ты не знаешь, как она туда попала?
 Он придумал путаную жалобную фразу, но Ольга заговорила раньше:
 — Ну хорошо. Слушай внимательно. Ты уже пионер и должен понимать. Вам в отряде рассказывали про Барановского?
 — Рассказывали.
 — Так вот. Это письмо писал Барановский.
 — Прислужник атамана Дутова, — напомнила Таня.
 — Подожди! — Ольга волновалась. Глаза ее горели. — Письмо писал Барановский какой-то женщине. И некоторые подозревают, что он писал твоей маме, потому что последняя страница этого письма оказалась у вас в ванной.
 — Я не прятал, — начал Славик. — Это...
 — Мы знаем, что не ты! — перебила Ольга. — Послушай внимательно. Вспомни: кто ругал папу за то, что он надумал перевозить ферму? Кто говорил, что папа прислуживается к властям? Что экономит совдеповские деньги?.. Что он отступник и позорит мундир путейца?..
 — Откуда он это может знать? — перебила Таня.

— Не мешай! Спрашиваю — значит, знаю. Ваня сам жаловался...
 — Хорошо помнишь?
 — Я, Танюша, все его слова наизусть помню... И не только сами слова, а всю их расцветку, музыку... Ну, ладно... С кем папа ругался?
 — Папа с гостями часто ругается, — сказал Славик. — А по телефону кого-то называл белой молью...
 — Юу вот! — подхватила Ольга. — Тебе понятна цепочка? Папа называл кого-то белой молью, и в вашей ванной оказалось письмо Барановского.
 — Это не я прятал, — снова забеспокоился Славик. — Честное пионерское, не я.
 — Никто и не думает, что ты, — торопилась Ольга. — Тебе понятна цепочка?
 — Цепочка? — Славик облизал сухие губы. — Понятна.
 — Ты пойми: кто-то нарочно притащил в вашу квартиру это письмо, чтобы бросить тень на твоего папу, на маму, на тебя... И как раз перед перевозкой фермы. И перед чисткой. Понимаешь, чем это пахнет?
 — Понимаю, — сказал совсем сбитый с толку Славик.
 — Танин папа, знаешь, где состоит? В ревизионной комиссии. Твоему отцу могут быть большие неприятности. Ты уже большой и можешь держать язык за зубами?
 — Так.
 — Ты ведь знаешь всех, кто к вам ходит. Ты должен помочь нам...
 До Славика стало доходить, что его ни в чем не подозревают. Ольга, кажется, серьезно думает, что письмо притащил к ним на квартиру и записал в колонку какой-то взрослый. Раз она ухватила за эту нелепую мысль, лучше всего поддакивать.
 — А я знаю кто, — сказал он небрежно.
 Ольга уставилась на него.
 — Профессор Пресс. Если мне не изменяет память, на пикнике он подошел к маме на четвереньках и укусил ее за палец. До такой степени он ее не переносит.
 Ольга погладила его по голове и отошла.
 — Нашла помощника? — смеясь глазами, спросила Таня. — Ну, не дуйся! Как с Гринькой-то?
 — С ним простая арифметика. На днях расписался.
 Начался скучный разговор про любовь, про свадьбу, стали часто повторяться фразы: «А я говорю...», «А он говорит...». Славик, коротая время, стал читать злополучное письмо. Содержание странички и так-то было туманно, а иностранные слова совсем затемняли смысл.
 — Тетя Оля, а вы ходили к Мурашовой? — спросил Славик.
 — К какой Мурашовой?
 — А про которую в письме пишу.
 Таня запрокинула голову и расхохоталась.
 Ольга подбежала к Славику и выхватила листок.
 — Молодец! — бормотала она, заново вчитываясь в строчки. — Такой маленький, а такой молодец!
 — Ерунда! Как ты найдешь Мурашову? — сказала Таня. — Если она и жива, то замуж вышла, фамилию сменила...
 — Да ты слушай! — взволнованно говорила Ольга. — Слушай, что написано: «М-ль Мурашова — невеста этого господина». А господин жил в доме вдовы Демидовой!.. Давай сбегаем к Яшке. Он все знает. Может быть, знает и дом вдовы Демидовой. Важно зацепиться.
 — Что с тобой сделаешь, пойдем, — сказала Таня. — Не поймешь, кто из вас пионер, а кто комсомо-

молец. А ты, Славик, ступай домой. И никому не рассказывай про кусачего профессора. И вообще не говори, что ходил ко мне в гости. Ни отцу не говори, ни баронессе... А ты, оказывается, забавный мужичок.

Славик пошел домой в отличном настроении. И всю дорогу вспоминал динозавров.

21

Олька не боялась разочарований. Поэтому ей везло.

В тот же день она сбежала в музей и выяснила у Яши, что дом вдовы Демидовой находится в Форштадте, на Кузнечной улице. Сама вдова умерла; дом принадлежит жакту; там живут шесть или семь семей. Среди них, конечно, можно найти старжилов.

Возле дома Демидовой Ольга напала на старушку, которая родилась в соседней «связи» и весь век просидела у ворот на скамеечке. Старушка знала и большевика, которого прятали у Демидовой. Большевика звали Глеб. Его взяли белые зимой, ночью, в восемнадцатом году. Невеста его, Олимпиада Мурашова, дочка учителя немецкого языка, работала машинисткой. В голодный год вышла замуж за Ключкова. Супруг ее служит в какой-то инвалидной артели, а дома сушит солодский корень, торгует целебным отваром и от фининспектора откупается медовухой. Ключовы живут на той же Кузнечной улице, на самом краю.

Едва дождавшись следующего дня, Ольга побежала к Тане прямо на пионерский сбор. Она выложила все новости и стала упрашивать подругу сходить вместе с ней на Кузнечную улицу.

Таня сгорала от любопытства, но идти не могла. Яша наконец-то добился, чтобы в городском совете поставили вопрос о неотложных нуждах музея. А его единственные брюки были до того рваные, что если их не починить, директор музея преспокойно отправится в городской совет с голым задом.

— Ты вот что сделай! — придумала Таня. — Возьми барончика. Скажи, что он изучает историю. Пусть расспросит, что надо.

Позвали Славика. Он подбежал тяжело дыша, раскрасневшийся и счастливый. Они только что перетягивали на канате и победили.

— Ты помнишь письмо Барановского? — спросила Таня.

Славик испуганно открыл треугольный ротик.

— Письмо написано какой-то тетке, которая выдавала большевиков... Представь себе, что эта гадюка сейчас ходит по садику и преспокойно собирает крыжовник. Можно с этим мириться?

— Нет, — сказал Славик. — С этим мириться нельзя.

— Видишь, Ольга, как он поддается агитации. Слушай задание: на Кузнечной улице обитает гражданка, которая эту змею хорошо знала. Ты пойдешь к этой гражданке и осторожно расспросишь о том, что тебе скажет Оля. Понятно?

— Конечно. Эта гражданка — Мурашова, про которую написано в письме?

— Молодец! Все понял.

— Про письмо не говори, смотри! — предупредила Ольга.

— Да, да. Ни в коем случае! — подхватила вожатая. — Про письмо забыть и не вспоминать! Ну, будь готов!

— Всегда готов! — сказал под салютом Славик.

Они вышли на улицу. В церквях звонили. Было воскресенье.

По пути Славик спросил Ольгу:

— У вас случайно нет денег?

— Зачем тебе?

— Надо приобрести блокнот, записывать сведения. Чтобы не получилось путаницы в истории.

— Путаницы не будет, — сказала Ольга. — Объясни, что собираешь сведения о революции, и слушай, что тебе будут говорить.

Усыпанная козьими орешками Кузнечная улица Славика понравилась. Издали доносился церковный звон. У калиток играли котят. Между домами росли рябинки, березы, клены. На старых деревьях покачивались качели. Под заборами по второму разу зацветал одуванчик. На подоконниках лежали подушки в пунцовых наволочках, чтобы мягше было глядеть прохожих.

Славика было неведомо, чего стоила эта красота: палисадники выравнивали в струнку еще при царях. За неровный штакетник казачков штрафовали. И деревья рассаживались по приказанию высшего начальства, дабы заграждать кровли от огня во время пожара. Если клен усыхал, хозяина порол.

Дом Ключкова стоял на самом краю, окруженный тесовым заплотом. Ольга постучалась. Открыл присадистый, лысоватый человечек в сползающих галифе. Лицо у него было неприятно розовое, как после омоложения. Он посмотрел на тонкую Олькину талию и, не выслушав как следует чего надо, впустил гостей во двор.

В просторном дворе, под турником, сделанным из обрезанной казачьей пики, лежали индюшки с голыми фиолетровыми шеями. Подальше, на бахче, словно валуны, валялись тыквы.

— Айдате, айдате! — замахал ручкой хозяин, как будто боялся, чтобы их не застали настоящие хозяева.

На крыльце под шатром с боярскими витыми стояками он разулся сам и велел разуться гостям.

Они вошли в горенку, оклеенную грамотами, портретами вождей, хромофотографиями, антирелигиозными плакатами Моора. В углу мерцали иконы.

Горенка была заставлена шкафчиками, комодами, фикусами; голландская печка занимала много места, так что двигаться в горенке можно было только боком.

Как только выяснилось, что Славик — сын начальника службы пути, Ключов заулыбался, сел перед ним на табуреточку и изъяснил готовность отвечать на любой вопрос.

— Хорошо у вас тут, — проговорила Ольга. — Дом на самом краю, и из окон степь слышать.

— Наша хата с краю! — подмигнул Ключов. — Теперь такого участка не дадут. Землю на аршины меряют. Как мануфактуру...

Он достал из грудного кармана усыпанную блестящими камушками гребенку и причесал брови.

— Ну-с, молодая смена, — обратился он к Славике. — Какой у вас ко мне интерес?

Славик увидел синие ногти на босых ногах хозяина и вспомнил продавца петушков.

— Вы голубей водите? — спросил Славик внезапно.

— Нет, молодой человек. — Ключов встал, погладил Славика по головке и снова сел на табуреточку. — Такими глупостями не занимаемся.

— Он собирает факты о революции, — напомнила Ольга, настойчиво глядя на Славика черными египетскими глазами. — Пионеры поручили ему уточнить кое-что. Ваша супруга участвовала в революции?

— А как же! — Хозяин зашлепал по горенке. —

И моя Олимпиада боролась, и я боролся. Можем осветить примеры, поучительные для подрастающей смены. Олимпиада! — шумнул он в оконце. — Вы бы подсказали, гражданочка, кому следует, чтобы нас с ней на публику вывели. В клуб или куда-нибудь на красную кафедру. Мы бы тогда за один раз много бы геройства рассказали.

— А вы тоже участвовали в революции? — спросил Славик, не сводя глаз с его синих ногтей.

— А как же! В погребках не отсиживался, как другие некоторые. — Он причесал гребенкой брови и глянул на себя в буфетное стекло. — Я повсюду воевал. Где беда, там и я. И на Волге, и на Урале, и в Туркестане. Куда Фрунзе, туда и я... Бывало, враги пушки выставляют, а мы шашки наголо и вперед! У-у, страсти! — протянул он по-бабьи и присел немного. — Одно слово, лава! Красный ураган!

Вошла женщина лет тридцати, такая же пухлая, как и супруг, и похожая на него повадкой.

— Обратно людей пугаешь? — устало улыбнулась она, утирая фартуком руки. — Чего тебе? Кабы рыбу коты не унесли...

— Присяды! Не унесут! — сказал хозяин. — Вот, жена, дождалась правды и мы. И об нас вспомнили. Хотят записать наши заслуги на вечные скрижали, чтобы подрастающая смена издавала нам заслуженный почет. Это знаешь кто? — показал он пальцем на Славика. — Сынок самого начальника железной дороги, гражданина Русакова.

На руках у него ногти тоже были синие.

— Ваш муж говорит, что вы большевикам помогали при дутовцах, — пояснила Ольга.

— Помогала немного.

— А вы помните какого-нибудь большевика?

— Да годов-то сколько прошло! Где тут вспомнишь!

— Вспомнишь! — сказал Клюков. — Ты бы хоть переоделась. Что, у тебя кофты нет? Надень хоть ту, розовую, сладенького цвета... Сейчас она вам все расскажет.

Олимпиада тут же, в горенке, переоделась и села.

— Ну чего же ты? Спрашивай, — сказала Славике Ольга.

Клюков мелко тряс правой ногой, Славик связывал это трясение с синими ногтями и не мог собраться с мыслями.

— Вы знали товарища, который жил нелегально в доме вдовы Демидовой? — спросил он заученно.

Олимпиада покосилась на супруга.

— Чего же ты? — подбодрил ее Клюков. — Не бойся. Знала, так говори.

— Знала, — сказала Олимпиада.

— А как его звать? — спросила Ольга. — Не Глеб?

— Ну, говори, — понукал Клюков. — Глеб, так Глеб.

— Глеб, — сказала Олимпиада.

— А где он теперь?

— Теперь его нигде нету. Выдали его дутовцам, — заговорила Олимпиада. — Выследили его, двор оцепили и поймали... Нездешний он был. Со степи его прислали, революцию делать. Веселый был человек... Глазки карие.

— Веселый, веселый! — передразнил ее хозяин. — Тебя про переворот спрашивают, про красный ураган, а ты — глазки карие... Дура!

— Как он жил? — спросила Ольга. — Секретно?

— А как же! Очень даже секретно. Сама Демидова не знала, что у ней там в сараюшке красный живет... Власть к ней не совались: у ней муж был пристав. Дворник только знал да мы. Я ему письма носила, раз на собрание мимо патруля провела. — Она законфузилась. — Под ручку прошли...



— А темно! Комендантский час! — добавил Клюков, мелко трясая ногой. — У-у, страсти!

— Вам страшно было? — спросил Славик.

— А как же не страшно? Конечно, страшно... И бандитов боялась и патрулей... А главный был страх, чтобы папана не узнали, куда бегаю.

— Родитель у них был серьезный, — пояснил Клюков. — В гимназии по-немецкому учил. Как что, за ремень.

— Какой ужас! — сказал Славик.

— Да ну, что там! — Олимпиада вздохнула. — Жили хорошо, сытно. Папаша от людей уважение имел. В первые дома приглашали. У Панкова — кондитера — на дому детишек учил, у Бейлина, у Степанова...

Славик насторожился. Фамилия «Степанов» вызвала у него смутное беспокойство и настойчивую потребность что-то вспомнить.

— Тебя про твоего родителя не спрашивают, — перебил ее Клюков. — Граждане переворотом интересуются. Родитель у нее в голодный год помер. Грибами отравился. Помер, и нечего его поминать... Ты лучше обрисуй, как большевиков выручала.

— Разве я одна выручала? Нас много было девушек. Значит, ребята из тюрьмы должны бежать. А Глеб велел нам выйти на тайное место, дожидаться беглых и от дутовцев спрятать. Мне назначили Николаевскую улицу. Встала, стою. Гляжу, на той стороне, наискосок, сыскное отделение. Ну, беда! А темно. Все боялась, не слажу с собой, домой убе-гу. А сладила.

— Вот она какая была, — отметил хозяин. — Не жалела молодую жизнь. За такие дела надо ордена вешать.

— Ближе к полночи подошли трое, сказали па-роль. Все честь по чести. И я отвела их к Катюшке.

— А кто эта Катюшка? — спросила Ольга. — Тоже за красных?

— Не знаю... Она, я думаю, не разбиралась... Ей бы только озорство показать, возле боевика покрасоваться. Тогда много было девчонок отчаянных. Глафира была, помню, Нюрка. Со своих кавалеров моду брали. Эти-то, арестанты, вон какие озорники были: стражу в чулан загнали, а на пороге положи-ли бомбу. «Сидите, мол, смирно, а то бомба разо-рвет». А вместо бомбы в газете была завернута брюква. Вон как озоровали!

— Про брюкву нечего поминать, — прервал Клюков. — Не принимай революцию.

— А среди ваших подружек не было такой Лии Акимовны? — спросила Ольга и строго посмотрела на Славика.

Но Славик не следил за разговором. «Степанов. Степанов!» — настойчиво зудело у него в голове.

— Не помню что-то. — Олимпиада подумала не-много. — А какая она из себя?

— Чумовая немного. Вышагивает, как красноар-меец. Культурная.

— Не помню. Из культурных к нему Леночка бе-гала. Фельдшерница.

— Она тоже арестантов прятала?

— Нет, Глеб ей не доверял. А красавица была! Глазки, ровно у кошки... Золоченые.

— Граждане собирают факты для воспитания, для подрастающего поколения, а она обратно, глазки! — рассердился Клюков. — Ты им обрисуй...

— Нет, нет, подробности тоже интересны. — Оль-ка чуяла, что напала на след, и волновалась. — А по-чему Глеб не доверял вашей Леночке? Какая, вы думаете, причина?

— Уж не знаю, как вам и разъяснить... —

Олимпиада подумала. — Уж больно непростая была. И про белых больно много знала, про ихние замыс-лы... Все выхвалялась, пижонила...

Славик вздрогнул. Внезапно он вспомнил, что «пижон» по-русски означает «голубь», вспомнил Клешню, а вспомнив Клешню, вспомнил и все остальное: что фамилия Клешни — Степанов и что отца его повесили дутовцы.

— Скажите, пожалуйста, — спросил он, замирая. — Степанов, у которого ваш папа учил детей, случай-но, не присяжный поверенный?

— Да, адвокат! — удивилась Олимпиада. — А ты его откуда знаешь?

— Подожди, Славик... — начала было Ольга, но он уже не слышал ее.

— Я, конечно, самого присяжного поверенного не знаю, — торопясь, объяснял он. — Я Клешню знаю. У присяжного поверенного был сын, пони-маете? Его звать Клешня. Значит, ваш папа этого Клешню и учил... «Пижон» означает «голубь».

— Да ты что! — засмеялась Олимпиада. — Какой такой Клешня? У Степановых был единственный сы-нишка — Эдик. Деликатный такой, чуть что не так, плачет. И дочка была. А никакого Клешни у них сроду не бывало.

— Значит, это не тот присяжный поверенный! Значит, это другой присяжный поверенный! Вы у Клешни спросите!

— Чего там спрашивать. Степановых дутовцы истребили. Весь корень, подчистую. Одна дочка осталась. Нора.

— Нет, и Клешня остался! — кричал Славик. — Вы не знаете!

— Как же нам не знать, когда Норочка — сирот-ка — с нами жила! Как сейчас помню: прибегла к нам, дрожит вся, ничего путем сказать не может. Спрашиваю, где папа-мама, где братик, ничего не говорит... Плачет только и трясется... Оставили папа-ня ее у нас. Так и жила. В уголок заберется и вы-глядывает, как мышонок...

— Ну да, конечно, — подхватил Славик. — Это и есть сестренка! Нора! А он забыл, как ее звать.

— Кто позабыл?

— Да Клешня же! Он ее много лет ищет. Он у нас каждое лето на парадной лестнице ночует! Я его приведу к вам...

— На что его приводить? — насторожился и как будто испугался Клюков.

— Как же на что? Он же сестренку ищет! Столько лет ищет, что позабыл, как ее звать. Она у вас жила?

— Нигде она не жила! — отрезал Клюков.

— Как же нигде? Тетенька же сказала.

— Тетенька тебе что хочешь сбредет. Только уши разевай!..

— Да ты что! Вовсе без совести? — Олимпиада гневно покраснела. — Как же не жила? У папани до самой его кончины жила, да у нас с тобой, почитай, год!

— Какой тебе год! — Клюков еще сильнее стал трясти ногой. — А мы ее в детский дом когда сда-вали? Позабыла? А? Позабыла, что ли, как мы эту мокрицу в детский дом сдавали? А она сбежала. Значит, никто не отвечает...

— Не лупил бы, так не сбежала!.. Своих детишек, скопидом, не заимел и чужих разогнал!..

Вопрос о Норе был больным местом между супругами. Ольга тронула Славика за руку и ска-зала:

— Мы отошли от темы. Подожди, Славик... Вы сказали про Леночку. Не припомните, как ее фами-лия? Славик, подожди...

Но Олимпиаде было не до Леночки.

— Чего, она тебя объедала? — бранила она мужа. — Тихая была Норочка, безропотная. Ты ей за весь год юбочки не справил, скопидом. Мое рваньё донашивала... А теперь, вишь ты, мокрица!

— Еще раз повторяю: мы с тобой ее в детский дом сдавать возили? Возили. С твоего согласия. А она по пути убежала! И нечего об ней поминать! Ничего мы об ней не знаем!

— Я тебе... — начала Олимпиада.

— Рыба у тебя где? — перебил он. — Гляди, коты унесут.

— Ой, батюшки!

Олимпиада бросилась на крыльцо.

— Я догадалась, почему вы затыкаете ей рот, — пристально глядя в глаза хозяйину, проговорила Ольга.

— А вы не страшайте, — сахарно улыбнулся Клюков. — Не такие страшали. Нам бояться некого. У нас все документы подколоты. А вот вы, мадам, сообщите, кто вас заслал выведывать семейные дела под ширмой этого пионера. А? У вас от кого мандат?

— Я догадалась, почему вы затыкаете ей рот, — медленно повторила Ольга. — Но вы ошибаетесь. Судьба девочки нас не интересует.

— Как же не интересует! — завопил Славик. — Что вы, тетя Оля!

— Совершенно не интересует. Мы разыскиваем подругу вашей жены — Леночку.

— Коза у нее подруга! Я ее подобрал, когда она голышом бегала, в пастухи нанималась... Я их вместе с этой мокрицей, с Норкой этой, на свое иждивение взял. А ежели вам на нас набрехали, так мы от любой клеветы давно отбелились... А теперь, пожалуйста, не задерживайтесь. — Клюков вскочил с табуретки и распахнул дверь. — У меня сейчас перекуса.

— Мы уйдем, — сказал Славик. — Вы только скажите, где Нора.

— Да подожди ты! — Ольга сердито дернула его за руку.

— Сперва сговоритесь друг с дружкой, а тогда заходите. — Клюков снова сахарно улыбнулся. — Хотите нас на крючок поймать? За дурачков посчитали? А мы — нет, не дурачки. Ежели хотите добром послушать про переворот, пушай нас вызовут в клуб. А частным порядком мы не желаем. Так там и скажите.

Славик и Ольга вышли на крыльцо. Хозяйка, ощерившись, чистила рыбу.

— Послушайте, — быстро проговорила Ольга. — Скажите только одно: кто такая Леночка? Как ее фамилия? Где ее найти? Ну?

— Олимпиада! — послышалось от порога.

— Чего Олимпиада! — накинулась она на хозяйку. — Сам привел незнамо кого, а теперь Олимпиада! Сам пускал, сам и провожай!

— Вот смотри, Славик, — громко сказала Ольга. — И это называется люди. Так и сойдут на нет возле своих лещей! Ни сказок про них не расскажут, ни песен про них не споют.

— Ничего, ничего, — торопил хозяин. — Мы не конница Буденного. Чего об нас песни петь!

— Вот скажу Клешне, — пригрозил Славик. — Он вас зарежет. Тогда узнаете.

Калитка захлопнулась.

Ольга и Славик виновато поглядели друг на друга.

На другой день после школы Славик пошел к Яше в музей.

Музей располагался в церкви с сшибленными крестами. На бывшей паперти торчали стволы старинных пушек, вросшие в каменные лафеты. На двери висела фанерка: «Вход с южной стороны. Деревянная дверь».

Славик не знал, где южная сторона, два раза обошел граненые апсиды и торкнулся в узкую дверку.

Прислонившись к стенам под низкими сводами, дремали рябые каменные истуканы.

— Ты куда? — окликнула его обутая в пимы бабушка.

Славик промолчал. Дело у него было секретное.

— Скажите, пожалуйста, — спросил он, подумав. — Это южная сторона?

— Это музей, — отвечала старушка сурово. — Давай плати пятак. Так и норовят без билета.

— А вы не могли бы пропустить меня в долг? У меня нет при себе денег. Завтра я вам обязательно занесу.

Бабушка растерялась и пропустила.

Славик вошел в мрачный, высоченный зал. Шаги его зашелкали, как пистоны, высоко-высоко, как будто он шел не по полу, а по разрисованному богами куполу. Он почтительно оглянулся на железные площадки, лощенные глиняные обломки, сварившиеся от ржавчины мечи и остановился возле черной кабинки, на которой было написано: «Пытка средневековья. Нервных убедительно просят не смотреть». В полутьме покачивалась кукла, подвешенная за ребро на крюк. На плече у куклы был приклеен инвентарный номерок с синим кантиком.

Славик толкнул куклу, чтобы шибче качалась, и пошел дальше.

В этом же приделе стояла настоящая золоченая карета с вензелями. Внутри она была обита стегаными одеялами, как комната для сумасшедших.

Это был зал феодализма и капитализма.

Несколько лет назад, когда город навещал Калинин, тогдашние местные власти извлекли из сарая эту самую карету и подали к вагону Всесоюзного старосты. Здорово досталось тогдашним подхалимам от Михаила Ивановича. Он распорядился наказать совдураков, а карету отправить в музей. С той поры она и стоит посреди зала феодализма и капитализма, и в ней спит Яша, когда задерживается на работе до ночи.

В общем, ничего особенно интересного здесь не было.

Зато в центральном зале перед алтарной преградой было что посмотреть. Зал был целиком посвящен революции. Там лежали красногвардейские повязки, простреленные буденовки, самодельные бомбы, шрифты тайной типографии, настоящий пулемет «максим» и мандат, подписанный лично товарищем Фрунзе. Еще там была рваная афишка, которую выпустили белые власти, когда ненадолго захватили город в восемнадцатом году.

В афишке было сказано:

«За нападение на членов войска, милиции и других должностных лиц и за сопротивление им при исполнении обязанностей службы виновные приговариваются к лишению всех прав состояния и к смертной казни».

За участие в шайке, именующей себя большевиками, виновные приговариваются к лишению всех прав состояния и к смертной казни.

За умышленное укрывательство комиссаров и лиц, служащих в Красной Армии и Красной гвардии, виновные приговариваются к лишению всех прав состояния и к смертной казни.

Виновные в произнесении или чтении публичной речи, или сочинения, или изображения, возбуждающих вражду между отдельными классами населения, между сословиями или между хозяевами и рабочими, приговариваются к лишению всех прав состояния и к смертной казни.

За сохранение огнестрельного оружия и холодно-го оружия, а также боевых припасов виновные приговариваются к лишению всех прав состояния и к смертной казни...

И подпись: «Полковник Барановский».

За святыми воротами слышались голоса.

Славик открыл дверь и остановился.

Возле столика сидел старичок с самым настоящим орденом Красного Знамени на груди, с совершенно таким же орденом, какой был у Буденного. Орден был привинчен к толстовке несколько косо и блестя в алой розетке, как политый медом. Славик так удивился, увидев живого краснознаменца, что открыл треугольный ротик и забыл поздороваться.

На столе лежал план города. Старичок говорил с Яшей простым, ровным голосом, как будто и у Яши тоже был орден Красного Знамени.

— Вот там был у нас штаб, а вот тут, во дворе, раздавали оружие.— Краснознаменец беззвучно затрясся, будто поскакал на лошади, и Славик не сразу понял, что он смеется.— Вручили Косте пистолет, ну, знаете, дамское оружие, ручка перламутровая... Костя разбушевался—куда мне хлопушку! Она пальто не пробыет. На что хотите спорю, не пробыет!

Краснознаменец был в холщовой рубашке навыпуск, подпоясанный тонким, как уздечка, ремешком, сухонький, седенький, совсем непохожий на героя.

— Костя встал задом-то, а Глеб отмерил двадцать шагов, да пулянул ему из этого пистолета пониже спины.— Дедушка снова затрясся и стал утирать глаза.— Про-обило... Пальто на вате, а пробило... Два дня не садился. Вот тебе и хлопушка.

— Ах, вот это кто! — сказал Яша, заметив Славика.— Ходили в Форштадт?

— Ходили,— сказал Славик, не сводя глаз с краснознаменца.

— И ничего не добились?

— Ничего.

— Я так и знал. Скажи своей Тане, что я-таки добился до человека, который знал Глеба и вместе с Глебом участвовал в налете на станцию.

Краснознаменец улыбнулся Славiku.

— Надо позвать комсомолок, и он им кое-что разъяснит. Но это дело мы отложим на потом. Я страшно опаздываю. Мне нужно бежать до горсовета.

Он схватил сапожную щетку и бросился чистить серые парусиновые ботинки черной ваксой.

— Я слушаю! — выкрикивал он.— Продолжайте! Ха! Блестят, как новые. Продолжайте.

— Ну так вот,— послушно заговорил краснознаменец.— Собрали отряды основной и вспомогательный, организовали ударную группу, назначили час налета. Приезжает к нам в штаб товарищ Мирон проверять боевую готовность от партийного центра. Людей у нас в каждом десятке человек двадцать, а с медициной дело швах.

— Кстати, где теперь товарищ Мирон?

— Кто его знает. Кажется, в Ташкенте.

— Прямо удивляюсь на наших историков! — Яша взмахнул щеткой.— Что Екатерина Вторая — незаконная дочка прусского императора — это они доко-

пались, а до товарища, который десять лет назад собирал революционные отряды в нашем городе, они докопаться не могут. Ой, я, кажется, совсем опаздываю в горсовет! Ну?

— Ну, накрутил он хвоста за эту медицину. Приказал немедленно организовать полевой лазарет. Тогда все нужно было делать немедленно. А недалеко от штаба, вот тут где-то,— он показал карандашиком,— жила эскулапиха. Фельдшерица, приписанная к дутовскому военному госпиталю. Дождались, когда из дому вышла, замотали ей голову платочком, чтобы не шумела, и умыкнули. Представляете, нисколько не испугалась. Стоит перед товарищем Мироном, руки фертом, этаким пижонкой. Во первых строках сообщила, что презирает нашу мужичью власть и нас всех вместе и по отдельности. А во-вторых, потребовала немедленного освобождения, поскольку в госпиталь привезли изувеченных в крушении на шестнадцатом разъезде и ее туда вызвали... С такой же благородной откровенностью ей было сказано, что, не дожидаясь просветления ее сознательности, именем революции ее придется задержать на двое суток для пользования раненых красногвардейцев, а в случае неповиновения она будет отвечать перед революционным трибуналом наравне с мужским полом...

— Ты что, старая? — загрохотал бас за царскими воротами.— Какой тебе билет? Что? Я сам ценный экспонат! — И в дверях появился большой, туго, по-военному прихвотивший брюшко ремнем, стриженный под нулевку отец Таракана.

— Здравия желаю, начальство! — Он махнул рукой возле козырька.— Тебя горсовет ждет, а ты туалеты наводишь? Куда гонится?

— Ой, сию секундочку! — Яша бросил щетку, заторопился.— Сейчас иду. Секундочку, секундочку!

— Опоздал... Поручено проверить на месте, в чем нуждается. Принимаю гостей.

— Гора пришла к Магомету,— заметил краснознаменец.

— И ты, краском, тут! — воскликнул Таранков.— Здравия желаю! — Он мельком взглянул на карту.— Война кончилась, а ты все посты расставляешь?

— Ай, что вы делаете! — вскричал Яша не своим голосом.— Покладите на место!

Таранков поспешно поставил на полку заинтересовавшую его фарфоровую чашку.

— А если уроните? Вот, обратите внимание: коробочка для мушек. Так? Приходит инвентарная комиссия и роняет на пол. И, конечно, вылетает рубин. А восемнадцатый век! Рококо!

— То рококо,— сказал Таранков.— А это чашка. Посуда.

— Да? Посуда? Это не посуда. Это прибор тет-а-тет, исполненный на заводе Поскочина... Одна чашечка в бывшем императорском Эрмитаже, а другая у меня. Из Ленинграда специально на эту чашечку приезжал специалист...

— Зачем же вы ее прячете? — спросил старичок.— Надо выставить. На обозрение трудящихся.

— Как я могу ее выставить! — Яша осторожно поднес к его глазам чашку и показал из своих рук. В картуше под золотой короной глазурной росписью изображен был генералиссимус Суворов с белым хохолком и при всех регалиях.

— Понятно? — спросил Яша конспиративно.

— Von чего рисуют, сукины дети! — Таранков покачал головой.

— Это кто? — полубопытствовал Славик.

— Тебе, молодой человек, не надо знать этого,— ответил Яша.

— Через дерьмовую посудину и то исхитряются

провести свою гнилую агитацию,— продолжал Таранков.— Недаром меня мутит от всякого подобного золоченого барахла. Вроде рубин там, брильянт, порфирий какой-нибудь, а вникнешь поглубже, опиум и отравы.

— Вы говорите, выставить,— продолжал Яша горестно.— Вот, пожалуйста, вам, картина.— Он выдвинул ближе к свету тяжелую раму. На темно-коричневом фоне желтел прибитый к кресту голый бог.— Есть подозрение, что писал ее Финк — ученик Рембрандта. И что, я ее не вывесил? Вывесил. И пришлось снимать, потому что на нее крестятся. Если им нарисован Христос, то они делают себе вид, что это икона.— Он вздохнул.— Скоро ее увезут в Ленинград, на анализ. И чашечку заберут в центральные фонды... И картину заберут. Я их-таки да, понимаю. От нашей сырости она портится. Но все же обидно!

— Пусть забирают к чертовой матери!..— сказал Таранков.— У нас политком, бывало, увидит эти стулы с козлиными ногами да вазы китайские, шашку из ножен — и давай крушить. Такой буран поднимает, ничего не видать! — Таранков поиграл желваками.— И правильно. Надо себя ограждать от буржуазной заразы. Чтобы не разлагались.

— Если у человека пролетарская прививка, не разложится,— возразил краснознаменец.— Посмотри на Якова. Копаются в драгоценностях, а ходит рваный, как блудный сын.

— И с горсовета деньги требует,— пробасил Таранков.

— Нет, граждане,— сказал Яша печально.— Я еще не очистился от капиталистического дурмана. Мне все время грезятся деньги... Наверное, потому, что мой папа был часовой мастер. Вчера грезилось, что мне отпустили пачку денег, толстую, как кирпич, и я купил несгораемый шкаф с секретным замком для документов, и заказал витрины с зеркальными стеклами, и над каждой витриной у меня горели лампочки по пятьдесят свечей. И на остальные деньги я купил дрова и топил музей с утра до ночи.

Возникло молчание.

— А эта тетенька согласилась пользоваться раненых? — набравшись смелости, спросил Славик девушку.

— А куда ей деваться? Подумала, покусала губки и велела предъявить медикаменты. А десятские не только медикаментов не имели, но и слова-то этого выговаривать не могли. Ничего у нас не было! Вот какие были вояки! «Ну что ж,— говорит,— у меня кое-что дома припрятано. Придется сходить». Мы, конечно, думаем: «Вон она, на какую дешевку хочет поймать», — а она заявляет: «Вы, господа, ведете себя нелепо. Собираетесь доверить мне раненых, а в таком пустяке не верите. И учтите, я вас ни чуточки не боюсь и смерть от вашей руки презираю. Вам по вашей темноте понять это трудно, но в конце концов вам придется сообразить, что я повинуюсь не вашей грубой силе, а медицинскому долгу». Глеб подумал, решил пустить. А меня приставил под видом носильщика. Зашли к ней на квартиру, набили сидор бинтов, потопали обратно. А навстречу, как в сказке, сам полковник Барановский собственной персоной. Вот тут у тебя садик нарисован, а она на Вознесенской жила, а вот отсюда, из уголочка, выезжает полковник. За ним, конечно, эскорт: два холуя верхами...

— Где она, говоришь, жила? — прервал Таранков мрачно.

— На Вознесенской.

— Как звать?

— Вот насчет имени я слаб стал. Память усыхает, уважаемый товарищ.

— А усыхает, тогда и болтать нечего.

Таранков помрачнел еще больше, стал что-то рассчитывать, и мускулистое лицо его сделалось серое, как булыжник.

— Так я про других не болтаю, я про себя только... Чем я Барановскому приглянулся, не знаю. Велел подозвать раба божьего. «Чего в мешке?» «Медикаменты». Не верит. Велит показать. «Куда тебе столько бинтов?» У меня душа в пятки. Сами посудите: тут военный комендант, полковник Барановский, по бокам два барбоса при шашках, а за спиной режиссированная фельдшерка. Слово вымолвит — и господи благослови! Пожалуйте к стенке! Ну, думаю, пан или пропал. «Да вот,— говорю,— барышня до больницы снести приказала. Крушение было на шестнадцатом разъезде — раненых привезли...» А она молчит!

— Как ее звать? — спросил Таранков настойчиво. Он пристально смотрел на старичка, и Славика поразило, что рябое лицо его все больше походит на выветренный камень.

— Да я же сказал, что имена не удерживаю. Такая, видная из себя, гражданочка... Глаза, как у кошки... Золоченые.

— Врешь, краском! Ничего этого быть не могло! — перебил Таранков с ожесточением и с душевной мукой. — Сказки вот им рассказывай! — Он кивнул на Славика. — Кто поверит, что Барановский так тебя отпустил? У него на дверях надпись была: «Без доклада не входить, а то выпорю». Помнишь, на станции кутузку в кондукторских бригадах? Ну вот. Так мы оттуда своего агитатора выручили. Через час его благородие Барановский тут как тут. Глядит, пост оголен. Непорядок. Сунулся в кутузку, а там часовой. Встал. Докладывает: «Красные замкнули... Под страхом истребления...» Сам знаешь, темное казачество воевало под лозунгом «Беги, а то я побегу». Отступил Барановский на шаг, примерился да из-за плеча казачка-то нагайкой по глазам. И вот слушай: глаз у него на щеку вытекает, а он фрунт держит. Носки врозь — пятки вместе. Винтовку, правда, выронил, а фрунт держит. Вот что означал Барановский. А ты — фельдшерка: глазки золоченые... Как у кошки... А как звать — не помнишь...

— Что ж,— сказал краснознаменец. — Давай соглашаться на ничью. Ты в меня не веришь, а я в твоего казачка.

— Про казачка правда,— проговорил Славик. — И тетя Клаша рассказывала.

— А тетя Клаша откуда знает? — насторожился Таранков.

— Она тогда в буфете служила. На станции.

— Выходит, твоя тетя Клаша на дутовских хлебах сидела? — Таранков повертел в руках наконец стрелы, бросил на полку. — Надо будет ее проверить через мелкий микроскоп. А куда эта, ну, как ее, фельдшерка подевалась?

— Кто ее знает. — Краснознаменец пожал плечами. — Кто говорит, убили, а кто говорит, с белыми убегла. Глеба вроде белым выдавала.

— Опять врешь! — Лицо Таранкова стало серым и неподвижным, как у каменной бабы. — Хотя бы постыдился, в божьем храме находишься... Видно, не было тебя в те годы в красных отрядах, не видал я тебя там, и фельдшерки никакой не видал, и Глеба никакого не знаю.

— Ну, насчет Глеба не говорит! — возразил Яша.



Он забрался на стул, отвязал подвешенный под люстрой над головами мешок глиняного цвета.

— Чтобы мышь не прогрызла,— пояснил он коротко, вытаскивая из мешка толстую папку.

Он перебрал вырванные из книжек страницы, фотографии улиц и домиков, вырезки из газет, страницы конторских книг, открытки с видами соленого озера и Илецкой меловой горы, старые афиши и программы и достал листок бумаги, аккуратно заложенный между чистыми листами общей тетради.

— Вот! — сказал он.

Таранков потянулся было к листочку, но Яша трогать руками не дал.

— Сейчас я вам зачитаю,— сказал он и начал читать:

— «Дорогие родители, сестры и братья, дорогая супруга Маня, кланяется вам сын, брат и супруг Глеб Федорович. Наконец-то я узнал, что мне сегодня придется расстаться с жизнью, приговор надо мной уже совершен. Верно, судьба моя такая, пасть от руки дутовских палачей за то, что не захотел быть двуличным, но я уверен, что скоро вся эта гнилая власть потонет в своей крови. В тюрьме страшный ужас. Ежедневно уводят, куда — неизвестно, а уходящие не возвращаются. Папа, мама и дорогая супруга, пишу последний раз и целую вас и дорогих моих сестер и братьев. Как тяжело расставаться с жизнью! На этом кончаю, карандаш просит Витя, его будут кончать вместе со мной. Я не думал, что у меня так скоро отнимут молодую жизнь, мне так хотелось жить, но жизнь у меня отнимают. Прощайте, живите счастливо за меня, не обижайте милую Маню, а я теперь буду...»

На этом письмо обрывалось.

У каждого из нас остаются в памяти бессвязные клочки детских воспоминаний. Остались такие воспоминания и у Славика. Он вырос, попал в Московский технический институт, стал называться не Славиком, а Вячеславом Ивановичем, женился, несмотря на форму своей головы, на балеринке, и колдовращение жизни начисто вытеснило из его памяти и Яшу, и голубятню, и дедушку-краснознаменца. Но когда у него уставали глаза и он, сняв очки, откидывался на спинку дивана, ни с того ни с сего представлялся ему грубый мешок, подвешенный к потолку в провинциальном музее, и он задумывался: что все-таки разумней — жизнь осторожная и рассудительная или быстро горящая, полная страстей и отваги?

23

Вожатая Таня объявила, что барабан вручат тому, кто лучше всех расскажет неизвестное событие, имеющее отношение к революции. Кроме барабана, шефы купили отряду и горн. Но как-то само собой получилось, что дудеть будет младший братишка вожатой Тани, хотя этот братишка про революцию не знал ничего.

Славик мало надеялся получить барабан. Во-первых, с ним всегда что-нибудь приключалось, а во-вторых, еще нигде не бывало барабанщика клин-башки. Но он все-таки решил рассказать про красного героя — Глеба. Он твердо верил, что его история — самая необыкновенная.

И вот наступил пионерский сбор.

Новый барабан молча лежал на столе под охраной двух дежурных пионеров. Дежурил лопухий Семка, тот самый, который умел пускать дым из одной ноздри, и звеньевой третьего звена.

Славик подошел к барабану и безнадежно вздохнул. Слишком царственно сияла выгнутая красная бсковина, слишком празднично блестели медные барашки, чтобы он мог всерьез посягать на такое сокровище. Но все-таки он на минутку увидел себя на улице выбивающим дробь впереди отряда и пораженную маму на тротуаре, услышал ее низкий голос: «Или я спятила, или это Славик!» — и ему очень захотелось завоевать барабан.

Претендентов оказалось двенадцать человек. Остальные или плохо выполняли пионерские заповеди, или не умели сменять ногу в строю.

Хотя ни одна девчонка в соревновании не участвовала, именно девчонки вносили сумятицу и беспокорство, шушукались, предрекали победителя,правляли своим фаворитам галстуки, ссорились и всячески интриговали.

Ждали Яшу. Он должен был участвовать в жюри. — Ты тоже записался? — спросил Славика Митя, проходя сменять дежурных.

— Записался, — подтвердил он. — А ты?

— Ты что, опупел? Я же в жюри.

И прошел важно.

— А чего ты можешь рассказать? — промямлил заступивший на дежурство младший Танин братишка. — Ты в революцию пешком под стол толал. И красногвардейцев никого не знаешь в лицо.

Он целый день дудел в горн, но все-таки вредничал.

— Во-первых, на посту не полагается разговаривать, — напомнил Славик. — Чтобы рассказывать о революции, совсем не обязательно знать в лицо красногвардейцев. — Он помолчал и добавил загадочно: — Некоторые красногвардейцы писали письма.

— Тебе?

— Почему обязательно мне? Какой ты странный! Например, супруге Мане.

Вокруг засмеялись. Один Семка нехотя грыз заусеницу. Он не тратил смеха на пустяки.

— И ты думаешь, тебе за супругу Маню барабан дадут? — не унимался Танин братишка. — Ну, дадут. А ты не угадаешь барабанить в ногу.

— Почему не угадаю? Учительница музыки считает, что у меня абсолютный слух.

Танин братишка засмеялся.

— Чего ржешь на посту? — попрекнул его Семка. — Поставили — стой!

Он взял Славика под локоть и повел в дальний угол.

— И куда ржут! Верно? Ну их!

— Узнают, что за письмо, тогда посмотрим! — размяк от неожиданного сочувствия Славик. — Во-первых, Сема, это не простое письмо... Это письмо, понимаешь, написано боевиком в тюрьме за несколько минут до расстрела...

И, сильно волнуясь, Славик стал рассказывать про Глеба, про тюрьму, про Маню.

Семка слушал без интереса, грыз заусеницы, плевал куда попало.

Славик перевел дух и стал повторять все с самого начала, аккуратно и не торопясь.

— Письмо при тебе? — спросил Семка лениво.

— Что ты! Разве такое письмо дадут! Оно в мешке.

— В каком мешке?

— Не в котором, а в обыкновенном. Чтобы мыши не скушали. Его нашли и переслали в музей. Понимаешь?

— А звать Глеб?

— Глеб.

— Не врешь?

— Что ты! Я сразу запомнил, Глеб. Только скажу: «Глеб» — и как будто его вижу... Правда... Я немного нервничаю. Руки мокрые — представляешь?

— Чего им мокнуть, — сказал Семка. — Им мокнуть непочем. Твое выступление отпадает.

— Почему отпадает? Я у вожатой записался.

— Ему говорят отпадает, а он обратно: у вожатой записался. — Семка завел глаза, будто хотел поглядеть на собственный затылок. — Я сам про Глеба расскажу. У тебя складно не получится. А я расскажу складно. Я давно принял решение про него рассказать. Глеб, значит?

Славик до того растерялся, что послушно ответил: — Глеб.

В голове его перемешалось. Неужели Семка побывал в музее и Яша читал ему письмо? Но когда же это произошло? Письмо появилось в музее недавно... Может быть, Семка бывал в тюрьме и ему рассказали эту историю?

Славик походил из угла в угол, ничего не надумал и спросил Семку:

— Ты в музее был?

— А тебе какая разница? — проговорил Семка вяло.

У Славика звенело в ушах. В конце концов еще не все потеряно. Ведь номера будут тянуть по жребью.

— А если я вытяну первый номер? — спросил он язвительно. — А?

— Иди ты куда подальше, — сказал Семка. Потом посопел и добавил: — Будет первый номер — про МОПР давай...

— Нет уж, спасибо! — возразил Славик, гримасничая против воли. — Это ты сам давай, если хочешь, про МОПР.

— Гляди, без капризов! Папироску кто курил? Танька узнает — полетишь кверху тормашками.

Наглость Семки так поразила Славика, что он на некоторое время онемел. А Семка вяло хлопал веками; только тонкие, мышиные уши его раскалились, как железо, будто им было стыдно за своего хозяина.

— Как же тебе, во-первых, не совестно? — проговорил наконец Славик. — Разве это по-пионерски?

— Тебе барабанить охота? — возразил Семка. — Ну так и вот. Тебе охота, а мне неохота? Это что, попионерскому? Ишь какой хитрый!

И отправился к девочкам.

— Я Мите скажу! — крикнул Славик ему в спину.

— А тогда — во! — И Семка показал кулачок размером с гусиное яйцо.

Славик разыскал Митю, отвел его в сторону и стал жаловаться.

— Вот паскуда этот Семка, — ничуть не удивился Митя. — А ты не беспокойся. Жюри учтет твоё замечание.

— А я как же?

— Не вешай нос. Может, тебе достанется номерок раньше него.

И он важно отправился на сцену.

А Таня уже хлопала в ладоши, велела дать тишину. Пришло известие, что Яша срочно уехал раскапывать курганы. Решили начинать без него.

Стали вытаскивать номерки. Славика повезло: ему достался второй номер. Было бы полной несправедливостью, если бы Семка вытянул первый.

Пионеры с номерками столпились у стола отме-

чаться. Семка столкнулся со Славиком и спросил как ни в чем не бывало:

— У тебя какой номер?

— А тебе что за дело? — отрезал Славик.

Семка дружески ткнул его кулачком в бок.

— Чего распузырился?

Славик молчал.

— Шутки не понимаешь? — продолжал Семка. — Распузырился попусту. Нужен мне твой Глеб! Я всяких разных баек тыщу знаю. Давай приходи нашего батюку послушай. Такие страсти травит — потом не заснешь.

Славик взглянул на него через плечо. Семка дружелюбно улыбался.

— И как ты на меня мог подуматься! — мягко попенял он. — Мы же с тобой не кто-нибудь, а юные пионеры. Записаны в один шумовой оркестр. А ты на меня подумал!

Славику стало совестно.

— Ну ладно. Я долго сердчать не могу... Хочешь, научу через нос дым пускать?

— Хочу, — сказал Славик тихо.

— У тебя какой номер?

— Второй. — У Славику отлегло от сердца. — А у тебя?

— Чудно! И у меня второй. Гляди-ка!

Он протянул бумажную трубочку. Славик развернул ее.

— Какая же тут двойка? — удивился он. — Это пять.

— Эдак-то пять. А ты кверху ногами переверни, получится два.

— И кверху ногами пять. На двойку нисколько не похоже.

— А по натуре, — Семка захолопал глазами, — и кверху ногами пять. А я сперва думал, двойка. — И он улыбнулся дружелюбной улыбкой.

— Значит, ты после меня через три человека, — сказал Славик, протягивая ему номерок.

— Через какие через три?

— Ну как же. У тебя пятый номер, а у меня второй. Сосчитай.

— Где же у тебя второй?

На Семку снова напала вялость.

— Вот же! Ты его в руке держишь.

— Да нет. У тебя пятый. Куда у тебя глаза смотрят?

— Это твой пятый! Отдай номерок!

— Чего выхватываешь? — захныкал Семка. — Ребята, глядите, клин-башка у меня номерок выхватывает!..

У Славику зазвенело в ушах. В лице лопухого недомерка он впервые столкнулся с феноменом чистоты, ничем не прикрытой бессовестности. Он не мог представить, что такая дистиллированная бессовестность может гнездиться в том же самом мире, где существует вожатая Таня, солнце и голуби. Сейчас что-нибудь непременно произойдет: или под Семкой провалится пол, или балка упадет ему на голову.

Но ничего не случилось. Мир оставался равнодушным и к Семке и к Славику.

— Ну хорошо! — шептал Славик. — Сейчас скажу вожатой. Тогда узнает!.. Но когда Таня спросила, какой у него номер, вся его забота состояла в том, чтобы слеза не капнула на список, и он молча протянул бумажку с пятеркой. Вожатая весело спросила еще что-то, но он отошел поспешно.

Что говорил первый мальчишка, он не понимал. Его охватило отчаяние. Он стремился в отряд не только для того, чтобы носить галстук и барабанить. Нет. Он стремился в отряд, чтобы стать, как все. А не прошло и месяца, и его раскусили и насмеяются так же, как во дворе.

Прежде все свои беды он сваливал на клин-башку. Теперь он начинал догадываться, что было в нем еще что-то другое, еще более позорное, чем клин-башка. Но что было это другое, он понять не мог, сколько ни ломал голову.

У него еще мерцала «лабая надежда, что Семка разыграл его, взял, по выражению дворовых ребят, на понт. Но когда Семка вышел на сцену и, словно из другой комнаты, из-за стенки послышался его слабый голос, рухнула и эта надежда. Семка рассказывал про Глеба. Если бы только был Яша, если бы Яша послушал, какие Семка выдумывал дурацкие отсебятины! Будто письмо Глеба было написано белыми чернилами и буквы проступили, когда супруга Маня подержала бумагу над керосиновой лампой, будто, когда его повели расстреливать, он распевал песню «Белая армия, черный барон». Семку слушали с интересом, несмотря на все небылицы, несмотря на то, что при Глебе песни «Белая армия, черный барон» еще не было. Только Митя все больше мрачнел и надувался.

Кончил Семка тем, что письмо Глеба хранится в музее и каждый, кто хочет, может его почитать. Когда он спрыгивал со сцены, некоторые хлопали.

Следующим вышел аккуратный звеневый третьего звена с красивым затылком. Звали его Козерог, Славик не понимал, прозвище это или фамилия.

Козерог прокашлялся и стал пересказывать то самое, что в этом же зале, этим же ребятам рассказывал Яша про забастовку машинистов и записки.

Хотя Козерог нарушал главное условие — излагать неизвестное событие, его не перебивали.

А когда он кончил, Митя попросил слова и сказал:

— Конечно, каждому охота занимать барабан. Но кто взялся рассказывать про красных боевиков, у того, я так думаю, уйдут на задний план и барабан и все свои выгоды, если он по-правдашнему жалеет и уважает жертвою павших. Ты, Семка, коли взялся рассказывать про революцию, выходи на сцену чистый, как белый голубь, и снаружи и внутри. Или не берись вовсе. Сиди и помалкивай. Чего кулак показываешь? Встал бы лучше да покажись, где про Глеба выведал, чем кулаки казать. Никто не боится твоих кулаков. Он, ребята, про Глеба сейчас только узнал. От Славику Русакова обманом выведал. Воспользовался, что Славик у нас безответный, затюканный, и выведал у него и пошел пороть безо всякого стыда, что попало. Только и думал, чтобы барабан занимать. А как вели Глеба казнить, как убивалась по нему супруга Маня, об этом он думал? Если бы подумал, постыдился бы обкрадывать своего товарища, юного пионера. Наплевать ему на все!..

— Я думаю, Митя прав в чем-то, — сказала Таня. — Но сейчас, Митя, жюри должно слушать. Обсуждать выступления мы будем потом.

— Потом поздно! — возразил Митя. — Я считаю, Семка недостойный не только что барабанить, он недостойный про революцию рассказывать. А про Глеба предлагаю, чтобы снова рассказал Славик, как следует.

Предложение Мити проголосовали и приняли. Только Козерог попробовал возражать, что одно и то же второй раз рассказывать не положено.

— Ты бы помалкивал! — напал на него Митя. — У тебя отец знаменитый красногвардеец и красный командир, известный всему городу. На всех фронтах воевал. А ты — про телеграфиста!

— Про телеграфиста тоже интересно!

— Если бы ты что-нибудь новое осветил, было бы интересно. Например, кто был этот телеграфист, куда подевался? А ты только Яшины слова повторил.

— Сам освети, попробуй! — крикнул Козерог.

— А что! И освещу.

И, ко всеобщему изумлению, Митя не торопясь описал, как в буфет зашел переодетый дяденька в пенсне, как мама дала ему воды вместо водки, и как его выследили дутовцы и заперли на замок в кутузку, а два казака освободили.

— Яше это известно? — спросила Таня.

— Не знаю.

— Изложи свое сообщение в письменном виде и передай мне. В обязательном порядке... Ну, а теперь Русаков.

— Я... я... потом, — с трудом выдавил Славик.

Он боялся расплакаться. Может быть, он и правда безответный и затюканный. Но зачем Мите понадобилось называть его безответным и затюканным при вожатой Тани? Вот теперь и она будет знать, что он безответный и затюканный. Разве можно присуждать барабан безответному и затюканному? Конечно, нельзя... Да и какой смысл рассказывать второй раз одну и ту же историю?

После каждого выступления вожатая вызывала Славика, но он упрямо уступал свою очередь.

Наконец, последний претендент рассказал историю про мавку. И Славик услышал голос Тани: «Что же наш Огурчик? Сдался без боя?»

Насмешливое сочувствие вожатой доконало его. Он вышел на сцену и, изо всех сил стараясь придать голосу ехидность, проговорил:

— Нет, не сдаюсь без боя!

Во рту у него пересохло. Надо было что-то говорить, а он не знал, что. Он громко сглотнул и начал:

— Во-первых, ты, Митя, сказал, что кондукторские бригады запирали на замок. А не так. Дверь наполовину стеклянная и запирается на чепуховую задвижку. Я ходил, смотрел. Ее толкни — она отвалится. Семку посади, он и то вылезет. А караульщик не вылез, потому что был трус. Казаки увидели, что караульщик — трус. Выпустили телеграфиста, загнали его в чулан, а он и рад стараться. И ничего удивительного. Потому что белые тогда воевали под лозунгом «Беги, а то я побегу».

— А ты где читал такой лозунг? — ядовито спросился Семка.

— Я вас не перебивал, — напомнил Славик с ледяной вежливостью. — Приезжает Барановский, открывает кутузку, а там вместо арестанта караульщик. Барановский кричит: «Ты чего тут сидишь? Это — свинство с твоей стороны выпускать арестантов!..» Караульщик оправдывается, обещает, что никогда больше этого не повторится. А Барановский как ахнет его плеткой со всего размаху, и нарочно прямо по глазу. Комендант, называется. Дурак какой-то!.. Глаз выскочил и упал на пол.

— Откуда тебе это известно? — прервала его Таня. — Из каких источников?

— А мне вы не верите? — В эту минуту он ненавидел вожатую так же страстно, как прежде любил. — У других не проверяли, кто им рассказывал, а у меня обязательно...

— Не лезь в бутылку! — осадила его Таня. — Может быть, ты слышал эту историю от кого-нибудь из гостей?

— Ему, наверно, Барановский рассказывал! — проговорил Семка. — Или этот кривой караульщик.

Славик вздрогнул.

— Ну да... пробормотал он. — Конечно... он и есть.

— Кто он? — спросила Таня.

— Кривой Самсон! Голубятник. Даю голову на отсечение. Он!

— Какой Самсон? Ты что, объелся?

— Нет, это вы, наверно, объелись! Неужели не понимаете? Караульщик, которого в каталажку заперли. Кривой Самсон и есть караульщик. У него же глаза нету!

— Прекрати молоть чепуху! — Таня нахмурилась. — Мы знаем Самсона не первый день. И прекрати называть его кривым. У него есть фамилия. Тумаков.

— Никакой он не Тумаков! — кричал Славик. — Он головы голубям отрывает. Правда, Митька? Он Зорьку загнал!

— Ты отдаешь отчет своим словам, Слава? — строго спросила Таня, поднимаясь с места.

— Отдаю! Конечно, отдаю! Не верите, Таранкова спросите.

— Какого еще Таранкова?

— Обыкновенного товарища Таранкова. Он ревизор. Покажите ему Самсона, он его сразу признает. Он плохой... Он очень плохой! Помнишь, Митька, как он головы голубям отрывал?

Зал шумел. Вспомнили, что Самсон живет затворником, чужих к себе не пускает и не участвует в общественной работе. Кто-то вспомнил, как Тумаков хвастал, что его допрашивал дутовский холуй Барановский, что он будто молчал, как рыба, а взбешенный комендант выбил ему глаз нагайкой.

В конце концов все запуталось, и присуждение барабана отложили до следующего сбора.

А на следующем сборе Таня вызвала Славика к столу, повесила ему на шею барабан, сунула в каждую руку по палочке и, первый раз назвав его по фамилии, сказала:

— Самым значительным и весомым жюри признало сообщение Вячеслава Русакова. Весомость его сообщения заключается в том, что он направил прожектор исторического события на наши дни и осветил чуждого элемента. И вы, ребята, должны брать пример с Вячеслава Русакова, везде и всюду проявлять бдительность, разоблачать курящих по чуланам, всегда уметь связывать прошлое с настоящим и излагать прошлое так, чтобы оно было на пользу будущему.

Что было потом, Славик помнил, как в тумане.

Он помнил, что стоял посреди зала, на шее его висел барабан, а пионеры пели в его честь «Взвейтесь кострами, синие ночи», и девчонки подлизывались к нему, и Митька рассказывал направо и налево, что живет со Славиком в одной квартире, что у Славика абсолютный слух и что его учит учительница музыки.

24

В тот же день, когда Славик хвастал дома о своей победе и мама ликовала: «Хо-хо! Нашему пацану пальцы в рот не клади!» — отец вдруг бросил салфетку, рассердился, не доел второе и ушел в кабинет. А мама весь вечер стояла на кухне заплаканная и гордая.

Во дворе быстро сообразили, что теперь за Самсона возьмется фининспектор: хозяйство его разорят, голубей разгонят и Зорьку придется забыть навсегда.

— Эх ты, царица грез! — попрекнул Коська Славика и плюнул ему в ноги.

Славик понял, что натворил, и вызвался срочно слезть за бумагой.

План снисходительно приняли. Но железные ворота клуба и на этот раз оказались на запоре.

Митька вспомнил, что во двор можно пробраться через сцену. Они вошли в клуб, но и тут им не повезло. В зале происходила чистка советских служащих.

После «Грозы» еще ничего не представляли, и комиссия заседала на фоне Волги.

Председателем была седая, стриженная под мальчишку старуха. Она придерживалась равноправия и курила папиросы через янтарный мундштук.

Рядом с ней Славик увидел Таранкова, а за ним маленького дяденьку со значком «Долой неграмотность». Дяденька со значком прилепился у края, а личико у него было такое важное, будто он сидел на самой середине.

По правую руку от старухи играл карандашиком лохматый заведующий школой, которого боялись не только ученики, но и учительница Кура, а рядом с ним сидел Павел Захарович Поляков.

Когда в комиссии участвовал Павел Захарович, в клуб набивалось много народа. У Павла Захаровича была способность двумя-тремя неожиданными вопросами срывать маску с врагов, со всего этого разношерстного сброда, который притаился в учреждениях и конторах, мелко злобствовал, спекулировал, злорадствовал над нашими промахами, распускал грязные слухи и анекдотики.

Если бы Славик зашел в клуб на день раньше, он бы увидел, как ловко вытащил Павел Захарович на свет божий одного из дутовских палачей, того самого «пузатого», который мучил маму Клешни. Этот матерый белая сидел в самом темном углу райсобеса, в черных канцелярских нарукавниках, и, притаившись, дожидался падения Советской власти...

А сейчас на самом краю сцены, у круглого столика с бомбошками, стоял одутловатый старикашка, и Павел Захарович добродушно пенял ему:

— А ты не лукавь. Придерживайся пятой заповеди.

— А я не лукавлю! — воскликнул старичок. — В пятой заповеди про лукавство не сказано, молодой человек! В пятой заповеди про родителей сказано!

— Ну вот, — продолжал Павел Захарович. — А говоришь, неверующий. Заповеди по номерам помнишь — значит, верующий. Небось, и крестик носишь?

— И ношу! — взвизгнул старичок. — И верующий! И па-атрудитесь не тыкать, милостивый государь! Я с вами гусей не пас!

Старичок сбежал со сцены, распахнул дверь, что-бы сильнее хлопнула, и умчался на улицу.

— Барон, рыдая, вышел! — отметил Коська.

В зале засмеялись. Хитрый старикашка никак не хотел признаться, что служил консисторским чиновником, и притворялся беднячком «от сохи». А слова «милостивый государь!» его выдали. Впрочем, посоветовавшись, комиссия простила ему мелкое лукавство, и чувствующий свою власть и силу зал весело поддержал это решение.

В те годы чистки у нас были веселые и справедливые — не в пример полоумным судилищам, которые учиняет в наши дни богдыхан алеющего востока...

— Кто у нас там еще? — Заведующий школой взглянул на часы.

— Инженер Затуловский! — объявила председательша. — Помощник начальника службы пути.

— Давай, инженер Затуловский, исповедуйся.

Славик удивился: Константин Орестович вышел в длинной рубашке, перехваченной тонкой подпояской. Такой рубахи он никогда не носил. Такую рубаху носил Лев Толстой.

Под мышкой Затуловский держал папку, завязан-

ную с трех сторон белыми, как на новых подштанниках, тесемками.

Затуловский остановился у круглого столика и принялся излагать биографию.

Его почти не слушали. Таранков скорбно смотрел на свой кулак. Заведующий откровенно читал в «Смехаче» приключения Евлампия Надькина. Только человек при значке изображал слушающего и несколько раз открывал папку, на которой рога-тыми буквами было напечатано смешное слово: «Дело».

— У вас тут написано, — прервал заведующий, как раз когда Затуловский собирался сообщить, что к Первому мая удостоен премии за беззаветный труд, — у вас тут написано, что, будучи студентом в тысяча девятьсот пятом году, вы принимали участие в волнениях. Так?

Затуловский кивнул.

— В каких же это, позвольте спросить, волнениях?

— В волнениях? — переспросил Затуловский. — Я хотел сказать, в революционном движении... Вот у меня тут...

Он кинулся к папке.

— Не надо, — остановил его заведующий. — И так, вы принимали участие в революционном движении. В чем конкретно выражалось ваше участие?

— Мое? Я, как и вся прогрессивная Россия, боролся с царизмом и с камарильей.

— С какой камарильей?

Затуловский все еще держался за белые тесемки. Горемыкин тогда был, — проговорил он. — Горемыкин. Плевако... Нет, простите, Плеве... Или Плевако...

— Плеве, — укоризненно подсказали из зала.

— Да, да, Плеве. И еще Трепов.

Заведующий выжидательно листал «Смехач».

— Граф Фредерикс, — добавил Затуловский уныло.

— И как же вы со всеми с ними боролись?

— Мы? Вышли на улицы. Шли вперед и прорывали полицейские кордоны...

— Как же вы прорывали кордоны?

— Кордоны? Били городских. Бросались камнями.

— И вы бросались?

— И я, конечно.

— Где же вы взяли камни?

— Где? Ну на земле. На дороге. Бывают же на дороге камни.

— Это что же? Булыжники?

— Ну да, булыжники... Из мостовой.

— Как же вы их выковыривали? Ломом?

Инженер Затуловский молчал.

— Ну чего ты к нему придираешься? — пробасил Таранков. — Может, там штабель лежал для ремонта. Или кирпич. Мало чего... — и спросил Затуловского: — Выпиваешь?

— Нет, — ответил инженер быстро.

— А если нет, то почему? — не удержался Коська. Старуха постучала карандашом.

— Так, — продолжал Таранков. — Значит, зеленому змию не подвержен?

— Ну, не то чтобы принципиально, — поправился инженер. — Печень, понимаете ли...

— Нехорошо.

Затуловский уставился на него озадаченно.

— Сам посуды: праздник трудящихся. Красный Октябрь. Кругом ликование. А ты чай пьешь. А? Нехорошо.

— Ну, в особых случаях, конечно. — Затуловский оживился. — Чарку зубровочки... Абрау-Дюрсо.

Он игриво хихикнул, понадеявшись, что засмеется и Таранков. Но Таранков спросил внезапно:

— У Русакова гулял?

Инженер торопливо ответил «нет» и поперхнулся. Комиссия выжидательно молчала.

— А в заречной роще? — подсказал Таранков.

— Ах да!.. В заречной роще... Праздновали день ангела... то есть рождения... Слегка...

Славик услышал тихий стон и оглянулся.

Неподалеку стояла Соня. Глаза ее лихорадочно горели. Позабыв, что ее не слышно, она подсказывала отцу. Она была как в горячке и шептала что-то непрерывное, словно молитву. Славик испугался. Ее папа как-то рассказывал, как носил красное знамя и бросал камни в городских, и Славик знал, что это правда. Почему ему не верят?

— А ты не можешь разъяснить, Затуловский, что это за живые картины? — спросила старуха.

— Ну это так... — Затуловский совсем смешался. — Выпили... шутили... Вспоминали исторические факты... Становились в позы.

— В какие позы? — любопытствовал Таранков.

— Я уж не помню.

— Ну вот. А говорил, не пью. Печень! Неужели так назююкался, что не помнишь, как сошествие святого духа представлял?

— Это не я! Это Лия Акимовна! Стояла на коленях... А святой дух был... — Затуловский смешался. — Святым духом был Павел Захарович Поляков. — Павел Захарович надул, и лицо его стало синеть. Чем больше он сердился, тем больше синел почему-то.

— Святой дух был не я... — сказал Затуловский. — Я с Лией Акимовной изображал Нерона и тень его убитой матери. Я был Нерон.

— Кто? — удивился Таранков.

— Нерон. Римский император.

— Разувался? — спросил Таранков.

— Разувался, — признался Затуловский сокрушенно.

— В скатерть заворачивался?

— Заворачивался.

— По-немецки декламировал?

— По-латыни. Из Вергилия.

— А кто написал Эрфуртскую программу? — выскокил с вопросом человек при значке.

— Оставьте, Шуриков! — Заведующий школой безгласно перелистывал «Дело». — Какая уж там программа!.. Вы, гражданин Затуловский, пишете, что в семнадцатом году выехали из Петрограда. Разрешите узнать, по какой причине?

— Врачи обнаружили у меня ожожек. Посоветовали выехать на кумыс. Совсем, понимаете ли, супругу запугали. Вот у меня врачебное заключение. — Он снова стал тереть тесемки.

— Не врачи вас запугали, а рабоче-крестьянская революция, — перешел на вы Таранков. — От революции бежали, батенька мой!

— Белая армия, черный барон, — добавил со свойственным ему остроумием Коська.

Таракан не мог долго находиться в одном помещении с родителем и решил уходить. Славик и Митька вышли за ним. Только любопытный Коська остался в зале.

— Как думаешь, Таракан, Нерона вычистят? — спросил Митя.

— А сам не петришь? — Таракан поджал губы. — Императора представлял.

— Да еще разувался! — добавил Митя.

Не успели они дойти до угла, как раздавался истощенный крик Коськи:

— Огурец! Чеши быстрей! Твоего пахана чистят! Славик вернулся. У круглого столика стоял папа.

Славик с изумлением узнал, что папа родился в 1890 году, еще в прошлом веке. Родился он, как оказалось, в деревне Тверской губернии. Было их пятеро братьев. Отец их, дедушка Славика, заставлял сыновей работать хуже батраков, наравне со скотиной. Наживал богатство. Двое надорвались — померли. Остальные один за другим сбежали кто куда от отцовской каторги. Вот так дедушка! А дома, в семейном альбоме, зачем-то держат его карточку. Младший, Иван, был любимцем кроткой, покорной матушки. Но и он не мог переносить, как отец ласкает матушку рогачом, ушел пешком в Петербург. Брат, артельщик на железной дороге, приютил его, помог поступить в путевый институт императора Александра Первого. Жил тогда папа впроголодь, украдкой ловил в Летнем саду голубей, чтобы прокормиться, подрабатывал уроками. Еще не закончив института, женился, и Славик с изумлением услышал, что родители не позволяли маме выходить замуж за папу, и мама убежала с ним без благословения, и был большой скандал... Славик не имел понятия ни о мамином побеге, ни о том, что у мамы, кроме настоящей, была еще и девичья фамилия, какая-то дурацкая фамилия, вроде Кронштейн. Папа увез маму в экспедицию в Голодную степь, а в войну его забрали на фронт, и мама осталась одна на пороге Европы и Азии беременная и проклятая родителями. Хотя папа работал по осущению окопов и на погонах у него были буквы «ОЗУ» — что означало «Отдел земельных улучшений», — и хотя настоящие офицеры дразнили его «земгусаром», он попал в плен, а после революции явился в Москву на восстановление мостов, на Ташкентскую железную дорогу. Потом работал в должности начальника участка службы пути, получил повышение, и дальше ничего интересного не было.

Не успел Иван Васильевич закончить, Таранков спросил:

— А откуда взялось письмо в колонке?

— Не знаю, — ответил Иван Васильевич.

— Может, супруга спрятала?

— Да вы что!

— Она по-французскому знает?

— Немного.

— Ну вот.

— Что вот?

— А то, что в письме французские слова.

И Таранков пристукнул кулаком по столу.

— А вы думаете, она бы не сожгла на свечке такой опасный документ? — попробовал возразить заведующий школой. — Дамы в таких делах очень осторожны.

К Ивану Васильевичу комиссия относилась добродушно, несмотря на то, что он был инженер.

— Как это тебя, Иван Васильевич, угораздило на баронессе жениться? — спросила председательша, затаившись папиросой.

— А я не знал, что она баронесса.

— Это — другое дело. Знал бы, конечно, не женился?

— Нет. Все равно бы женился.

— Вон ты какой разбойник!

— А гости не могли подсунуть? — спросил Таранков.

— Чего подсунуть? — не понял Иван Васильевич.

— Письмо. В колонку.

— Какие гости? Да что вы в самом деле!..

— А ты вспомни. Вы все праздники справляете. И Первый май и пасху. Кто да кто к тебе ходит?

— Многие ходят... Не понимаю, что вы хотите? Чтобы я гостям давал анкету заполнять? При чем тут эта бумажка и... и гости?

— Ты, Иван Васильевич, с высшим образованием, а будто с луны свалился,— попрекнула председательша.— Что надо, чтобы тебя скинуть? В первую очередь подмочить репутацию. Вот я беру это письмо, подбрасываю в колонку и жду, когда будет чистка.

— Осторожней надо выбирать приятелей, Иван Васильевич,— добавил заведующий.

Чем больше Славик слушал, тем сильнее ныла его душа. Если бы он вовремя сжег эту несчастную бумажку, отца давно бы отпустили. Виноват, конечно, и Митька, но ведь не Митька, а Славик вытаскивал письмо из подвала на свет божий, не Митька, а Славик позабыл его уничтожить.

Славик тихонько спросил, что будет, если он выйдет и скажет, откуда взялось письмо. Митька ахнул и выволок его на крыльцо. И там они оба, вдвоем с Коськой, принялись стыдить Славика и запугивать, что его посадят в исправдом за ограбление со взломом.

— Ну и пускай,— возражал Славик.— Пускай меня посадят. Не вас же посадят, а меня! Чего вы боитесь?

Коська сплюнул. Члены комиссии не обязаны верить Славiku. Они подумают, что он наврал про подвал, чтобы выручить отца. Кто поверит, что Славик в подвал лазил? А поверят, будет еще хуже: окна в подвале забьют наглухо и до бумаги вовсе не доберешься.

Коське вообще было непонятно, зачем выгораживать Ивана Васильевича. Разве это отец: ездит на извозчиках, шагает в ресторанах котлеты, кидает червонцы направо и налево, и лиловый негр ему подает пальто? А единственному сыну штаны не может справиться, заставляет бегать в трусиках и зимой и летом. И мать по национальности баронесса. Чем жить с такими родителями, лучше удавиться. Давно пора его вычистить из советского аппарата к чертовой матери — и пламенный привет!

— Ну что вы! — несмело оправдывался Славик.— Мама, я согласен, в какой-то мере плохая. А папа хороший. Он ферму хочет перевозить. Он хороший.

Ребята снова пошли в зал. Ивана Васильевича все еще держали на сцене.

— А откуда вы знаете, что ваша супруга не получила письма? — рассуждал заведующий.— Письмо относится к восемнадцатому году. Вы в то время были в Москве. Она жила здесь одна.

— Знаю,— прервал его Иван Васильевич раздраженно.— Все эти соображения изложены в заявлении Скавронова. Читал.

— И чего ты не поделил со Скавроновым? — вздохнула председательша.— Согласно его заявлению, не поймешь, куда тебя и зачислять, в белогвардейцы или в троцкисты.

— Куда желаете. Только не в одну графу со Скавроновым.

— Вон ты как от него нос воротить! — укорила председательша.

— Ему со мной скучно будет. Я в дурака играть разучился.

Человечек при значке встрепенул и задал вопрос:

— А в каком году произошла Парижская коммуна?

— Погоди, Шуриков... Спесив ты, Иван Васильевич. А бумага сурьезная. От нее не отмахнешься.

Иван Васильевич промолчал.

— Вы до конца понимаете, в чем вас обвиняют? — спросил заведующий.— По сути дела, Скавронов

утверждает, что ваша супруга выдавала белым властям коммунистов.

— Моя супруга не станет выдавать ни красных белым, ни белых красным. Она высчитала, что скоро наступит конец света.

— Вы бы объяснились со Скавроновым. А то, сами понимаете, знак молчания — знак согласия.

— Не буду я объясняться.

— Спесив, спесив! — покачала головой председательша.

— Нет, Митя, это не по-пионерски,— зашептал Славик.— Я пойду и сознаюсь. Слышал, что они про маму говорят.

— Стой, где стоишь,— велел Митька.— Ничего ей не будет.

— Нет, я так не могу... Это все из-за меня... Я пойду, Митя.

— А по соплям не хочешь?

Славик не успел принять решения.

— Чего молчишь? — заговорил Павел Захарович и, опираясь на обе руки, поднял со стула свое крупное тело.— Можно мне?

— Давай. По-быстрому,— разрешила председательша.

— Тут за быстротой гнаться не надо. Тут живой человек — надо разобраться. Во-первых, каюся, святого духа представлял я. Даю обещание, что этого больше не повторится. Был выпивши. Сорвался. Это касательно Затуловского. Теперь касательно Русакова, Ивана Васильевича. В одна тысяча девятьсот двенадцатом году прибыл Иван Васильевич в нашу богоспасаемую Новосергиевку. Обстановка такая: сигналы не горят, поезда идут вслепую. Стрелочники разбежались. Машинисты соскакивают перекинуть стрелку. Начальник участка остался от старого режима, прямо скажу, не начальник, а архиерей. Как забрался с ногами на письменный стол, так и не слезил оттуда всю зиму. Крыс опасался.

— Дальше, дальше, Павел Захарович! — торопил заведующий.

— Справили мы с Иваном Васильевичем мандаты, получили под расписку двадцать тысяч, поехали, я — за кровельным железом, он — за стеклом. Я попал к бандитам под шомпола, добыл сто ящиков стекла. Только воротились, является Скавронов. Штаны с леями. Маузер на боку. Государственный контролер! Пронюхал про стекло и давай выпрашивать. Наш архиерей перепугался, пишет, выдать два ящика. А Иван Васильевич хоть и числится помощником, а не дает. Накинулся на Скавронова: «Как у тебя язык поворачивается казенное добро выпрашивать?» Ты, говорит, государственный контролер или кто? Коммунист ты или кто?.. Тот за кобуру. А в это самое время, как снег на голову, комиссар дороги. И пришлось рабу божьему Скавронову скидать штаны с леями. А вы его в гости зазываете! Да я бы с ним рядом не сел!

— Гражданин Русаков,— спросил Таранков внешне.— Вы не знаете, откуда взялось письмо?

— Погоди-ка,— перебила председательша.— Ты что же, Иван Васильевич, такие факты утаиваешь? Скавронова боишься?

— Я его не боялся, когда на нем пистолет висел. А теперь тем более.

— Как же прикажешь понимать твоё молчание?

— Сами посудите: на днях повезем ферму. Скавронов мне нужен, как воздух. Во всем колесном цехе такого рессорщика не найдешь. Мастер. Вот ферму перевезем, я его, если желаете, на дуэль вызову. А сейчас не могу.

— Итак, Скавронов на вас черт те что пишет, а

вы к нему претензий не имеете? — полюбопытствовал заведующий.

— Никаких. Законная обида на спецов у него еще с царского режима. А в работе мужик золотой. И, кроме того, у него есть основания меня не жаловать.

— Какие же это основания?

— Могу покаяться. Вскоре, как его вышибли с контролеров, повидал я случайно, как он живет. Окна выбиты, заткнуты чем попало, тряпьем каким-то. Жена в жару без памяти, ребятишки по полу ползают. Забор стопили, за табуретки принялись, а в углах лед и снег. Жена его померла от воспаления легких.

— Ну вот, — сказала председательша. — Знал бы, отпустил бы, небось, стеклышка.

— Нет. И знал бы — не отпустил.

— Да ты что? Душа у тебя есть?

— Много вы от него хотите, — сказал Таранков. — Откуда у него душа, когда он учился у Александра Первого. И жена — принцесса.

— Баронесса, — поправил заведующий.

— Ну, баронесса. По-французскому знает. А вы требуете не знаете чего.

— Да как вы не понимаете! Стрелочница на перезде мерзнет с грудным ребенком, ей не давать. А Скавронovu давать? За что? За то, что он штаны с леями носит? В первую голову надо остеклить служебные помещения и наладить транспорт, чтобы погнать по рельсам стекло. Тогда и на Скавронova и на всех хватит. Вы так считаете: образованный, инженер, не знал горюшка — значит, контра рабочему человеку. Вражда между нами коренится в том, что царь оставил нам невежество и неграмотность. В нас, в культурных, нужда. Поэтому мы зарабатываем больше и едим слаще. От моего разговора со Скавронovым эта вражда не затухнет. Она затухнет, когда увеличится число образованных людей, когда весь народ станет грамотным. А к этому идет... Об этом верха думают.

— Вон ты у нас какой соловей! — сказала председательша. — Надо тебя шире вовлекать в общественную работу.

— На общественную работу у меня времени не хватает. Я на рабфаке преподаю.

— Говорят, вы там американских капиталистов больно хвалите, — сказал Таранков. — Какой у них там самый главный миллионер?.. Генрих какой-то...

— Генри Форд.

— Во-во. Генри Форд. Вы агитировали, что этот Форд шесть легковых автомобилей в сутки собирает?

— Не в сутки, а в минуту.

— Вон как! В минуту! Во-первых, если даже и в минуту, то не сам собирает, а с пролетария семь шкур дерет. А во-вторых, этого не может быть... Говорят, вы из этого Генри Форда цитаты зачитывали. Кто он такой, чтобы из него цитаты читать?

— Тут ты немного загнул, Таранков, — перебила его председательша. — Ничего страшного нет. Нашей молодежи выпала счастливая доля обновлять Россию. А без научной организации труда Азию в Европу не превратишь. И у Форда можно кое-чему научиться. Гнушаться нечего.

— От этих разбойников научись на собак брехать, — не сдавался Таранков.

— Давайте ближе к делу! — Председательша постучала карандашом. — Мы тут не Форда чистим... И потом в корне неверно переносить все пороки класса на отдельную личность. По-твоему, если он капиталист, так и умного слова сказать не может? А почему же тогда моего племянца к Форду на за-

вод послали? Вот и я, старуха, полюбопытствовала. Взяла книжку Форда «Моя жизнь, мои достижения». Поглядеть, что за гусь... Любопытная книжка. Могу одолжить.

— Мы по-французскому, слава богу, не разбираемся, — похвастал Таранков.

— Она на русском вышла. Не бойся, не заразишься.

— Нас никакая книжка не проймет. Мы народ устойчивый. А вот молодняк — другое дело. Наслушаются про легковые автомобили, натянут фильдеросовые чулки — да на бульвар. А потом эссенцией травятся. Ковальчук Ольга у вас учится?

— У меня. Способная ученица. С натуральными логарифмами только не справляется, — объяснил Иван Васильевич, и Славик с невыразимым удивлением увидел, что его строгий папа багрово покраснел.

— Вы с ней индивидуальные занятия проводили?

— Проводил. — Папа покраснел еще гуще.

— Небось и про автомобили вкручивал?

Папа молчал.

— Ну вот, — подождав немного, произнес Таранков. — А в итоге больница. Вот тебе и мои достижения!

— Какая больница? — вздрогнул папа.

— А вы не знали? Уксусной эссенции вчера хлебнула ваша рабфаковка.

— Зачем? — спросил папа.

Зал засмеялся.

— А затем, что дура, — отрезала председательша. — Я считаю, пока факт не выяснен, мы не имеем права обсуждать его в связи с инженером Русаковым. — Она наклонилась к человеку со значком. — Надо нам в мастерских комсомольскую организацию поглядеть. Что у них там за активисты. Не читают ли Есенина?

Папа потянулся к графину. Председательша помогла ему, сполоснула стакан и налила до краев. Папа закинул голову и выпил двумя глотками. В зале шушукались.

— А соседи не могли подбросить? — спросил Таранков внезапно.

— Что подбросить? — Краска схлынула у папы с лица, и он стоял белый, как мел.

— Письмо.

— Могли и вы подбросить, — металлическим и как будто даже блестящим голосом отчеканил папа. — Вы тоже сосед.

— Давайте серьезней. Здесь не пикник! — напомнил заведующий.

Кроме Таранкова, который испытывал ко всем без исключения ревизорское недоверие, комиссия отослалась к Русакову снисходительно и ставить его под сомнение не собиралась даже и в том случае, если бы обнаружилось, что он не знает, когда была Парижская коммуна. То, что отношения Ивана Васильевича с Ольгой Ковальчук зашли несколько дальше упражнений с натуральными логарифмами, было известно довольно широко.

Но как только у Ивана Васильевича задрожали руки и стало ясно, что он любит Ольгу Ковальчук без всякой новой морали, а на самый обыкновенный, старорежимный манер, и заведующий школой и человек со значком насторожились и стали шептать седой председателю в оба уха, что если инженер попал под влияние рабфаковки, не понимающей натуральных логарифмов, значит, он не вполне принципиальный и устойчивый. И к обрывку письма, найденному в колонке ванной, придется отнести с сугубым вниманием. Прав товарищ Таранков. Придется отнести с сугубым вниманием.

Низко над головой Славика на белом, выгнутом потолке трепетал солнечный зайчик. Сперва Славик подумал, что залетел на своей кровати под самые небеса, но скоро догадался, что лежит на верхней полке и над ним выгибается потолок вагона с жалюзи и лампионом. Нижняя половина окна была задернута шелковой шторкой, а через верхнюю половину виднелась пустая желтая степь и ястреб, как будто приколотый для красоты к скучному, желтому небу.

Поезд стоял. Вагон качало ветром.

Внизу разговаривали.

— Вы бы сами, Иван Васильевич, послушали, как он распинался,— говорил чужой голос.— Отцы, говорит, не добились, мы, говорит, добьем. И тебе, говорит, ноги повыдергиваем. Это мне, значит, ноги он повыдергивает!

— Все равно,— сказал папа металлическим голосом.— Это не оправдание — затевать драку. Ты комсомолец, должен быть образцом.

— Он на меня подковой замахивается, а я буду образцом стоять? — воскликнул папин собеседник, и Славик узнал голос Герасима.— Он мне пуговицу оборвал! Пуговицу оборвал да еще подковой замахивался. На кого замахивается, дурила! На мой загревок по два куля клали... Таких Мотрошиловых я троих в один узел увяжу.

— Придется Павла Захаровича попросить, пусть разыскивает. Мы тебя сюда не драться взяли.

Папа немного помолчал. Потом спросил:

— Где Павел Захарович?

— Поехал на разъезд с начальством ругаться. Все равно часа три стоять. Кривую рихтуют.

— На паровозе?

— На паровозе.

— Напрасно поехал.

— Как же, Иван Васильевич! То вы начальник перевозки фермы, то он начальник перевозки. Некрасиво.

Окончательно проснувшись, Славик вспомнил, что папа взял его с собой на перевозку фермы и что он едет в служебном вагоне, в так называемом вспомогательном поезде, и вслед за вспомогательным поездом особый паровоз, «овечка», везет ферму.

Мама ни в коем случае не пустила бы Славика на вспомогательный поезд. Но в последние дни на нее напала страшная головная боль, и упрямая ее было просто. Перед отъездом она позвала Славика к себе в темную спальню, велела самому собрать в дорогу самое необходимое, опасаться скорпионов, поцеловала в лоб и прошептала: «Несчастный ребенок!»

Из самого необходимого Славик взял в дорогу барабан.

Поздно ночью его уложили на верхнюю полку. Он дал слово не пропустить момент погрузки фермы на тележку и тут же заснул. И вот, проснувшись, он услышал странную новость: папа почему-то уже не начальник перевозки, а помощник, а начальником перевозки сделался Павел Захарович.

— Как принесли депешу, что отца вместо вас ставят, Мотрошилов с лица сменился,— сказал Герасим.

— Вот как! Не думал, что он за меня.

— Тут, Иван Васильевич, другое. Мы пришли к выводу, что этот Мотрошилов большого козла вам подложить собирался.

— Какого же, если не секрет?

— Конечно, вы будете смеяться, но мы считаем за факт. Он собирался ферму под откос завалить.

— Тебе бы, Герасим, романы писать!

— Не смейтесь, Иван Васильевич. Вы человек сугубо гражданский, а Павел Захарович два года партизанил и работал в ЧК. Как думаете, зачем Мотрошилов подкову везет? Нет, нет, не смейтесь, к чему у него в кармане подкова? Партизаны в гражданку знаете, как поезда с рельсов сбивали? Не знаете? То-то и есть, что не знаете. Прилаживали на головку рельса подкову, и паровоз набок.

— Сказки! — сказал папа устало. — Сказки, Герасим, сказки.

— А почему он зубами захрустел, когда вас с начальников сняли? Ферма завалилась — начальнику крышка. И вдруг вы не начальник; и подкова ни к чему.

— Вот видишь. Нет худа без добра.

— Вы, Иван Васильевич, его опасайтесь. У нас там у каждого по ходу дела, у кого лом, у кого выдержки. Конечно, не мое дело вас учить, а Мотрошилова лучше бы усадить. Без него уладимся. Дрезина в город пойдет, с ней и усадить бы.

— Роман уверял, что отобрал лучших из лучших,— возразил папа.— У нас нет оснований ему не верить. А зачем посылают дрезину?

— Скавровов ключи какие-то позабыл.

— Вот растяпы!

— Ничего не сделаешь. Неприятность там у них. Деваха из инструменталки отравилась. Запутались без нее. Шведики позабыли.

— А не говорят, отчего отравилась? — спросил папа быстро.

— Я думаю, от любви. У них это быстро.

— Что ты думаешь, меня не интересует! Что говорят люди?

— Разное болтают. Мотрошилов из-за нее рехнулся. Лазил, говорят, в больницу. В окно. Милицию вызывали.

— Что он сказал? Как она?

— Разве к нему подступишься? Она расписалась с ним, а потом выпила эссенцию. Испортила медовый месяц... Ничего. Бабы долго не хворают. Оживет.

— Оживет,— подтвердил Славик.— Алина с соседнего двора три раза травилась, а ходит.

— Ты не спишь? — спросил папа.

— Нет.

— Вставай. Проспишь царство небесное. Пойди прогуляйся.

Славик попросил папу застегнуть лифчик, оделся, нацепил на шею барабан и вышел в тамбур. Далеко расстилалась ровная, как будто глаженная утюгом степь. Справа поднимались невысокие желтые отроги Уральских гор. По отрогу сползала отара овец, плотная, как булыжная мостовая. Последняя ступенька вагона висела высоко над землей. Славик, закусив губку, прыгнул, и песок набрался в его сандалики.

Очутившись в степи, он первым делом проверил, нет ли где-нибудь скорпиона. От укуса скорпиона человек синет, раздувается — словом, становится такой, как Павел Захарович, и умирает в страшных судорогах. Поблизости скорпионов не было. Славик забарабанил и зашагал в степь.

Кругом сухо свистело и стрекотало, будто всю степь перепиливали лобзиками. Славик посмотрел на пустое, белесое небо, и ему показалось, что он когда-то ходил здесь, хотя этого никак не могло быть: лето и зиму он безвыездно жил в городе и только один раз в жизни ездил на папину родину,

в Тверскую губернию. Да и там пробыл недолго. Мама прожила в деревне вместо двух месяцев всего несколько дней: там не было уборной.

Наконец он догадался, что летал сюда во сне на кровати. Именно здесь бродили динозавры со змеиными шеями, и здесь он спасал Таню.

Все было так же, как тогда. Не хватало только Тани да клубящихся, первобытных туч. Славик забарабанил и подумал: тучи ладно, а хорошо бы, если бы появилась Таня.

И только он это подумал, его окликнул милый, сипловатый голос:

— Огурчик!

Он обернулся и увидел ее.

Она стояла одна на самой середине степи, и велосипед нахально облокачивался на нее. И юнгштурмовка была с засученными рукавами. И волосы свисали по бокам, как буденовка.

Это было до того волшебю, что Славик улыбнулся.

— Вот так встреча! — засмеялась Таня. — Ты куда направился?

Он взял себя в руки и свысока ответил:

— Куда надо, туда и направился.

— Куда же тебе надо? — спросила Таня и застегнула пуговицу у него на штанах. — Как ты здесь очутился?

— Мы ферму перевозим. Не видите, что ли?

Ветерок наддувал ей на глаза волосы, и она смотрела, как через сетку.

— А вы чего тут? — спросил Славик грубо.

— Я к вашему начальству ездила. Лопатку просить.

— Зачем вам лопатка?

— Да не мне. Яше.

— А где он?

— Он вот где, — ответила Таня, прижимая руку к груди. — Он всегда здесь, Огурчик.

И счастливо засмеялась.

Славик не догадался, в чем дело. Он решил, что Яшина карточка лежит в кармане юнгштурмовки, и спросил снова:

— Нет, сам он где? Правдашний.

— Правдашний Яша раскапывает могилу. Уже второй день. У него сломалась лопата, и он просит найти новую. Едва выпросила. Жадюги у вас, так и скажи своему папе. Лопатки им жалко. Хочешь к Яше?

— А далеко?

— Версты три. Поедем.

Славик вцепился в горячий сверкающий руль и, совсем как во сне, поплыл в глубину степи в Таниных полуобъятиях.

Его несло все дальше и дальше, длинные Танины волосы нежно щекотали его виски, твердое Танино колено ритмично трогало его ногу, горячий запах юнгштурмовки кружил ему голову.

— Хорошо? — тихо спросила Таня.

— Подумаешь! — сказал он презрительно.

А история случилась такая. Несколько дней назад, бродя по базару, Яша увидел девчонку-казашку. Девчонка продавала каймак. Как беркут, набросился на нее Яша. Произошел скандал. Откуда ни возьмись, сбежались родственники девчонки: братья, отец, мать. Когда шум поутих, Яше удалось объяснить, в чем дело. В монисте торговли была монетка с именем великого каана Менгу — величайшая редкость времен монголо-татарского ига. После долгих переговоров, вскриков и взвизгиваний было установлено, что монетка найдена у норки суслика, верстах в тридцати от города.

Яшу охватило состояние, похожее на горячку. Он

не сомневался, что в том месте, где суслик копал свои ходы и вытолкнул вместе с грунтом монетку, был похоронен князек-завоеватель, какой-нибудь нойон или нукер. Такие погребения обнаруживались чрезвычайно редко. В отличие от половцев-кипчаков монголо-татары не насыпали над покойниками курганов. Они хоронили свою знать секретно и над свежей могилой гоняли табуны, чтобы потревоженное место стало неотличимым от вековой степи. У тогдашних сатрапов хватало ума скрывать о себе память.

Яша забыл про письмо Барановского, для разгадки которого поднял на ноги массу народа, и добился от казахов обещания вместе искать сусличью норку.

Когда Таня и Славик подъехали, Яша закопался уже так глубоко, что его не было видно. Только сырые грудки земли подпрыгивали над степью. Дожидаюсь Таню, Яша копал сломанной саперкой. Он лоснился от пота, и веки его были красные, как у голубя.

Лопате, которую привезла Таня, Яша очень обрадовался. Это была настоящая, добротная, хорошо заостренная штыковая лопата.

Работы оставалось много. Как только обнаружатся кости, придется осторожно углубляться вокруг покойника. А когда скелет окажется как бы на столе, придется со всей возможной деликатностью очищать его от земного праха и уж, конечно, не лопатой, а щеточками и метелками, а может быть, и кисточками, чтобы не упустить ни одной самой малюсенькой бусинки. Может оказаться, что один покойник лежит на другом. Во времена ига был обычай класть под умершего властителя живого раба. Раб задыхался, закапывали обоих. То было удивительное время: живые позволяли угнетать себя даже трупам.

— Вы не знаете, что Чингисхан считал главным наслаждением человека? — выкрикивал Яша из ямы. — Этот фаршированный психопат считал главным наслаждением ограбить врага до нитки, видеть дорогих ему людей в слезах, ездить на его лошадях, целовать его дочерей и жен!.. — Он бросил копать и утер пот. — Если вдуматься, жалкая программа. Высшее удовольствие Чингисхана — унижать. А унижать можно только высокое... Чингисхан как бы признает превосходство врага и моральное и всяческое иное...

— Как же они словчились нас завоевать? — спросила Таня.

— Надо в музей ходить! — кричал Яша. — В том и состоит парадокс рабства, что рабы от сотворения мира сами помогали угнетать себя. Рабы плели нагайки, которыми их стегали, рабы ковали цепи и кандалы, в которые их заковывали, рабы делали мечи и ятаганы, которыми сами же отрубали друг другу головы, рабы стерегли друг друга, чтобы не убежали, и рабы ловили беглых рабов...

— Лучше умереть, чем плести для себя плетку, — сказал Славик.

— Это не так просто, мальчик! Человек всегда найдет уловку, чтобы выжить. На Руси такой уловкой был боженька. Боженька призывал к страданию и смирению. Ведь если страдание — добродетель, умирать разве можно?

— Религия — опиум для народа, это бесспорно, — сказала Таня. — Но все же вера облегчала им жизнь.

— Вера никогда не облегчает человеческую жизнь! — закричал Яша. — Глупости! Вера облегчает не всякое существование! Вера облегчает только рабское существование! Рабство и слепая вера всегда гуляют под ручку! Надо ходить в музей!

— Значит, по-твоему, я не должна ни во что верить?

— Конечно! Ты должна мыслить, даже если ты не какая-нибудь Спиноза и даже не Карл Маркс. Раб не обязательно тот, кого приковывали к галерам. Рабом становится тот, кто конфузится мыслить.

— Загибаешь, Яшка! Веры бывают разные. Ты в коммунизм веришь?

— Коммунизм — это человеческое достоинство, самостоятельность мысли. Товарищ Глеб писал перед смертью: «Не хочу быть двуличным». Это что значит? Это значит, не могу быть рабом, не могу терять человеческого достоинства! Сколько понадобилось столетий, сколько духовной работы народа, чтобы после монголо-татарского забвения выросли такие Глебы и не один, а тысячи и миллионы, чтобы они поняли, что они люди, и сознательно поднялись на революцию...

— Царя свергал пролетариат Питера, — дразнила его Таня. — А у нас тут как были куроеды, так и остались. Как при татарах.

— Ты просто неосознательная дура! — кричал Яша. — Тебе кругом мерещатся куроеды! Почему ты не видишь, как у нас до некоторой степени колоссально выросли люди? Спроси в очереди: «Кто последний?» Что тебе скажут? Тебе ничего не скажут — на тебя обидятся. У нас нет последних! Может, отдельные единицы вроде тебя...

Таня спрыгнула в яму и обняла Яшу.

Велосипед упал.

— Ах, отстань, отлепись, пожалуйста! — сердился Яша.

— Ты меня любишь?

— Да. Только отлепись!

Таня обнимала его крепко, но он все-таки умудрялся копать.

— А любишь, поцелуй, — приставала она. — Я же тебе лопату достала!

— Как все-таки не совестно! — Яша показал глазами на Славика.

— Он ничего не понимает, — засмеялась Таня. — Огурчик, вы проходили про тычинки-пестики?

— Нет, — произнес Славик печально.

— Ну вот, видишь. Целуй, не отравишься.

— Чего ты меня схватила? Я не убежу!

У Славика закружилась голова.

— До свидания, — с трудом выговорил он. Но Таня его не услышала.

Он пошел к железной дороге и попробовал барабанить, но ничего не получилось. Палочка наткнулась на палочку.

Две рабочие теплушки, служебный вагончик, две платформы со шпалами, лебедками и рельсами стояли без паровоза, как потерянные. За коротким вспомогательным поездом к огромной мостовой ферме был подцеплен несчастный, крошечный паровозик с откидной крышкой на трубе.

Славик шел и шел. Из-под ног у него стреляли кузнечики, а вагончики оставались такими же крошечными, словно он передвигал ноги на одном месте.

Славик дал себе слово не оглядываться, но все-таки оглянулся. Велосипедное колесо крутилось, взблескивая спицами. Над степью подпрыгивали грудки земли. «Все-таки безобразия! — подумал Славик. — Если ее назначили вожатой, она не имеет права целоваться».

Железная дорога внезапно оказалась совсем близко, будто ее пододвинули.

Под служебным вагоном спасался от солнца парень в коротких брезентовых штанах. Славик попробовал его подсадить.

Парень странно, по-птичьему щебетнул горлом и спросил:

— А ты здешний?

Он поднял Славика на высокую ступеньку и полез вслед за ним. Они прошли коридор, спальню купе и оказались в салоне с зеркальными окнами. Тяжелые стулья с железнодорожными гербами окружали принарядный к полу полированный стол. Кожаный роскошный диван занимал всю поперечную стену, украшенную медными крючками и кнопками. В торце была дверь на балкон.

— Вот это да! — бормотал парень, заглядывая в купе. — Вот это ездят! — И при этом щебетал горлом. — А это зачем?

— Это пепельница, — объяснил Славик.

— Вот это да! Пепельница! — удивлялся он, как маленький. — Едут, значит, на диванах и покуривают?

Парень был коренаст и курнос. Его серые, как полынь, волосы были подстрижены ножницами. Ворот косоворотки отваливался углом, как у лихого гармониста.

— А это зачем? — спрашивал он каждую минуту.

Он был совсем молодой, симпатичный и простодушным любопытством походил на Коську.

— Это графин. Воду пить, — объяснил Славик.

Парень налил стакан и выпил.

— А это зачем?

— Это выключатель. Для нормального света и для синего. — Славик подумал и спросил: — Как вы думаете, прилично целоваться при посторонних?

Парень так и застыл с рукой, протянутой к выключателю.

— Ты кто такой? — спросил парень.

— Я Славик.

— Какой такой Славик?

— Обыкновенный Славик. Такой, как все.

— Фамилия?

— Русаков.

— Ага! Вон ты кто! — Парень щебетнул. — Так и знал... Целовать ему надо, товарищи! На людях ему надо... Русаковское семя. Сразу видать. У тебя билет есть?

— Мне не надо билета. Это папин вагон.

— А почему это получается, что ты в мягком вагоне едешь, а я в твердом?

Славик промолчал. Он давно свикся с тем, что, будучи сыном инженера Русакова, совершил какую-то пакость, а после Таниного вероломства ему вообще было все безразлично.

— Значит, это папин вагон? — приставал парень. — За какие такие заслуги ему назначили вагон с диваном?

— Он перевозит ферму. Ему и дали. А вы лучше уходите. А то он придет и вас выгонит.

— Меня? Да ты знаешь, кто я такой! Я главный контролер курьерских путей первого класса! — продекламировал он. — Вот кто я такой! Я по вагонам зайцев ловлю. Кто без билета. У меня закон короткий, товарищи! Билета нет — отрезаю ухо. Видал, по базару пацаны без ушей бегают?

— Видал, — сказал Славик, чтобы не спорить.

— Ну вот. Всех я словил. У меня дома ихние уши, как грибы на нитке, сушатся. А ну, подойди.

Славик подошел.

— Предъяви провизионку.

— У меня нету.

— Ага, нету! — Парень достал из кармана перочинный нож, дунул, вытянул лезвие и поточил о колесо. — Скинь барабан! Стань передо мной, как лист перед травой!

Славик понимал, что парень шутит, но ему было обидно, что его считают за дурачка; на душе его

было тошно. Он вспомнил маму, вспомнил свою погибшую любовь и заплакал.

— Ну будет, будет, — испугался парень. — Ладно тебе реветь... Другой раз будешь без билета ездить? Это что у тебя, барабан? Дай-ка.

Парень нацепил тесемку на шею. Барабан оказался у него под самым подбородком. Он попробовал стучать палочками.

В коридоре послышались точные шаги, и в салон вошел папа.

— Это что такое? — спросил он, нахмурившись. — Мотрошилов! Почему не на работе?

Парень растерялся.

— Ну? — ждал папа.

— Имею нужду переговорить с вами, товарищ начальник, — тихо и даже почтительно начал Мотрошилов. — Переговорить чинно-благородно, безо всякого шума по обоюдному вопросу. Прошу не побрезговать и переговорить. — Он щебетнул горлом. — Поскольку я давно по причине невозможности...

Папа не дослушал и пошел умываться.

— Честно-благородно по обоюдному вопросу... — торопливо повторил Мотрошилов. — Ты что морду воротить! — закричал он, срывая барабан. — Недорезали вас, белогвардейцев! Ну, погоди!

Отец вернулся с полотенцем и сказал безучастно:

— Пошел вон отсюда.

— Ты надо мной не командуй! — Мотрошилов угрожающе замотал пальцем. — Ты кто такой, чтобы надо мной командовать! С начальников тебя скинули? Обломали рога? Так что извиняемся, Теперь ты ноль без палочки. Вот ты кто! — Он вроде бы опомнился, положил барабан на стол и снова перешел на почтительный, по-видимому, давно продуманный тон:

— Я, товарищ начальник, человек против вас, конечно, неученый. Что у нее раньше было, я во внимание не беру, прощаю, а с вами требуется переговорить честно-благородно и окончательно.

— Сейчас не время, — сказал папа. — Надвинем ферму, тогда пожалуйста.

— А живую красу губить было время?! — снова взвился Мотрошилов. — Было место? Такую девку суродовал! Думаешь, в мягком вагоне от меня уедешь? Не-ет! Никуда ты от меня не уедешь, господин хороший! Так у нас не получится!

— Ты был у нее? — тихо спросил папа.

— А то не был! Лежит на коечке, как смерть, все равно. — Голос его задрожал, и круглое, ребячье лицо изобразило страдание. — Кабы вас не было, мы бы давно бы...

— Как она... Как... ее самочувствие?

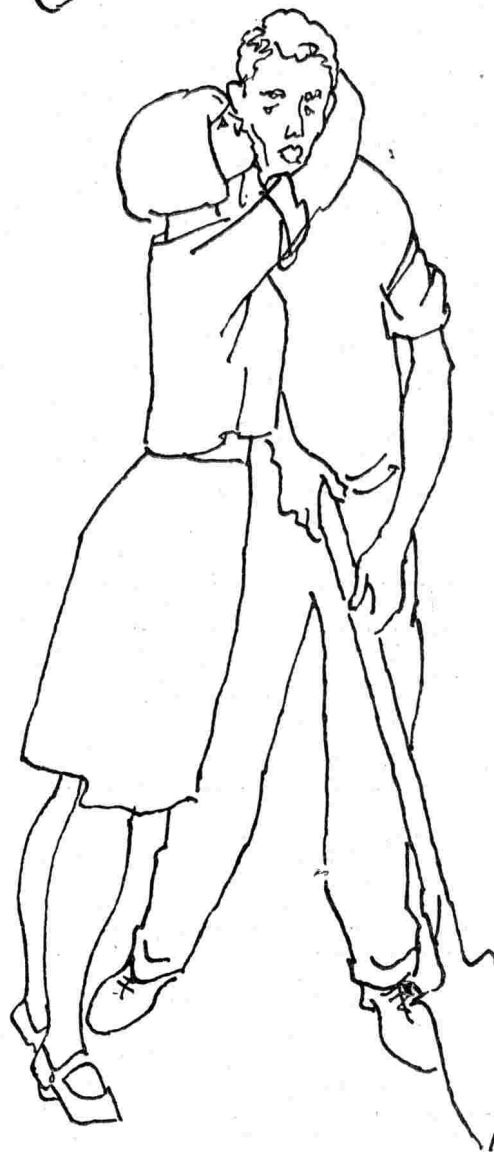
— Самочувствие тебе надо! — Мотрошилов внимательно посмотрел на папу. — Ты что, опять ее дожидаешься? Нет уж! Поигрался, хватит! Не видать тебе больше!.. Кабы не ты, она бы со мной бы спервоначалу... — Он щебетнул горлом. — И как вас, ядовитых гадов, земля носит! Как стукну по кумполу! — Он схватил графин за горлышко, замахнулся.

— Разобьешь мне голову, она тебя и полюбит, — сказал папа печально. Он без усилия вынул из руки Мотрошилова графин, поставил на место и повторил: — Что с ней? Как она?

— А-а! Вон чего ему надо! — Мотрошилов обрадовался. — Успокоиться ему надо, товарищи! Совесть его грызет!

— Грызет, — признался папа. — Совсем извелся.

— Ага! Извелся?! А если я тебе ничего не скажу, чего ты мне сделаешь? Ничего ты мне не сделаешь! Она моя законная супруга. Имею я полное право не говорить? Имею. Уйду, и не узнаешь ты ничего...



— Скажи только одно: легче ей?
— А ничего не скажу! Мое дело. Может, в «Ам-пир» поведем, а может, на погост потащим. А ты покрутись покедова.

По вагону ударило. Радостно заиграли буфера. К составу прицепляли паровоз.

— Кстати,— вспомнил папа.— Где у тебя подкова? Мотрошилов щебетнул.

— Неужели ты действительно ферму хотел под откос пустить? Поразительно. Ведь ты рабочий человек. При чем тут ферма? Я тебе дорогу заслонил, меня и бей. А фермы не касайся.

Мотрошилов поглядел на него с удивлением.

— Да вы что? Да разве я до этого допущу?.. Эту подкову я с собой... вроде бы на счастье... Для Олечки...

Он замолчал.

В вагон, сопя, забирался Павел Захарович.

— Будьте добры, подождите меня у вагона,— сказал папа Мотрошилову.— Я через минуту к вам выйду.

Мотрошилов пошел.

— Ты с ним осторожней,— заметил Павел Захарович.

— Я и так осторожно.— Папа усмехнулся.— Чего же ты меня не предупредил, Захарыч? Паровоз угнал, как при военном коммунизме. Начальство застал?

— Застал. Все были на проводе, все мозги им простучал, и все без толку.

— Начальство морзянкой не проймешь.

— Подложил же ты мне хавронью, Иван Васильевич. Во какую! Рабочих совестно! Задумка твоя, а тут, пожалуйста, самозванец. Рабочий класс знает, чья задумка.

— Пустяки, Захарыч! Зато у тебя теперь звание роскошное: «Начальник перевозки фермы». Сокращенно «начперфер».

— А ты не хорохорься! — Павел Захарович стал синеть. Когда его раздражали, он синел, как индюк.— Я бы на твоём месте остановил работы и отбыл в управление. Ставь вопрос ребром: в чем дело?

— Не до этого мне, Захарыч.

Павел Захарович поглядел на него, как на больного, покачал головой.

— Толковый ты мужик, Иван Васильевич, а есть в тебе червоточина. Заразили тебя в императорском институте гонором и барским чистоплутством. Никакой выгоды от этой заразы не будет ни тебе, ни детям твоим, помянешь меня потом.

Папа молча глядел в окно. Павел Захарович подошел, крепко шлепнул его по плечу.

— Давай уговоримся,— сказал он.— Командуй по-прежнему, а я твоя передаточная инстанция. Сыграю, как сумею начальника, а на досуге разберемся.

— Как хочешь...

Папа вышел.

Павел Захарович и Славик видели в окно, как папа и Мотрошилов пошли в степь, но не в ту сторону, где рабочие рихтовали кривую, а в другую.

— Куда это они пылят? — спросил Павел Захарович.

— Не знаю,— ответил Славик.— Кажется, драться.

— Драться?!

— А вы не бойтесь. Папа его побьет.— И, увидев, что лицо Павла Захаровича стало синеть, Славик заговорил быстрее: — Папа, знаете, какой сильный! Передвигал буфет. Мама говорит, надорвешься, сейчас я позову Нюру. А пока ходила за Нюрой, папа сам передвинул. Даже все ахнули!

Как только Славик вернулся с перевозки фермы, Таня вручила ему пионерский галстук и объявила, что его включили в сводный взвод барабанщиков, который пойдет впереди колонны пионеров на демонстрации седьмого ноября.

Она велела хранить галстук в чистоте и порядке, научила правильно завязывать узел и объяснила то, что Славик давно знал: что короткий конец символизирует пионерскую организацию, другой конец — комсомол, третий — РКП, а узел — связь между поколениями.

Славик слушал вожатую с холодным презрением. Она явно подлизывалась. Он еще не давал торжественного обещания и формально не имел права носить галстук.

Между ними все было кончено.

Впрочем, к Славику быстро вернулось хорошее настроение. Что бы там ни было, а он становится настоящим пионером, таким же, как все.

И вот Славик первый раз после приезда лез на крышу показать ребятам алый галстук и рассказать, что его включили в сводный взвод барабанщиков и что ему чуть-чуть не отрезали ухо.

Пожарная лестница гремела сверху донизу. Голубятники ее совсем расшатали. Ребята были все в сборе: и Митя, и Коська, и Таракан. Но рассказывать Славику не пришлось. Пока он ездил с папой надвигать ферму, во дворе произошли важные события.

Первое событие было такое: Таракана осенила мысль превратить царский двугривенный в ходовую монету.

Он побегал на базар и быстро приметил подслеповатую бабку, как раз то, что было надо. Бабка торговала семечками. Таракан важно вручил двугривенный, подставил карман и велел сыпать на копейку. Все шло, как по нотам. Придерживая губами денежку, старуха полезла за сдачей, извлекла из-под чулка носовичок, развязала его и принялась копаться в медяках. Подожди Таракан минутой раньше, и он вернулся бы во двор победителем — с полновесными девятнадцатью копейками и с карманом, полным семечек. Но судьба подстроила так: пока бабка считала сдачу, проходил пожарник со щукой. Бабка мигом сторговалась за гривенник и подала серебряную монету. Пожарник углядел царского орла, поднял шум. Собрались зрители.

Таракан, как и всегда в таких случаях, не растерялся. Сперва он пытался убедить бабку, что по новому декрету царские деньги снова пустили в ход, потом, когда поднабрался народ, стал кричать, что николаевскую денюгу она сама только что вытащила из чулка. Старуха причитала, зеваки посмеивались. Пожарник требовал обратно рыбу, Таракан — сдачу.

В самый разгар спора сильная пятерня вцепилась Таракану в рубаху. Он оглянулся и увидел Кулибина. «Ты что? — промолвил Кулибин.— Обратно честной народ оманывать? А ну, пойдём-ка». «Полегше,— сказал Таракан с достоинством.— У меня на шее чирый». «Ничего, я тебе сведу чирый»,— сказал Кулибин-сын. «Мне сдачу надо получить». «Пойдем, пойдём, я тебе отпущу сдачу». Кулибин привел Таракана к лавке и стал отмыкать замок. Таракан не очень беспокоился. У охраняющих его неведомых сил была тяжелая задачка. Любопытно, как они выкрутятся. Кулибин толкнул его в темную лавку и спросил: «Ты зачем, гнида, вместо бумаги сургуч продаешь?» Таракану стало жутко и весело. «А ты зачем детиш-

кам царские деньги сбываешь?» — спросил Таракан. Кулибин схватил пригоршню сургучных печатей и стал запихивать Таракану куда попало: в карманы, в штаны, за шиворот, в рот. «Вот тебе сдача, мазурик! — сладострастно приговаривал он. — Вот тебе сдача, сукин сын!» Таракан понял, что на этот раз его покровители отступились. Он крутанулся волчком, нащупал верное «перышко», и острое лезвие напоролось на толстый кулак мясника. «Караул! — взвыл Кулибин. — Режут!» Тяжелым ударом он сбил мальчишку с ног и стал лупцевать его в темноте куда попало кулаками, локтями, ногами, а сам орал на всякий случай: «Караул! Убивают!»

Очнувшись Таракан не скоро. Он лежал в крошечной темноте, в чем-то мокром; над ним светились неровные ниточки. Постепенно он догадался, что светлые ниточки — щели между досками и что он лежит в лаге, куда мясники выбрасывают всякую дрянь: гнилые кишки, кости, копыта. Таракан стал вспоминать, что произошло, и размышлять о странностях жизни. Его тело гудело, как телеграфный столб. Сил не было. Сперва он решил здесь переночевать. Но мухи не давали покоя. К тому же он обнаружил, что верное «перышко» исчезло. Эта потеря огорчила его, и он решил отомстить мяснику сейчас же: или прикончить его самого, или поджечь лавку. Он с трудом поднял крышку лага и выбрался, выплевывая изо рта кровь и сургучные крошки. Пройдя шагов двадцать, он упал.

И если бы не Алина с соседнего двора, его история на этом бы и кончилась...

Отцу Таракан не сказал ничего. Соседи советовали вызвать врача. «Не врача надо вызывать, — сказал Таранков, — а участкового». Врач все-таки пришел, прописал цинковую мазь, велел лежать две недели и мерить температуру. Таракан вылезал два дня, а на третий полез на крышу. Там его и застал Славик.

Таракан сидел у трубы, чугунный от синяков, и губы у него были, как жареные.

Возле него, кверху бледными лапками, лежал мертвый турман.

Это было другое большое несчастье. Главный голубь, супруг Зорьки, подох.

Несколько дней он ничего не ел и не пил, сидел, нечесаный и лохматый, похожий на еловую шишку, и, хотя Коська развлекал его, как умел, пел ему: «Ох, Мотя, подлец буду...» — сидел нахохлившись и грел нос под крылом. А сегодня утром ребята застали его мертвым.

Потеря голубя потрясла Славика больше, чем история Таракана.

— Не рыдай, родная, успокойся! — утешал его Коська. — Мы тут другое начинание затеяли. Об голубе тужить нечего! Обожди, понаставим домиков не хуже Самсона, на сотню турманов.

— За бумагой я не полезу, — предупредил Славик. — У меня нет больше настроения лазить за бумагой.

— Нам не надо бумаги. У нас другое начинание. Лампочки, — с трудом шевеля разбитыми губами, выговорил Таракан.

— Понятно тебе, лампочки! — подхватил Коська. — На седьмое ноября затеют гулянку, лампочки повешают. Иллюминацию затеют — веселись весь народ! Дождь, когда лягут спать, и пойдем с корзинами... Пускай каждый по сотне лампочек вывинтит, это сколько будет денег, умноженное на четыре?

— Да вы что! — сказал Славик. — Я не пойду.

— А если нет, то почему?

— Все, — выговорил Таракан.

— Нет, я серьезно не пойду. Во-первых, люди бу-

дут праздновать революцию, а мы почему-то будем вывинчивать лампочки. Это — просто свинство с нашей стороны. Я не пойду. И Митя, я думаю, забыл, что он юный пионер.

— Все, — снова через силу процедил Таракан.

— Все пойдем, понятно тебе? — Коська с удовольствием выполнял должность толмача. — Днем тебе никто не запрещает: пионер, стучи на барабанах, и будь готов, а ночью будь такой любезный, не забывай, что ты в шайке голубятников, и явись по команде с корзинкой. Чем крепче нервы, тем ближе цель.

— Митя, неужели ты согласился? — спросил Славик. — Это же — свинство!

— Да нет, — протянул Митя нехотя. — Я вывинчивать не подражался. Я носить только.

— Как же тебе не стыдно! Ведь ты так здорово объяснил Семке про Глеба, а сам... Лампочки ведь повешат в память Октябрьской революции, значит, и в память Глеба... Красную звездочку повешат, а ты с нее лампочки вывинтишь, чтобы она потухла? Ты что, забыл, что ли, заветы?

— Что ты ко мне прилепился! — крикнул Митя. — Никуда я не пойду с ними!.. Я не знал, что звездочка!.. Я не подражался со звездочки вывинчивать! И сам не стану и Таракану не дам!

Лицо Таракана стало костяным. Он с трудом поднялся и, хромая, направился к Славiku. Упрямое железо гремело от его шагов то возле Мити, то возле Коськи. Славик стоял у самого края. С высоты четырех этажей были хорошо видны пригнанные, как кукурузные зернышки, камни мостовой. Проехала белая крыша автобуса. Таракан осторожно, боком, опускался по крутому скату.

— Ладно вам, ладно, — забормотал Коська. — Ты, Огурец, народ не сбивай. А то по сопатке. Я по-прежнему такой же нежный.

Таракан приблизился к Славiku и уставился на него холодными золочеными глазами.

— Пойдешь? — проговорил он неповоротливыми губами.

— Тебя, Огурец, спрашивают. Пойдешь или нет? — подхватил Коська, хотя нужды в переводе не было.

— Да пойми же ты, Таракан! — очень убедительно заговорил Славик. — Ты человек вдумчивый. Лампочки повешат не так просто, а в честь революции, на память о людях, которые погибли за революцию, за всех нас и в том числе за твое счастье. Вот был Глеб — Митя знает, — молодой большевик. Его застрелили в тюрьме, и у него осталась супруга Маня. И на память об этом Глебе повешат лампочки. Как же ты можешь их вывинчивать? Что ты!

Таракан не слушал. Он удивленно осматривал красивыми глазами пацаненка, который осмелился ему возражать.

— Если тебе понадобились деньги, лучше я еще раз в подвал полезу, — говорил Славик. — А лампочки вывинчивать — это же воровство. Это некрасиво!

— Некрасиво? — спросил Таракан и схватил Славика за галстук у самого подбородка, так что Славiku пришлось задрать голову.

— Пусти, — сказал Славик, белея.

Он многое сносил от приятелей ради дружбы, ради подобия дружбы. Но то, что Таракан схватился шершавой, в цыпках рукой за новенький, подаренный Таней и поглаженный мамой пионерский галстук, схватился грязной рукой за святыню, которая превращает его в человека, как все, этого его маленькая душа вынести не могла.

— Пусти галстук, — сказал он металлическим, папиным голосом.

— А пойдешь?

— Пусти галстук.

— А если с крыши скину?

Фраза была слишком длинной. Из губы Таракана пошла кровь.

— Пусти сейчас же! — сказал Славик. — Или... или я не знаю, что с тобой сделаю.

— Два... Три... — отсчитывал Таракан, подталкивая его к водосточному желобу.

И тут произошло то, о чем впоследствии говорили не только свои ребята, но и пацаны с соседнего двора и с улицы и о чем сам Славик вспоминал с замиранием сердца. Все поплыло перед его глазами. Удивительный, сверкающий мир, в котором раздают барабаны, жгут у реки костры, загоняют голубей, катаются на велосипедах, летают на кроватках под небеса, играют на фортушке, щурятся на солнце, жуют серку, — весь этот многоцветный, заманивающий мир терял цену, если в нем совершаются такие невыносимости. Сладкая злоба захлестнула Славика. Крепко, до судороги, схватил он владыку двора за вихры, схватил обеими руками с такой силой, что пальцами услышал, как трещали корни волос, и повис на нем всей своей тяжестью. Он понимал, что жить ему оставалось считанные секунды, и торопился насладиться этими последними секундами возможно полней.

— Ты плохой! — кричал он пронзительно и дико. — Тебя боятся, ты и воображаешь! А по правде ты плохой! Очень плохой и даже отвратительный!

По расчетам Славика, они должны были давно уже лететь кверху тормашками. Но произошло другое; Таракан стал пятиться от края крыши к слуховому окну, к голубятне. Славик сперва ничего не понял, а когда понял, от изумления разжал руки. Несколько шагов Таракан осторожно пятился все так же, пригнувшись; ему казалось, что его еще тянут за волосы. Со стороны это казалось смешным; во всяком случае, зеленый от ужаса Коська издал звук, похожий на хихиканье.

Наконец Таракан встряхнулся, оглядел Славика всего сверху вниз и снизу вверх по контуру.

— Чего? — криво усмехнулся он. — Перепугался?

А ну, чеши отсюда!

Коська и Митя торчали — один у голубятни, другой у трубы — как замороженные.

Славик перешел на другой скат и, только теперь начиная пугаться, стал слезать по гремячей пожарной лестнице.

27

За базаром зеленел монастырский садик, а за монастырской оградой простирался пустырь. На пустыре в шестнадцать ноль-ноль был назначен первый сбор сводного взвода барабанщиков.

Славик пришел на репетицию на час раньше. Яркое светило солнце. Пустырь поблескивал битым стеклом.

Постепенно стали собираться ребята из других отрядов, все с такими же красными барабанами, как у Славика, все в таких же белых рубашках и в красных галстуках. Потом пришла Таня, и двадцать три пионера стали учиться барабанить в такт.

Вряд ли когда-нибудь в жизни Славик испытывал такое блаженство, как в эту первую репетицию, когда его поставили в середину третьего ряда, и он стоял со своим барабаном в строю, совершенно такой же, как другие маленькие барабанщики, справа и слева, спереди и сзади от него, и всем существом

своим ощущал себя необходимой и полноправной частью стройного, красивого целого.

Впрочем, блаженство продолжалось недолго. На пустыре поднялся ветер с пылью. Ребята стали чумазые, и Таня отпустила всех по домам.

Дома Славик сидел на кухне и рассказывал прислуге Нюре, что на седьмое ноября взвод пионеров-барабанщиков пройдет через весь город впереди знаменосцев, что в первых трех рядах — по шесть человек, а в четвертом — пять, и что Славик идет в середине третьего ряда, и что репетиция начинается точно в шестнадцать ноль-ноль. А когда пришла Клаша, Славик рассказал и ей, что пройдет с барабаном через весь город, что репетиции начинаются в шестнадцать ноль-ноль и что его надо искать в середине, в третьем ряду. Женщины удивлялись, как бежит время, и обещали выйти посмотреть.

На второй репетиции ветра не было. Ребята барабанили лучше. Поиграли немного, — пришел гражданский в красных галифе. Он велел ребятам построиться в одну шеренгу, достал из большого, как портфель, накладного кармана список и стал выкликать фамилии.

Дойдя до Славика, он отозвал Таню, долго спорил с ней наедине. Она не соглашалась и мотала головой. Гражданский спрятал список в огромный карман и ушел сердитой походкой, а Таня распустила всех по домам.

На третьей репетиции она кричала на Славика, что он тянет ногу.

Славик старался шагать, как все, и ему казалось, что у него получается. Таня вывела его из строя и заставила маршировать одного. Он шагал и барабанил, а пионеры стояли в одну шеренгу и смотрели на него. Потом его снова поставили в строй, и Таня снова стала кричать, что он тянет ногу. Что это значит, Славик не понимал. Он старался шагать так же, как передний. Но Таня опять вывела его из строя и велела отдохнуть. Он стоял на пустыре, глядя с тоскливой завистью, как ребята вышагивали мимо него то в одну сторону, то в другую, оглушительно барабанили и не тянули ногу. На месте Славика в третьем ряду шагал пухлый, головастый, довольно противный мальчишка из четвертого ряда.

Так прошло пять минут, десять. Таня словно забыла о Славике. Он догнал ее и пообещал, что больше не будет тянуть ногу. Она поставила его сзади всех. Он очень старался, шагал под команду и стучал палочками совершенно так, как другие. Но Таня оставила взвод и вывела его снова.

— Ничего у нас с тобой, Русаков, не получится, — сказала она, первый раз называя его по фамилии. — Иди домой, а мы решим, кому передать барабан.

Она была расстроена и сердилась.

— Как же домой? — лепетал Славик. — За что? Все барабанят, а я домой! За что? Я больше не буду!..

— Кру-гом! — скомандовала ему Таня.

Ей стало неловко от такой команды, и она повторила мягче:

— Кругом, Огурчик, кругом! Тебе русским языком сказано: тянешь ногу.

Она отвернулась, как будто его уже не было, и хлопнула в ладоши:

— Подравнялись, ребятки! Вспомнили, где левая сторона! Налево шагом марш!

Раздался оглушительный грохот.

— Товарищ вожатая! — кричал Славик. — Мама говорила, что у меня абсолютный слух! — Он, спотыкаясь, бежал вслед за ней со своим барабаном. — За что? Меня Нюра выйдет смотреть! Я больше не буду!..

Гремели двадцать два барабана.
Славику лучше было идти домой, но он дожидался конца репетиции. А когда репетиция кончилась, у Тани явилась идея сделать барабанщиком Семку. Она отобрала у Славика барабан и палочки и, стараясь не смотреть на него, сказала:

— Не теряйся, Огурчик. Я тоже не верю, что письмо написано твоей маме! Скоро Оля выйдет из больницы, и мы восстановим истину.

Потом все ушли, как-то сразу, и ребята из других отрядов ушли, и Таня с барабаном под мышкой, и, когда никого уже не было, Славику некоторое время мерещилось, что он слышит барабанную дробь. А когда он понял, что барабан у него отобрали навсегда и что ничем этого не поправишь, такая без-

надежность навалилась на него, что он не смог даже заплакать...

Впрочем, все это случилось давно, когда не было ни телевизоров, ни растворимого кофе, ни Магнитогорска, ни пенициллина, ни пластинок Утесова, ни ветвистой пшеницы, ни Турксиба, ни духов «Жди меня!», ни принципа неопределенностей Гейзенберга, ни генералов, ни мороженого эскимо. Оля давным-давно поправилась, дозналась через Олимпиаду, что злополучное письмо было адресовано сбежавшей в Харбин неверной жене Таранкова. Барабан Славику, конечно, вернули, и нынешний Славик, Вячеслав Иванович, если и вспоминает свои репетиции на пустыре, то не иначе, как с улыбкой умудренного жизнью человека.



Лев
Смирнов

Улица

Вдыхал я запах свежих булок,
По лужам бегал майским днем,
И для меня мой переулочек
Был самым первым букварем.
Я не за славою гонялся,
Чему свидетель — постовой.
Как на слогах, я спотыкался
На выбоинах мостовой.
Оборотив лицо к рассвету,
Я шел, светясь от неудач,
И нес в руках свою планету —
Огромный разноцветный мяч.
Под стать ручьям — певцам овражным —
Летели ветреные дни.
Вслед за корабликом бумажным
Спешили в прошлое они.
Я шел — и каждую травинку,
Которую дарил мне мир,
Воспринимал я как новинку
Из магазина «Детский мир».
Хоть черпал воду я галошей
И синяки носил всегда,
Эпитет «славный» и «хороший»
Мне доставался без труда.
Напыщенно, как пеликаны,
Ходили где-то подлецы...
Но рядом были великаны —
Наставники и мудрецы.
Они дарили мне игрушки,
За что — теперь узнать нельзя...
За то, что ушки на макушке,
За то, что синие глаза.
Они дарили мне советы,
Как с неба звезды доставать,

Как по морям водить корветы,
Как хлеб насущный добывать.
Прозренья билось в каждом слове,
И наступал итог простой,
И жизнь была в своей основе
Добрей, чем кажется порой.

Весна

Молчащее половодье, кричащее,
как напасть...
Сегодня с земли уходит
твоя надо мною
власть.

Отныне под облаками,
когда я брожу в толпе,
Не будут меня гудками
вокзалы тянуть
к себе.

И радость мешать с бедою
и мчаться сквозь
ночную мглу...

Не будут моей звездою
часы вон на том углу.

Отныне порою мгlistой
узнает меня с трудом
Твой старый, твой неказистый, твой
с детства знакомый
дом.

И тополь у нашей школы
не скажет
уж больше мне:

«Чего такой невеселый!
Постой со мной
в тишине!»

Отныне по той привычке, которой простыл
и след,

Не крикнут нам электрички,
не вспыхнет
зеленый свет.

Не будет по Подмосквовью
кружить нас
веселый свист,

И к нашему изголовью
не ляжет багряный лист.
Растаял тот снег, и вроде
растаяла та
напасть...

Сегодня с земли уходит
твоя надо мною
власть.



Григорий
Глазов

На Отто-Гротеволь- штрассе

I

Здесь бункер был.

Последний бункер тот,
в котором жил земной правитель ада.
А нынче — просто холм, трава растет.
И проникаешь только силой взгляда
под тяжкий свод, где отравил он пса
и сам издох.

И в час святой предтечи
всей синью ощутили небеса,
как остывали в Освенциме печи...
Здесь бункер был...

II

Кто я таков?

Сперва разверзлась тьма.
И я возник одной из малых толик
вселенной.

Не по прихоти ума,
а так, как возникает жизнь сама,
не зная: иудей я иль католик.

Да в том ли суть? Меня уже ждала
земля, к весне пресыщенная влагой,
и речка, что издревле здесь текла,
дремал в ней сом усатый под корягой.

Полей неутомительная даль
ждала меня. И лес дарил мне звуки.
И не остыв, вызванивала сталь.
И молоток отца просился в руки.
И женщина, что род продлить должна,
ждала меня, покорна и нежна.

Да, я возник.

Сперва размыт был мир,
не в фокусе, как чьи-то акварели.
Деревья перевернуто пестрели.
И не озвучен был его клавир.

Сперва мне дали имя: Человек.
И — Родину с березой в изголовье.
Но свет, что мне возжег двадцатый век,
уж не таясь, размешивали кровью.
И впрок мне заготовили беду,
придумали за что-то искупленье;
чтоб я сгорел в печи, а не в аду,
столбом вселенским высились поленья.

И, сидя у грядущего огня,
палач на щепки тлеющие дунул,
изрек, что если б не было меня,
то все равно бы

он меня придумал!

III

Но в пламени ином рождалась месть...
Берлин.
Зима.
И вот стою я здесь.
Поток машин.
Ждут перехода дети.
Я не придуман.

Я рожден.

Я есть!

Но труп его не тонет в мутной Лете...
Здесь бункер был...

Берлин.
1968 г.

☆

Пройденные прописи забыты.
Сверстники мои в боях убиты.
С каждым годом голова моя белей.
Забываю имена учителей.

Лица их порой во сне увижу.
Но тонка и кратка эта нить.
Тщатся разглядеть меня поближе,
чтоб с далеким мальчиком сравнить.

Всё их память чисто сохранила,
и отметку б выставить пора.
Только медлят.

Красные чернила
высохли на кончике пера.

☆

Я в сумерки покину дом,
когда корявой тенью вмята
нагая роща над прудом
в пустой багровый холст заката.

Чернеет пашня. И скользит
тропа, размытая дождями.
И сытый ворон мне грозит,
взмахнув ленивыми крылами.

Я встречный ветер отстраню
и деревьям шагну навстречу.
Здесь праздных слов не оброну
и мокрых веток не замечу.

Плотней и ниже темнота.
И тишины урочный шорох.
И отступает суета.
И неуют приюта дорог.

Пускай продрог я и промок
и ворон клич свой повторяет.
Но в горле тишины комок
меня с ненастьем примиряет.

И только б знать, что в этот час,
презрев отпущенные сроки,
в моем дому, что у дороги,
огонь в окошке не погас.



Мы так от прошлого зависим,
что прошибет порой слеза,
когда вдруг пачка старых писем
нам попадется на глаза.
Та женщина, что здесь гостила,
великодушна и чиста,
тебе все письма возвратила,
покинув здешние места.
Поры далекой одержимость!
Какие ты слова писал!
Они ценней, чем недвижимость.
Какой в них вложен капитал!
В них твой полет и страсть момента.
Ты в них пророк,

герой

и маг,

И только не было процентов
от этих высохших бумаг.
В них только давних чувств избыток.
И чистота ушедших дней.
И рядом с ними твой убыток
еще жесточе и видней...

□ □ □



**Петр
Верин**

В дни оккупации

Апельсиновая лампа...
Керосиновая птица...
Мама! — за оконной рамой
скачет смерти колесница.
В переулочную темень,
перекручивая кольца,
пал войны кровавый демон,
заслонив собою солнце.
Где мы! Календарь — калек,
понедельник пахнет кровью.
Скоро — середина века.
На дворе — средневековье.
Черен снег, и черен воздух,
и, как притча во языцех,
в небесах — по черным звездам
черный конь и колесница!
Прокатиться! Прокатиться
я хочу на колеснице!
Прокатиться... Прокатиться...
[Это шепот мой в бреду.]
Но в протянутой деснице
маминой — волшебной птицей,
керосиновой синицей
лампа — в угол темноту!
...Ангел смерти трепыхался,
надышавшись керосином.

Надо мной густел, качался
свет незрелым апельсином.
...Я пришел в себя настолько,
что запомнил в свете лампы
черную десницу рока,
белую десницу мамы...

Воспоминание о елке 1945 года

Назло Освенциму, осколкам,
назло войне
полуобугленная елка
в моем окне.

Она над нами возвышалась,
дробясь в разбитых зеркалах,
перемещалась, отражалась в будущих
моих стихах.

С обгорелыми веточками ее вывели
из какого-то
расстрелянного леса, эвакуировали
в тыл, в мое

новогоднее счастье.
Моя первая, цвета хаки, елочка!
Переломленные ветки перевязывали бинтом.
Забинтованная елка.
Забинтованные солдаты цвета елки за окном.
Ростом с меня, как она прямо стояла!

Как важно было
быть прямой, как было важно елке выстоять,
всей елочной своей судьбой
срастись с усталой страной
и, как страна, — в бинтах, — но выстоять!
Чем украсить тебя, мой зеленый найденыш,
обоженная беспризорная елка!
Чем, кроме звездочки, подаренной

квартировавшим
летчиком, тебя короновать!

Три раза постучал в окно почтальон
обмороженным пальцем.

Мама выскочила, не накинув платка,
и вернулась,

держа треугольную птицу письма.

Вечность не было писем, и вот наконец
треугольник!

Ростов/Дон, Рождественская, 35, Тихоновой Анне.

Зацелованное штемпелями полевой
почты и зацелованное

мамиными губами, ты прими его, моя
партизанская елочка,
это самое лучшее, чем можно прикрыть ожоги твои.

Как военные почтальоны,
забинтованы и зелены,
ты неси, неси полевую почту, ты стой,
да не клонись,

молча в верности клянись.

Военный снег... Рядовой мороз...

Елкам плакать — грех,

детям — не до слез...

Ф о р е л ь

Мельканье трамвая в московской метели
заставило вспомнить мельканье форели —
мы ссорились, губы просили воды,
запахли бедою все в мире цветы,
и вот уже вся не моя ты — ничья,
губами к серебряной флейте ручья
припала, надеясь найти утolenье,
и вдруг ты увидела: против течения
почти незаметна, как пульс на руке,

как след от слезы на любимой щеке,
как наше последнее примиренье —
форель пробивается против течения!

Такие же двое, как мы, две форели...
Я спал

и, мешая цвета акварели,
сквозь долгий ручей моего сновиденья —
мельканье форели, дрожанье, движенье...

Форель устремляется против потока.

...А в городе елки и кривотолки
о гриппе, о нашем с тобой поколеньи,
о ссорах семей, о сближеньи планет...
И только мельканье трамвая в метели
напомнит о серебристой форели.
Сугробное солнце...

Трамвайный билет...

□ □ □



**Александр
Сokolовский**

Метроном

«Один, стуча, трудился метроном...»

О. БЕРГГОЛЬЦ

На пианино — метроном.
Тик-так, тик-так, тик-так.
Стучит ритмично метроном,
стучит спокойно так.
Двухстопный ямб. Балладный слог.
Тик-так, тик-так, тик-так.
Дочь отработывает такт —
сольфеджио урок.

Тик-так... И уплывает прочь
квартира, пианино, дочь.
Тик-так... И наплывает тьма.
Блокадная зима.
Слепые черные дома.
Поземки кутерьма.
Сугробы на два этажа.
Луны мертвецкий лик.
Прожектор лезвием ножа
разрежет ночь на миг,
и снова тьма.

А горизонт
кровав и мечет гром.
И днем и ночью — метроном,
стучит зловеще метроном,
как похоронный звон.
Но грозны дула крейсеров,
вмонтированных в лед.
Но жгут стволы прожекторов

с крестами самолет.
Зенитки бьют, раскалены,
в мертвецкий лик луны.
Идут по палубе земли
ночные патрули.
И над безумством канонад,
над дымом и огнем —
и днем и ночью метроном,
стучит призывно метроном,
могучий, как набат.
И рвет блокаду Ленинград.
И отступает ночь.
И нарастает вал атак.
И пулемет — так-так, так-так...

Тик-так, тик-так, тик-так.
Квартира, пианино, дочь.
А метроном ритмично так,
спокойно так: тик-так, тик-так,
тик-так...

Точный прибор

Снова! Снова, снова — блокада.
Пока я помню, не глух, не слеп,
Мне обязательно высказать надо,
Как мы делили хлеб.
В окнах прыгал призрак багровый,
Трясся, словно в припадке, дом.
А мы сидели в курсантской столовой
По шесть человек за столом.
Зрачки, как дула ТТ, нацелены
На суп, наводящий одну тоску.
В двух тарелках — три вермишелины.
Но вдоволь перцу и кипятку.
А хлеб! В присутствии строгих дежурных
С аптекарской точностью, как порошки,
Его в хлеборезке делили ажурно
На персональные горе-куски.
Делили — даже не сыпались крошки.
Делили — с особенным блеском глаз.
И в этой нужной и нудной дележке
Было обидное что-то для нас.
Было что-то досадно-горькое.
И вот сказали ребята тогда:
Не надо порций нашей шестерке, —
Сразу на всех, как в былые года.
Мы сами хлеб нарезаем на ломтики.
И общая хлебница, точный прибор,
Судила: крепкие или ломкие —
Те, что вступили с блокадой в спор.
И — не убоившись высокой фразы —
Клянусь величием братских могил:
Никто, ни один из ребят, ни разу
Лишнюю крошку не подхватил...

Зимние строки

Замерз незамерзающий залив.
Мороз покрыл Гольфстрим асфальтом
белым,

окрестность крупной солью посолил
и наши окна сплошь замазал мелом.
Моряцкий люд в фуражках не форсит.
А посреди залива, словно студень,
застыл корабль на белоснежном блюде.
Над ним морозный занавес висит...
Гольфстрим буравит, плавит крошку
льда.

Глубок, могуч, он этих вод хозяин.
Залив подмерзнуть может иногда.
Но вообще-то он незамерзаем.



**Агния
Барто**

Он был совсем один

Один щенок
Был одинок,
Бродил он
Неприкаянно,
И, наконец,
Решил щенок:
Найду себе
Хозяина!

С утра собаки
Всех пород
С людьми
Выходят из ворот,
С людьми
Побывать мне хочется!
Зачем мне
Одиночество!
В каком-то
Дворике
Пустом
Один остался
С детства я...

И стал щенок
Мечтать о том,
Как будет он
Виллять хвостом,
Хозяина
Приветствуя.

И вот щенок
Пустился в путь,
Бежал он
За прохожими,
Но хоть спросил бы
Кто-нибудь:
Ты что
Такой встревоженный!

Нет, у людей
Свои дела:
Куда-то школьница
Прошла,
Прошли два длинных
Паренька...
Никто не смотрит
На щенка,

И грустный,
Озабоченный,
Бежит он
Вдоль обочины.

Малыш
В коляске
Катится!
Малыш
В пушистом
Платице,
Наверно, он
Возьмет
Щенка!
Нет, он улегся
Спать пока.

Бежит девчонка,
Что-то ест,
Щенок — за ней!
Она — в подъезд!

Тоска
Напала
На щенка,
Догнал он
Деда, старика.
Но и у деда
Много дел,
Он на щенка
Не поглядел.

И так расстроился
Щенок,
Что он завыл
Отчаянно:
— Я один-о-о-о-ок
Я один-о-о-о-ок,
Не нахожу-уууу
Хозяина!

Как вдруг
Увидели щенка
Две девочки,
Две Катеньки,
Они зовут
Издалека:
— Иди сюда,
Кудлатенький!

Одна кричит,
Всплеснув рукой:
— Ты нужен мне,
Как раз такой!
Другая бросилась
К нему:
— Дай лучше я
Тебя возьму!

— Кудлатенький,
— Косматенький!
Его ласкают
Катеньки.

Обнюхал девочек
Щенок,
Как завизжит
Отчаянно.
Сдержаться он
Радости не мог:
Вдруг сразу
Два хозяина!





ПРОЗА

Дмитрий Тарасенков

ЧЕЛОВЕК

Глава I

ЗНАКОМСТВА

Тетка на углу возле «Флотского универмага» торговала мороженым. Я собрался взять, потому что это соответствовало бы моей роли, но раздумал: не хотел пачкать пальцы. Подошвы липли к асфальту. Большой уличный термометр у входа в гостиницу показывал 31 градус. «Гостиница «Пордус», — прочел я и нырнул внутрь.

В вестибюле было темно и прохладно. Возле каждой колонны стояла кадка с пальмой. В дальнем углу горела лампа под зеленым абажуром: закуток дежурного администратора. Стуча каблуками, я пересек по диагонали вестибюль, поставил чемодан на пол и положил локти на стойку.

— Нету мест, — скучным голосом сказала женщина за стойкой.

Я вытащил паспорт и раскрыл перед ней.

— Насчет меня звонили из горкома комсомола.

— Фамилия? — спросила она, глядя в паспорт.

— Моя?

— А чья еще?

— Насколько я знаю, Вараксин. Там написано.

Она взглянула на меня, но смолчала. Потом порылась в бумажках на столе и буркнула:

— Есть Вараксин.

Порядок. Пока она заполняла квитанцию, я огляделся. Какой-то тип, развалившийся на кожаном диванчике, крутил ручку настройки транзистора. «Ай эм фонд оф ю, та-тарара», — орал хриплый голос. — «Ай эм фонд оф ю, та-тара». На стене висела копия картины Ивана Константиновича Айвазовского «Девятый вал». Бушующее море смахивало на овощной салат в миске.

— Надолго остановитесь?

— Я бы остановился у вас на всю жизнь. Но — дела, знаете ли...

— Я вас серьезно спрашиваю, — обиделась она. — Вы дома шутите, а здесь учреждение.

— Извините. Я всегда шучу. Пишите ориентировочно две недели. Думаю, управлюсь.

«Ты должен», — сказал я себе, — управиться за несколько дней, голубчик. Иначе грош тебе цена. Да и не в тебе дело».

Я поднялся по лестнице на третий этаж, разыскал дверь с номером «305» и открыл ее. Марлевые занавески на окне рванулись и вытянулись на весу. В комнате было три койки. На одной лежал человек, с головой завернувшийся в простыню.



Я прикрыл за собой дверь.

— Эй, друг! — окликнул я негромко.

— Чего надо?

— Вставай, знакомиться будем! Ты что в простыню залез?

— Мухи, — ответил голос из-под простыни. — Кусаются.

— Так купил бы ленту ядовитую и повесил. Они все подохнут.

— Еще чего!

— Полотенцем выгони.

— Еще чего!

— Ну и лежи так, шут с тобой!

Я сел на койку и покачался на пружинах. За окном звенели трамваи. Комната была залита солнцем. Я закурил, и тень от дыма поплыла по стене.

— Как здесь городок, ничего?

Из простыни на меня уставился один глаз.

— Дерьмовый городок. И не городок, а город: здесь двадцать тысяч живет.

— Так уж и двадцать? — засомневался я.

— Точно тебе говорю.

— Ты местный, что ли?

— Жил до войны.

«Кажется, он», — подумал я. И спросил:

— А сейчас?

— А тебе-то что?

— Да я так, простое человеческое любопытство.

ПОВЕСТЬ

Рисунки Г. Новожилова,

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ

— Вот и сиди со своим любопытством тихо.

— Сажу.

Мы помолчали.

— В кино чего-нибудь интересенькое идет? — спросил я.

— Еще чего! Я в кино не хожу!

Под койкой у моего соседа стояли пустые бутылки: «Перцовая», «Старка», «Плодоягодное». Плохо. По мне — уж пить, так что-нибудь одно, но я, конечно, дилетант. А кино моему соседу не нужно, это очевидно. Оно было бы для него просто-таки помехой.

Я вспотел как мышь, пока добрался с аэродрома до гостиницы. Вода в графине была теплая. По слоям осадков на стенке можно было судить о том, как она постепенно испарялась в течение последней недели. Ну-ну!

— Перейдем на самообслуживание, — сказал я вслух.

В умывальнике я выплеснул воду в раковину и раскрутил кран до отказа. Я стоял и курил, и вода брызгала на меня, но умываться я не стал, — хотел сразу залезть под душ. Я наполнил графин и вернулся в номер.

— Попей водички, — предложил я соседу. — Холодная, аж лоб ломит.

Потом занялся чемоданом.

Я достал из него бумажник и посчитал на виду деньги. Пальто я продал в Москве, на очереди фотоаппарат. Матери послал денег, сюда шикарно летел самолетом, то да се; осталось девятнадцать рублей. Если экономить, хватит на неделю. Потом придется катать бочки в порту. Все это мы тщательно продумали с Ларионовым. Всякий раз, когда мы доходили до этих бочек, он начинал хохотать: «Извини, старик, у меня богатое воображение. Тебе так пойдут эти бочки».

— Может, заложим? — спросил голос из-под простыни, и снова блеснул один глаз.

— С утра не пью, — отрезал я, решив, что, придерживаясь тактики коротких ответов, я выиграю больше.

— Ну-ну. А чемодан ты свой на хранение сдай. Сопрут.

— Не сопрут. Тут и переть-то нечего.

Я вынул рубашки и положил их в тумбочку, что-бы не мялись.

— Жарища какая, а? — сказал сосед.

— Как в Африке, — сказал я.

— Американцы со своими водородными бомбами климат испортили. Допрыгались, гады!

— Проклятые империалисты, — сказал я. — Не хватало еще, чтобы снег пошел.

— А в Антарктику не хочешь с белыми медведями на льдине покататься?

— Хочу. Душ здесь где?

— Этажом ниже.

Все правильно: местные товарищи прислали точное описание места и возможных действующих лиц трагедии. Я повесил полотенце на плечо, вышел в коридор и стал спускаться по лестнице. На площадках висели пыльные зеркала в вычурных металлических рамах: сверху были пристроены веночки, их держали позолоченные пузатые купидоны. Гостиница была старой постройки и раньше принадлежала, наверное, какому-нибудь прусскому юнкеру. Я представил его себе с пышными усами, в крахмальном стоячем воротничке, а его супругу — в гладком платье с короткими рукавами-пузырями. Однажды мне пришлось провести две недели не выходя на улицу в одной квартире, где в старомодном книж-

ном шкафу лежали комплекты «Нивы» за все годы, и с тех пор все, что относилось к началу века, я представлял себе по тем иллюстрациям.

В коридоре этажом ниже стояли козлы, пол был залит краской. Пахло известью. У стены лежала груда неструганных белых досок. «Удивительное дело: почему ремонт в гостинице затеяли именно летом, в разгар сезона?» — подумал я.

Я взглянул на часы. До обеденного перерыва было еще далеко, а рабочие между тем отсутствовали. «Собрались где-нибудь перекурить», — решил я.

Дежурная по этажу (вернее, по двум этажам сразу — тому, где я остановился, и этому) сидела возле канцелярского стола и листала «Огонек». Я присел рядом на край кожаного дивана — близнеца тех, что украшали вестибюль, — кашлянул и спросил старческим голосом:

— Как насчет душа, милая? Функционирует?

— Угу. Тридцать копеек, — ответила она, не отрываясь от журнала.

— А у меня большое несчастье, — сказал я про-никновенно и сделал несчастное лицо. — Я бумажник потерял, и деньги, и все-все.

Она все-таки подняла голову.

Она была некрасива, но в ней имелась какая-то изюминка — это я отметил еще в комитете, знакомясь с делом. Большие глаза, очень большие. Гордая посадка головы. Блестящие волосы до плеч.

— Да что-о вы! — протянула она, щурясь, потому что солнце било через оконное стекло в эти ее большие глаза.

— Точно. И жара сегодня необыкновенная и невыносимая. Одно к одному.

— А много денег было? — спросила она.

— Как раз тридцать копеек, — сказал я быстро. — Но я волшебник. Если вы дадите мне ключ от душевой, вас полюбит принц.

— Если вы волшебник, войдите без ключа. Через замочную скважину. — Она уткнулась в «Огонек».

«Все равно дашь ключ, — весело подумал я, — никуда ты не денешься».

— Заклинание для дверей забыл, вот что. Все остальное помню: и для больных зубов и для присушивания сердец, а это из головы вылетело.

Она засмеялась. Полдела было сделано.

— У нас один жил здесь такой, то-оже весельчак. Только старенький. И... — Она сделала паузу.

— Что — и?

— Ничего.

— А сейчас куда он делся?

— А... — Она замкнулась.

Так. Хорошо. Эта тема меня слишком волновала. Быть настырным сейчас нельзя: все ограничится несколькими общими фразами. А это меня не устраивало.

Я подвигал стакан с карандашами по столу и сказал:

— Ну и бог с ним. А так жарко! — Я вздохнул. — Вся рубашка на мне мокрая.

— Ну и что?

— Ключик. — Я протянул руку.

— Если я всем ключ давать буду, это порядок, по-вашему, как?

— Милая, — сказал я с чувством, — так то ж простые смертные, а я волшебник. Вол-шеб-ник!

Она выдвинула ящик и достала ключ.

— Только верните мне.

— Что?

— Ключ.



— А-а, ключ...

Фамилия ее была Быстрицкая, как у актрисы. Да и смахивала она на какую-то актрису, только не на свою однофамилицу, а на другую — польскую, что ли. Я всегда путал фамилии актеров. Но сама-то Быстрицкая наверняка знает, на какую актрису она похожа. Ей 23 года. В комсомоле не состоит. Я увидел на руке у нее шрам. Я и о нем знал: попала в автомобильную катастрофу, катаясь по побережью на машине с приезжим инженером. Я все знал, все, кроме главного.

— Непременно верну, — сказал я. — Принц будет сдувать пушинки с ваших туфель.

Она опять засмеялась. Кокетливо поправила волосы. Посмотрела на меня с интересом, склонив голову к плечу.

— А какой он будет, принц ваш? Брюнет или блондин?

— Белобрысый, как я. Вы сейчас похожи на пету-

ха, разглядывающего жемчужное зерно. Между прочим, вы когда сменяетесь?

— Жемчужное зерно — это вы, надо понимать?

— Так точно. Так когда?

— В восемь. А что?

— Вечерок вместе?

— А вы нахал, — протянула она.

— Наоборот. Я страшно стеснительный и робкий и, чтобы скрыть это, притворяюсь нахалом. Самозащита. Знаете, как в том анекдоте... — Я замолчал.

— В каком анекдоте? — конечно, спросила она.

— Расскажу вечером. Я знаю двести пять первоклассных анекдотов и сто хороших. Сомнительных не рассказываю. Сегодня вы скучать не будете: не дам.

— Все мужчины обещают слишком много, — сказала она. — Но берегитесь, если вы обманываете бедную, несчастную девушку.

«Господи,— с ужасом подумал я.— Господи, мне придется вертеться, как карасю на сковородке. Мне предстоит тяжелый вечерок».

Я улыбнулся как можно обаятельней и припустил в душ.

Я сразу раскрутил холодную воду и сунулся под струи. Вода обжигала. Я рычал и танцевал в ванне, задирая руки, чтобы вода била в подмышки, отплевывался мыльной пеной и вообще чувствовал себя прелестно. Только через пятнадцать минут я решил: хватит. Я расчесал мокрые волосы, дунул на расческу и подмигнул себе в зеркало. Я скорчил физиономию каторжника, потом государственного деятеля, потом похлопал ресницами, изображая невинного мальчика. «Так, Боря,— сказал я себе.— Работа началась и, кажется, неплохо, Боря».

— От робости я забыл узнать, как вас зовут,— сказал я Быстрицкой, отдавая ключ.— А вы говорите: нахал.

— Рая.

— А меня Боря. Я смотрю, Раечка, ремонт у вас осуществляется невиданными темпами.— Я кивнул в сторону выглядывавших из-за поворота одиноких малярных козел. Рабочих по-прежнему не было видно.

— Ах, это! Вы знаете, поработали с неделю, а потом ушли. Когда же... ах, ну да, пятого числа и ушли. Просто безобразия! — И она опять стала прятать лицо от нестерпимого солнца в тень.

О ремонте ребята из здешнего горотдела не общались. Пятого? Совпадение, конечно. Но именно утром пятого, три дня назад, гражданин Ищенко Тарас Михайлович, пятидесяти восьми лет от роду, как будто приехавший сюда отдохнуть и провести время, занимавший в гостинице ту самую койку, на которой теперь расположился я, был убит.

— Куда ж они делись?

— В доме через улицу авария случилась. Все пролетело. Ну и, знаете, как это делается: наверное, перебросили рабочих...

— Такой большой серый пятиэтажный дом? — спросил я.— Видел, когда сюда шел.

— Да нет, он маленький. Дом номер восемь по Чернышевского.

Еще одно совпадение. Этот адрес я уже знал. Но расспрашивать дальше было неосторожно: с чего бы это я мог так интересоваться какой-то аварией? Да и вряд ли Быстрицкая могла что-то знать.

— Ну, ничего, все образуется,— сказал я.— Держите тридцать копеек за душ. Я пошутил. Я люблю шутить. Но насчет вечера я говорил серьезно.

Глава 2

ЧЕЛОВЕК С ФОТОГРАФИИ

Человек в номере лежал в той же позе под простыней. В марле на окне гудела запутавшаяся муха.

— Слушай, нельзя же спать весь день,— сказал я.— Уже начало одиннадцатого.

— А может, я ночью работал?

— Ну, разве что...

Я достал ножницы из чемодана, сел за стол, постриг ногти на левой руке и полюбовался.

— Сосед, а, сосед! — сказал я.

— Чего? — отозвался тот, но не шевельнулся под простыней.

Надо было выманить его из этого кокона. На столе лежала шахматная доска. Я двинул локтем и смахнул ее. Она, слава богу, не раскрылась, и фигуры не высыпались, но она бухнула об пол, как выстрел.

Человек сел на койке. Ему было лет пятьдесят.

— Извините,— сказал я.

Это был он, хотя на моментальной фотографии он выглядел старше. Помощник капитана рыболовного траулера, списанный на берег за пьянство. Морщины пересекали его лоб. Он был небрит, волосы на голове торчали, как перья.

— Чего надо? Не люблю, когда извиняются.

Я поднял шахматную доску.

— Мне ничего не надо. Еще раз извините.

И взял ножницы в левую руку.

— А ты наглец,— сказал помощник капитана и почесался.— И стрижка у тебя,— он пошевелил растопыренными пальцами над головой,— короткая. Наглая. Ты с какого года?

— С сорок третьего,— сказал я, убавив шесть лет согласно документам: я как раз и выгляжу на этот возраст.

— Правильно. Все вы нахалы,— заявил мой визави.

— Бывает,— сказал я.

— А я тебе, между прочим, в отцы гожусь.

— Папочка,— сказал я,— купи мне шоколадку.

Он засмеялся.

— Студент?

— Студент,— сказал я.

Все шло, как надо. По документам я был студент. Досрочно сдал летнюю сессию и приехал подработать на зиму, хочу устроиться матросом на рыболовное судно. Студент-романтик. Играть мне было легко: не так уж давно я на самом деле учился в институте. Кроме того, устраиваюсь на работу, жду визы на выход в море, словом, могу много времени сидеть в гостинице, шляться по городу и от нечего делать заводить знакомства.

— Глаза б мои на тебя не глядели! — закричал помощник капитана.— Как ты ножницы держишь! Ты себе палец отрежешь!

— Искусство требует жертв. Где здесь, между прочим, управление экспедиционного лова?

— Рыбкина контора? Возле базара, на улице Прудиса. А ты не в море часом собрался?

— В море.

— А меня списали,— вдруг грустно сказал он.

— Воспитывают? — Я кивнул на пустые бутылки, бросил ножницы в чемодан и задвинул его под койку.

— Воспитывают? Дурак ты! — Он взорвался. У него задергалась кожа на лбу — тик. Он завернулся в простыню. Лег. Потом не выдержал, опять вскочил.

— А почему потомственный моряк Войтин пьет с утра вино и ложится на койку? Почему, спрашивается в задачнике? Я тебе отвечу!

— Ну-ну,— поощрил я его.

Он меня не слушал.

— Я лежу и рисую себе картину: штормяга — десять баллов, а начальник отдела кадров крепит груз на палубе и делает все, что положено делать моряку в шторм. А волна с пеной — через него, через него. А еще он думает: как благополучно привести судно в порт, потому что он за него отвечает. Понял?

— Понял.

— А то он сидит в кабинете — розовый, в розовых очках — и пьет вы, говорит, много, звание моряка позорите. И на берег меня. Старый стал, помоложе нужны. Они не пьют. Они культурные. Весело?

«Куда как весело, — подумал я. — Но только ты ж сам и виноват. Не бывает так, чтобы ничего нельзя было сделать».

— В шахматы можешь? — спросил моряк.

— Могу. Закуривайте, — предложил я.

— Сигарет не курю. Только папиросы.

«Беломор», — машинально отметил я. Если б он был матросом, то курил бы «Север» или «Прибой», а старпому положен «Беломорканал».

Я вытряхнул фигуры к нему на постель, и мы стали расставлять их. Черного слона не было. Я знал, что его нашли в кармане пиджака убитого. Ну, это-то было легко объяснить: Ищенко машинально сунул слона в карман во время игры и забыл о нем. Кстати, карманы у него были пустые: только носовой платок, бумажный рубль, 23 копейки медью и эта шахматная фигура; документы и деньги остались в гостинице в камере хранения.

Войтин стал искать глазами, чем заменить отсутствующую фигуру.

— В гостинице шахматы дали? — спросил я.

— Мои.

— А где слона посеяли?

— Играл три дня назад. Пятого числа, утром. Приблизительно с восьми пятидесяти до девяти тридцати. И он был на месте. Ума не приложу, куда он делся. Всю комнату обыскал.

— Ого, какая точность! Это вы всегда запоминаете числа и часы, когда играете в шахматы?

— Тут запомнишь! — сказал Войтин, продолжая рассеянно озирается. — Меня милицкий капитан два раза с пристрастием допрашивал: в котором часу я играл, да как сосед — он как раз на твоём месте жил, Тарасом Михайловичем звали, — как он выглядел, не волновался ли в то утро, да что он говорил, да что я, после того, как он ушел, делал...

— А что такое? — спросил я.

— Да то, что убили его, Тараса Михайловича.

— Как убили?

— Очень просто. Ткнули чем-то по голове в проходном дворе, и все.

Не чем-то, а кастетом. Его подобрал недалеко от места преступления, под стеной дома, старик, выносивший мусор, и, зная об убийстве, обернул в бумажку и принес в милицию. Кастет немецкого производства, каким пользовались эсэсовцы во время войны.

— Ограбление? — спросил я.

— Какое там ограбление! Я его все время выпить звал. А он: я здесь еще долго проживу, у меня все рассчитано, денег в обрез. А может, скупой был, врал. Но, по-моему, особых денег у него не водилось.

Войтин вынул из кармана ключ несколько необычной формы, подбросил на ладони, поглядел на него и положил вместо отсутствующего слона.

— Ходов обратно не берем?

— Ага.

— Давай. Е — два, е — четыре.

— Гроссмейстерский ход. А вот так? Слушайте, а если не ограбление, тогда что?

— Помешал кому-то, значит.

— Кому ж он мог помешать?

— Ему лет шестьдесят было. Слабенький. Вали-дол все сосал. Я, говорит, отдохнуть приехал, здоровьице поправить. Вот и поправил! Но один раз, — моряк остро взглянул на меня, — пришел ночью, часа в два, и все вздыхал, на койке ворочался. Потом встал, зажег лампу, долго писал что-то, но порвал и бросил в пепельницу. А утром мы с ним вместе выходили, он в дверях встал, обратно кинулся и обрывки из пепельницы вытащил. Вот какие старички бывают, студент. А?

Мне показалось, что говорит он как-то нарочито равнодушно и его интересует этот «старичок» больше, чем он хочет показать.

— А вы капитану, что вас допрашивал, рассказали про это?

— Нет, забыл.

Правильно, капитану Сипарису он этого не говорил.

— Станный он был мужик, этот Тарас Михайлович, — сказал я. — Может, шпион?

— Сам ты шпион! Пить будешь?

— Сказал, с утра не пью. Шах!

— Ша-ах? — Он задумался, сделал ход и встал. —

Тогда я один выпью.

Он запустил руки в тумбочку и погреб там стаканом, слушая, наклонив голову к плечу, как булькает жидкость; он совершал привычную, видно, манипуляцию на ощупь. Вынул стакан — он был налит до половины. Опрокинул в горло. Ничем не закусил.

Его передернуло, и он вздохнул.

— Ключик хороший, — сказал я и взял с доски ключ.

— Не лапай!

— А что?

— Положи, говорю, на место.

— Чудак вы человек! Это ж слон. Если я буду его бить, так ведь возьму же его в руки. Нелогично получается.

— Ну и пусть нелогично!

— Интересная борода у него, — не отставал я. — Я когда-то слесарничал и немного разбираюсь в замках.

— На заказ делал, — буркнул Войтин.

— А замок к нему где?

— Где, где!.. Что ты привязался к человеку? Игрой и помалкивай!

— Извините, — сказал я. — Я не думал, что вы примете это близко к сердцу. Мне совсем не хочется лезть вам в душу и задавать вопросы, которые вам неприятны.

— Ладно, опять извиняться начал! Может, выпьешь вина?

— Нет.

— А ты ничего парень, — сказал Войтин. — Упрямый. Ты мне даже нравится начинаешь.

Я промолчал.

— Ты не обижайся, — сказал он. — Дело вот в чем... а-а... все равно не поймешь!

— Если вам неприятно, не рассказывайте, — предупредил я.

— Не в этом дело... — Он со всхлипом втянул ноздрями воздух, помолчал и сказал почти спокойно: — Это ключ от дома, которого нет. У меня до войны здесь, в этом городе, квартира была, понимаешь? Я мебель купил, все мелочи продумал и сделал. Замок вот врезал на заказ, понимаешь? Ужасно приятно было самому этим заниматься. Гнездышко вил. Мы с женой занавески ходили в магазин выбирать,

у нее на это дело большой вкус был. А, черт, где же спички?

Я дал ему прикурить.

— Ну, вот... — Он глубоко затаился. — Ну, вот. А 23 июня я ушел на войну, а она погибла.

— Бомбежка? — осторожно спросил я.

— Она была связной партизанского отряда. Мне потом рассказали. Кто-то выдал ее в сорок четвертом. Ее держали полтора месяца в гестапо. Она ничего не сказала, понимаешь? Понимаешь? Кто бы так смог? Ты бы смог?

— Мой отец был расстрелян в абвере. Он был партизанским разведчиком, — сказал я.

Это была правда.

— Да? — Он устало потер лоб. — Где?

— В Белоруссии. После войны мы несколько лет ничего не знали о нем.

— Да? — опять сказал он. — Если б я знал, кто ее предал, я бы убил его сам. Этими руками. — Он посмотрел на свои руки. — Сначала поговорил бы с ним, а потом — р-раз! — Он сказал это будничным голосом и трезво, внимательно посмотрел на меня. — Считаешь, пустые слова? А? Я об этом думал много лет по ночам.

«Мне предстоит решить, — подумал я, — способен ли он на убийство в о о б щ е...»

— Вы пробовали что-нибудь узнать? — спросил я.

— Пробовал. Писал куда надо.

— Ну и что?

— Ничего! Сами они ни хрена не знают.

Да нет, кое-что мы знали.

В течение 1942—1944 годов в лесу базировался партизанский отряд, связанный с подпольем в городе: отсюда осуществлялось руководство партизанской борьбой в районе. В конце 1944 года отряд был окружен на стоянке эсэсовскими частями и полностью уничтожен (уцелело двое разведчиков: они выполняли особое задание, о котором знал только командир отряда; один из них умер в 1958 году от рака легких, второй — Корнеев Владимир Исаевич — проживал теперь в Ленинграде и работал директором школы). Отряд сменил место стоянки за два дня до трагедии.

Одновременно был нанесен точно рассчитанный удар по подполью: гестапо арестовало 38 человек. Чудом спаслась только Евгения Августовна Станкене, которая несколько месяцев скрывалась в сарае у родственников и поседела, ожидая прихода наших войск. Остальные после пыток были казнены.

В самом конце 1944 года среди захваченной документации местного отделения гестапо были найдены датированные расписки на крупную сумму марками — даже не оккупационными, а имперскими. Деньги были выданы спустя три дня после гибели отряда и арестов в городе человеку под псевдонимом «Кентавр». Был найден также лист из копии донесения начальника окружного отделения гестапо об «акции по уничтожению лесного отряда и городского подполья». В этом отрывке фигурировал Кентавр, названный «очень талантливым» агентом. Упоминалось также, что он физически крепок, инициативен, в совершенстве знает как русский, так и немецкий язык; единственная негативная черта — любит выпить и в этом состоянии болтлив. Больше по этому делу ничего обнаружить не удалось: немцы сожгли основную документацию. Были предприняты некоторые шаги по опознанию и розыску Кентавра, но безуспешно.

Все эти документы были подняты в наших архивах в связи с событием, имевшим место три дня назад, пятого июня: в этот день в 11.20 в горотдел

КГБ пришла Евгения Августовна Станкене — после войны она безвыездно жила здесь, в этом приморском городе, работала санитаркой в больнице и теперь вышла на пенсию — и сообщила, что полчаса назад (около одиннадцати) встретила на улице бывшего бойца отряда, которого неоднократно видела в лесу, приходя на связь; он появился там за несколько месяцев до гибели отряда. Все это время считалось, что тогда уцелело трое. Значит, он четвертый. Она остановила его, назвала себя и спросила: «Тарас, узнаешь?» Видно было, что он никак не ожидал этой встречи и растерялся. «Обознались, гражданочка», — сказал он и быстро пошел от нее прочь. «Но я-то видела, что он меня узнал», — писала в своем заявлении Станкене. Через четверть часа было установлено, что Тарас Михайлович Ищенко прописан в этой гостинице. А в 14.10 был обнаружен его труп в проходном дворе, куда не выходит ни одно окно соседних домов, за контейнером для мусора. Вскрытие показало, что Ищенко был убит приблизительно через 10 минут после того, как столкнулся на улице с Евгенией Августовной (то есть в одиннадцать с минутами). Корнеев, которому была предъявлена в Ленинграде фотография убитого, опознал бойца отряда, но вспомнить о нем ничего не мог, так как часто уходил на задания и почти не бывал в отряде.

Все это входило в сферу работы нашего отдела, который занимался розыском предателей народа и бывших нацистских преступников. Было решено, что местные товарищи проверят другие возможные версии (убийство могло не иметь ничего общего с событиями более чем двадцатилетней давности) и помогут работнику центра, то есть мне, в разработке основного варианта расследования. Лиц, о которых было известно, что они вступали в контакт с убитым и могли быть так или иначе причастны к случившемуся, было четверо. Среди них был моряк Войтин. В местном отделе его не считали возможным убийцей, хотя и не знали о нем многого. Например, того, что он рассказал мне сегодня. У него было алиби: в день убийства он был с утра в гостинице — на виду. Он выходил только на 20 минут за папиросами — как объяснил он капитану Сипарису — приблизительно в то время, как было совершено убийство. Дежурная по этажу (не Быстрицкая, та была в этот день свободна) случайно заметила время, когда он вышел и когда вернулся. Если б у него была машина, он мог, конечно, доехать до места преступления, провести там несколько минут и вернуться, но это было маловероятно.

— А ее фамилия тоже Войтина была? — спросил я.

— Ты откуда знаешь мою фамилию? — Он вдруг подобрался и взглянул на меня настороженно.

Я засмеялся.

— Вы же сами говорили полчаса назад: потомственный моряк Войтин.

— Верно, — сказал он, уронив голову на грудь. — Совсем дырявая память стала. Нет, она была самостоятельной в этом вопросе. Она была Круглова. Она писала стихи и мечтала, что их напечатают.

Я вспомнил: эта фамилия была в списке казненных.

— Знаешь, я сдаюсь, — сказал он. — Ты силен в шахматы играть.

— Zu kämpfen habe ich seit Kindheit gelernt¹. Еще одну?

— Не хочется. Что это ты сказал?

¹ Я с детства научился воевать (нем.).

— По-немецки. Вы немецкого не знаете?
Он усмехнулся.
— «Хальт» и «хенде хох». И еще — «шнапс».
— Ну, ладно, — сказал я. — Пойду искать это рыб-
кино управление. А то у меня денег, как у того
Тараса Михайловича, в обрез. Он, кстати, в шах-
маты играл?
— Даже не знал, как фигуры называются.
Бум! Вот так так. Откуда же тогда в кармане его
пиджака оказался черный слон?
— Но, небось, любил смотреть, как играют? Учил-
ся?
— Терпеть не мог. К доске не подходил.
— А третий наш? — Я кивнул на пустующую, акку-
ратно застеленную койку.
— Ого! Как зверь. Я с ним только и играю. Он,
пожалуй, тебя переиграет.
Третьим был работник мебельной промышленно-
сти из Саратова: приехал на местную фабрику не
то передавать, не то перенимать опыт. Тихий, неза-
метный человек. 41 год. Фамилия его была Пухаль-
ский.
— А, черт! — Войтин вскочил и стал суетливо оде-
ваться. — Автобус... А мне надо точно... — бормотал
он.
— Едете куда-нибудь?
— Нет! — раздраженно крикнул он, выскакивая
за дверь.
Я пожал плечами и стал собирать фигуры.
Может, ему надо было кого-то встретить? Я
вспомнил, что среди вещей Тараса Михайловича
было найдено переписанное от руки (почерк
Ищенко) расписание автобусов, курсирующих по
побережью. «Ну и что? — подумал я с сомнением. —
Никакой связи тут нет».

Глава 3

«ПРИВЕТ ОТ КОЛИ»

Я опять спускался по лестнице, отражаясь в пыль-
ных, засиженных мухами зеркалах. На первом
этаже было сумрачно и прохладно. Пахло вы-
мытым полом. Уборщица, стоя на стремянке, про-
тирала плафоны в люстре. Тетя Маша, или тетя Кла-
ва, или тетя Ядвига — обычно их не зовут по имени-
отчеству. Они бывают очень наблюдательны, и с
ними всегда стоит потолковать. Иной раз они под-
мечают такую мелочь, «детальку», которая может
обернуться кладом для следствия. Правда, ребята
наверняка опросили всех, но, может быть, име-
ло смысл пройтись по второму кругу. Не то
чтобы я им не доверял, просто я любил делать
все сам.

Я огляделся. К стене была прислонена щетка.
Рядом стояла корзина с мусором. Я прошел мимо
и опрокинул корзину ногой.

— Ох, извините!

Уборщица посмотрела со стремянки вниз и заве-
лась с пол-оборота.

— Вот дьявол! А глядеть надо, куда ноги ста-
вишь? Убираешь тут, вылизываешь все тут, а они
ходят!..

— Не сердитесь, я все подниму.

Я поставил корзину, присел на корточки и стал
медленно, одну за другой, собирать вывалившиеся
бумажки.

— И часто вы так все трете? — спросил я.

— А ты думал?
— Все равно обратно пыль насядет, — философ-
ски заметил я.

— Верно! — Я попал в большое место, потому что
она даже перестала тереть плафоны. — Откуда она
берется, проклятая?

— Но и ничто не вечно под луной, — свернул я, —
а жизнь человеческая вовсе копейка.

— Это как же? — Она была не прочь побол-
тать.

— Въехал сегодня в вашу гостиницу и — бац:
узнаю, что человека убили.

— Этого-то? Его бог наказал!

— Ну да? — заинтересовался я.

— Ага, — подтвердила она. — Он распушенный
был, — сказала она с удовольствием. — Пес такой!

— Да?

— Точно говорю.

— В чем же это проявлялось?

— Мыла я, это, пол, — охотно начала она. — И сто-
яла вот так. — Она чуть не свалилась со стремянки. —
Он мимо шел и одет-то прилично, не подумаешь,
а ущипнул меня вот сюда. Я чуть тряпкой его
не съездила, ей-богу! Я ему говорю: я тебе не ка-
кая-нибудь! А он смеется: потише, говорит, девуш-
ка. А я ему: двадцать лет, как не девушка, и не
тебе смешки строить, старый хрыч! Вот как я
сказала! А он увидел, что еще кто-то по кори-
дору идет, махнул рукой и боком-боком ушел.
Убежал.

«Осторожным человеком был Тарас Михайло-
вич», — подумал я. И сказал:

— Шалун, значит, был покойничек?

— Ох!

— За что ж его кончили, интересно?

— По-моему, так за бабу!

— Какую бабу?

— Известно, какую... Любовь!

— Он же не молоденький был вроде? Года
вышли.

— А, все вы паразиты.

Н-да. Клада я, пожалуй, не открыл. Хотя все, что
касалось Ищенко, было мне интересно.

— Новая уборщица? — раздался насмешливый
мужской голос за моей спиной. — Что-то я вас
раньше не замечал?

Моя собеседница сразу принялась за плафоны.

Я скосил глаза и увидел ноги, обутые в войлоч-
ные домашние туфли. Как подошел их владелец, я
не слышал. Интересно, давно он стоит? Хотя убор-
щица разговаривала, глядя на меня, и, конечно, за-
метила бы его.

— Я внештатная, — сказал я без особого энтузи-
азма и перевел глаза вверх.

Он был невысокого роста, седой, с веселыми
глазами. Руки держал в карманах.

— Ах, так! Могу оформить.

— Айвазовского возьмите.

— Какого Айвазовского? — не понял он.

Я кивнул головой на копию «Девятого вала».

— Ивана Константиновича.

— Зачем смеяться? — вроде как обиделся он. —
Это большой художник был.

— Художник-то большой, но ведь стыдно такую
копию на стену вешать.

Он внимательно поглядел на картину. Отошел и
еще поглядел. Но, кажется, ни к какому решению
не пришел и задрал голову.

— Почти три, Перфилова, а то они какие-то
тусклые.

— Я уж стараюсь, Иван Сергеевич, — ответила
уборщица.

Это был директор. Гостиница по летнему времени была забита, а капитан Сипарис не разрешил селить кого-нибудь на место убитого. Сегодня он снял запрет, и сразу вслед за этим директору позвонили из горкома и предложили устроить меня. При случае я мог бы рассказать историю, как я, московский студент, пришел в горком комсомола и попросил помочь с жильем, — работник горкома был предупрежден. Мы решили в республиканском комитете, что так я сразу и естественно попаду в окружение людей, которые нас интересуют. Был и еще один довод за гостиницу...

— Сегодня прибыл? — спросил меня директор.

— Да.

— В триста пятом, значит, остановился?

— Ага.

Он чуть заметно прищурил глаз.

— Хорошо мусор собираешь. Со старанием.

— Служу трудовому народу, — сказал я. — Так точно.

Он стоял, засунув руки в карманы, и глядел, как уборщица исполняет свою работу, не упуская и меня при этом из поля зрения. Любопытство, конечно, похвальная черта, но... Я искоса взглянул на часы, обругал его про себя и разогнулся.

— Все собрал. Порядок, — сказал я уборщице. — Всего хорошего, — повернулся я к директору.

— А копия с картины Айвазовского «Девятый вал» — все-таки красивая копия, — сказал он мне вдогонку.

Я сделал вид, что не слышу.

После темного вестибюля солнце ослепило меня, я даже прикрыл глаза. Стало еще жарче. Асфальт пружинил под ногами, как поролоновый ковер. Я завернул за угол гостиницы «Пордус», немного подождать и вошел в телефонную будку. От стенок несло раскаленным металлом. «Привет от Коли», — сказал я, набрав номер, который получил в комитете. «Седьмой слушает, — ответили мне. — С прибытием вас». «Спасибо. Все готово?» «Он уже здесь». «Хорошо. Еду», — сказал я.

Глава 4

ДОПРОС В СОСЕДНЕЙ КОМНАТЕ

Чerez три остановки, на четвертой, я слез с трамвая и пошел назад. Сразу за подъездом, около которого висела табличка «Штаб народной дружины» и еще несколько других табличек, я свернул под арку. Возле черного хода стоял человек в модной нейлоновой рубашке и курил. Увидев меня, бросил сигарету, машинально вытянулся и, спохватившись, виновато улыбнулся одними глазами. Он молча вошел в парадное, я — за ним. На втором этаже он открыл английский замок своим ключом и пропустил меня вперед.

— Младший лейтенант Красухин, — представился он, когда мы вошли в помещение.

Я назвал себя. Потом поздоровался с Виленкиным, который встал из кресла при моем появлении (он прилетел еще вчера), и огляделся. В комнате с полукруглыми сводами — они напомнили мне театральные декорации постановки из купеческой

жизни — было две двери: одна — та, через которую мы вошли, и вторая — обитая дерматином.

— Они там? — Я мотнул головой на вторую дверь.

— Да.

— Допрос будет вести капитан Сипарис?

— Как мы договаривались.

Капитан Сипарис был начальником городского уголовного розыска и вел официальное расследование: важно было создать впечатление в городе, будто расследуется простое убийство.

— Первый допрос? — спросил я.

— В день убийства его вызывал помощник Сипариса. Несколько общих вопросов для проформы.

— Если можно, хорошо бы начать сразу, а то время поджимает.

Младший лейтенант поднял трубку и сказал в нее:

— Порядок, товарищ Сипарис. Все на месте.

Потом передвинул рычажок в белом пластмассовом трансляционном аппарате, стоявшем на столе. Мы услышали:

КАПИТАН. Попросите Буша.

(Звук открываемой двери.)

БУШ. Здравствуйте. Если не ошибаюсь, капитан Сипарис, да? Так указано в повестке, вот — на второй строчке.

КАПИТАН. Да.

БУШ. Ага, ага.

КАПИТАН. Садитесь, Генрих Осипович. Извините, что вам пришлось подождать.

БУШ. Да ничего, ничего, я же понимаю. У вас работа такая: одно беспокойство. У меня муж двоюродной сестры тоже в милиции работал, сейчас он полковник на пенсии, в Риге, у него такие связи, весь город его знает.

КАПИТАН. Мы вас вызвали не за этим...

БУШ. Все понимаю, все, это я так, к слову. Вы ведь знаете, жена Тараса Михайловича вся испереживалась, бедняжка, она ведь теперь на моих руках и как приехала, плачет, плачет не переставая.

(Я прикрыл глаза и представил, как Буш это говорит: коренастый, с толстыми веками, похожий на маленького бегемота.)

КАПИТАН. Как вы познакомились с Тарасом Михайловичем Ищенко?

БУШ. В лодке, товарищ капитан.

КАПИТАН. В лодке?

БУШ. Ага, я в Евпатории отдыхал, по-дикому, сидел на пляже — там есть два, может, знаете: один в черте города, близко, а другой — на трамвае надо ехать. Вы бывали в Евпатории?

КАПИТАН. Нет.

БУШ. Ах, как жалко! Обязательно поезжайте, там чудный песок. Везде ведь галька, камни, а тамходишь в воду с настоящим удовольствием, как у нас в Прибалтике, только там сразу глубоко.

КАПИТАН. Вы начали про лодку.

БУШ. Про лодку? Ах да, про лодку!

(Младший лейтенант pokrutil головой и что-то сказал.)

— Что? — переспросил я, убавляя звук.

— Ваньку валяет. Хитрый мужик, — повторил он.)

БУШ. Так вот, сидел я на песке, то есть, конечно, не на самом песке, а на подстилке. Подъехала лодка, такая большая, знаете, шлюпка даже, а не лодка, и мужчина из организации спасения на водах, как говорили раньше, — он сидел на веслах — предложил покататься по морю. Двугривенный с носа, если по-новому. Нас набилось человек восемь.

В основном пожилые. Среди прочих был там Тарас Михайлович. Мы приглянулись друг другу.

КАПИТАН. А потом?

БУШ. Как обычно на отдыхе: вечером расписали пулечку, выпили, сколько положено.

КАПИТАН. Ищенко один отдыхал?

БУШ. Один, один! Его супруга тоже одна отдыхала. У них была теория: отдыхай от работы и друг от дружки.

КАПИТАН. Отношения у них были ровные?

БУШ. Как обычно после пятидесяти, когда детей нет. Она, правда, моложе его была. Намного моложе.

КАПИТАН. Она сейчас ведь у вас остановилась?

БУШ. Да, все-таки одна в чужом городе... Жила, ни о чем таком не думала, вдруг, как гром в ясном небе, телеграмма: ваш муж убит, срочно вылетайте... Сами понимаете.

КАПИТАН. Телеграмму давали вы?

БУШ. Я, я.

КАПИТАН. До этого вы не были с ней знакомы?

БУШ. Мимолетно. Она заезжала за супругом в Евпаторию, пробыла три дня. Красавица!.. Мы чудесно провели время втроем, купались, сидели в ресторанчиках.

КАПИТАН. Она, что же, отдыхала неподалеку?

БУШ. В шестидесяти километрах. Забыл, как местечко называется... Ей все равно нужно было в Евпаторию, чтобы попасть на железную дорогу.

КАПИТАН. Странные у них были взаимоотношения.

БУШ. Не нахожу-с.

КАПИТАН. Так, значит, выпили после пулечки... Ищенко любил выпить?

БУШ. Очень даже грешен был по этой части, весьма и весьма уважал Бахуса, был такой бог, его в гимназиях проходили.

(Я придвинул к себе лист чистой бумаги из стопки, лежавшей на столе, и быстро написал: «Проверить у жены насчет выпивки. Войтин утверждает обратное».)

КАПИТАН. Вы тоже, наверное, не отставали, простите?

БУШ. По мере сил моих и возможностей.

КАПИТАН. Когда состоялось ваше знакомство в Евпатории?

БУШ. Сейчас, сейчас. Значит, та-ак... В шестьдесят третьем...

КАПИТАН. С тех пор вы не виделись?

БУШ. Как не виделись? Виделись. Мы имели с ним переписку, потом встретились опять на юге в бархатном сезоне. Потом он не смог приехать, а в этом вот году решил на свою беду искупаться в Балтийском море нашем. И вот...

КАПИТАН. Скажите, он бывал здесь раньше, в этом городе? Он вам не говорил?

БУШ. Он говорил, что до войны проживал в этой местности. Он очень обрадовался, когда узнал, что я из этого города. Он сразу спросил, когда я здесь поселился. Я говорю: после войны. Он говорит: ну, значит, ты меня сменил, я, говорит, до войны проживал одно время. Спрашивал, как улицы теперь называются, что переменялось, очень интересовался.

КАПИТАН. Знакомых общих не искал? Ни про кого не расспрашивал?

БУШ. Чего не помню, того не помню.

КАПИТАН. Такие мелочи, как то, что с вас двадцать копеек взяли за лодку в шестьдесят третьем году, вы помните, а это забыли? Обидно. Это ведь очень важно для следствия.

(Я записал на бумаге: «Спросить у жены: был ли здесь Ищенко после войны или приехал в первый раз?» Ищенко женился в 1947 году во второй раз, до этого был женат и развелся. Первая жена недавно умерла, проживала в Новосибирске. Сам Ищенко до последнего времени жил там же. «У вдовы узнать,— подумал я,— не у жены». И переправил в записке.)

БУШ. Забыл-с.

КАПИТАН. Здесь он с кем-нибудь встречался?

БУШ. Да-да... Вы знаете, он мне про какого-то Семена говорил, я, правда, слушал невнимательно. Не то он собирался с ним встретиться, не то встречался.

КАПИТАН. Семен? А вы не помните, где этот Семен работает или вообще что-нибудь про него?

БУШ. Ничего не знаю.

КАПИТАН. Постарайтесь припомнить.

БУШ. Н-нет... Он ничего о нем не говорил.

КАПИТАН. Что вы думаете об убийстве? Враги могли быть у Ищенко?

БУШ. Ума не приложу, ведь чистой души был человек, я это не потому, что о покойниках плохо не говорят, нет. Просто он именно такой был: душевный, чуткий.

КАПИТАН. В чем же это проявлялось?

БУШ. Ну, трудно сказать так. Например, здесь в гостинице девушка одна работает, Рая. Он мне мельком говорил: у нее неприятности какие-то, жалел ее. Как-то я зашел за ним в гостиницу, она на этаже дежурит, а он стоит возле ее столика и так ласково с ней говорит...

КАПИТАН. Не слышали, о чем?

БУШ. Когда я подошел, они замолчали.

КАПИТАН. Не хотели, чтобы их кто-то слышал, а?

БУШ. У меня создалось такое впечатление.

КАПИТАН. А что вы все-таки сами думаете об убийстве?

БУШ. Я очень много думал, но ни к какому выводу не пришел. Может быть, его хотели ограбить?

КАПИТАН. У него были при себе крупные суммы денег?

БУШ. Он мне не говорил. Но это ж я так, в порядке предположения.

КАПИТАН. Он долго собирался здесь оставаться?

БУШ. Не знаю.

КАПИТАН. Странно. А мне показалось, что вы друзья. Он мог бы быть с вами более откровенным.

БУШ. Ну, наверное, весь отпуск.

КАПИТАН. Вы много времени проводили вместе?

БУШ. Почитай, каждый день виделись. И на пляж я после работы приезжал к нему, и домой он ко мне приходил. Я ему предлагал, кстати, у меня остановиться, но он не захотел.

КАПИТАН. Дел у него здесь никаких не было?

БУШ. Не знаю.

КАПИТАН. Вечером накануне убийства вы с ним виделись?

БУШ. Да.

КАПИТАН. Где?

БУШ. В ресторане «Маяк».

КАПИТАН. Как он выглядел? Ничем угнетен не был?

БУШ. Как будто нет. Может, молчал только много. Так-то он веселый человек был, пошутить любил.

КАПИТАН. Вы долго сидели?

БУШ. До закрытия.

КАПИТАН. Кто платил?

БУШ. Пополам.

КАПИТАН. Домой вы шли вместе?

БУШ. Он проводил меня до дому, немного посидел у меня. Я его уговаривал переночевать, но он пошел в гостиницу.

КАПИТАН. Он был здесь пять дней. Вы каждый вечер проводили вместе?

БУШ. Да.

КАПИТАН. Днем вы встречались?

БУШ. Нет, я же работаю. Хотя один раз мы договорились, что он зайдет ко мне на фабрику, но он не зашел.

КАПИТАН. В котором часу он должен был зайти?

БУШ. В полдвенадцатого. И, кстати, я вспомнил: тем вечером мы не виделись. Я заглянул в гостиницу, его не было.

КАПИТАН. Он был обязательный человек?

БУШ (слегка удивленно). Д-да.

КАПИТАН. Как же он объяснил все на следующий день?

БУШ. А-а... Он сказал, что днем купался, а вечером ходил гулять по побережью, зашел далеко и не хотел торопиться в город: сидел, смотрел закат.

КАПИТАН. Он любил природу?

БУШ. Раньше я не замечал за ним.

КАПИТАН. Когда произошло это?

БУШ. Что это?

КАПИТАН. Извините. Когда вы должны были встретиться и не встретились? Какого числа?

БУШ. Третьего как раз.

КАПИТАН. Почему как раз?

БУШ. Ну... накануне того вечера, что мы сидели в «Маяке».

КАПИТАН. Так. И последний вопрос — вы сами понимаете: идет следствие, и мы обязаны все проверить, — где вы были утром во время убийства?

БУШ. Понимаю, понимаю. Простите, а во сколько его... убили? По времени?

(Скрипнул стул.)

КАПИТАН. Приблизительно в одиннадцать часов.

БУШ. С утра и до часу был дома: отгул взял. Можете проверить, соседи по дому номер десять видели меня в садике.

КАПИТАН. Что ж вы отгул взяли в середине недели? Лучше приплюсовали б к выходному.

БУШ. Дела накопились дома.

КАПИТАН. Какие, если не секрет?

БУШ. Да всякие, всякие. Повозиться вот с цветами в садике хотел. И аккурат в это утро протек на меня сосед сверху. Хорошо я дома был: целый потоп.

КАПИТАН. С Ищенко вы договорились в этот день встретиться?

БУШ. Нет. То есть да. Вечером. Но не удалось уже свидеться, н-да.

КАПИТАН. Спасибо. (Шуршание бумаги.) Прчитите, пожалуйста, протокол и распишитесь. Да, сейчас уже три часа, мы поставим в повестке, что задержали вас до конца рабочего дня. Чего ж вам сейчас на работу идти...

БУШ. Вот это хорошо бы!

— Вы, наверное, хотите посмотреть, как он одет? — спросил младший лейтенант. — Да и вообще на фотографии люди часто бывают непохожи на себя.

— А можно? — спросил я.

— Конечно.

Младший лейтенант подошел к стене и сдвинул в сторону пасторальный пейзаж в темной раме.

— Нас оттуда не видно? — спросил я.

— Нет.

Я взглянул в стеклянное окошечко.

Буш был именно таким, как я его себе представлял: бегемотик. Он внимательно читал протокол, слегка шевеля губами от напряжения и помаргивая. Он был в старых, лоснившихся на коленях брюках и застиранной рубашке (по вечерам он выглядел более импозантно, его сфотографировали для нас в ресторане «Маяк», где он был завсегдатаем), — он приехал сюда прямо с работы, не заходя домой. Он работал сменным инженером на той самой мебельной фабрике, куда прибыл в командировку из Саратова мой второй сосед по номеру — Пухальский.

Напротив Буша сидел капитан Сипарис, остроносый, чернявый. Он поглядывал в окно на улицу и барабанил пальцами по стеклу на столе. Трансляционный аппарат был выключен, и звук не доходил до нас сквозь толстую стену.

— Вдова Ищенко когда уезжает? — спросил я, повернувшись к младшему лейтенанту.

— Она пока не решила.

— Уточните у нее через капитана Сипариса некоторые детали. — Я протянул записку.

— Слушаюсь. Пойдемте вниз. Он уже, наверное, вышел.

— Завтра в десять на бульваре, как договаривались, — сказал я Виленкину.

— Понятно, товарищ старший лейтенант, — ответил он.

Он остался в комнате, а мы спустились вниз. Прямо у дверей стоял крытый «газик». Я залез вглубь на заднее сиденье. Младший лейтенант сел рядом с шофером.

— Поехали, — сказал он.

Шофер вырулил под арку и — на улицу.

— Стоп, — сказал младший лейтенант. — Вот он.

Из подъезда с табличкой «Штаб народной дружины» вышел Генрих Осипович Буш. Он не торопясь закурил и пошел от нас по тротуару. Когда он скрылся за поворотом, мы медленно поехали за ним.

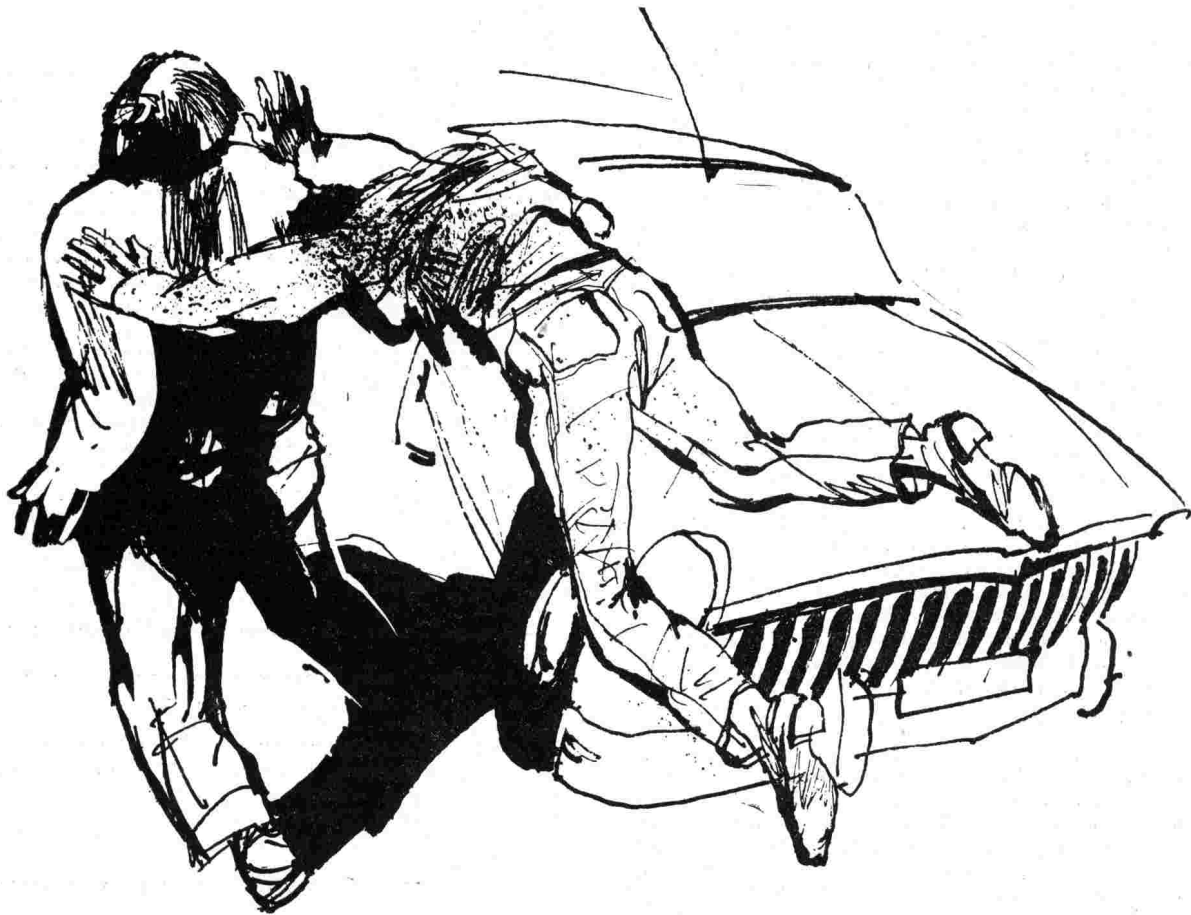
— Стоит на трамвайной остановке. Если сядет на «тройку», значит, поехал домой. Ага! Двигай напрямик, Миша, — угол Чернышевского и Маркса.

Глава 5

ХИТРИТ?

Мы остановились на тихой зеленой улице. Я вышел из машины и отошел под деревья: стал изучать объявление домкома о наборе в кружок гитаристов. Оно было написано от руки и криво висело на одной кнопке (слово «гитара» — через «е»). «Газик» укатил.

Генрих Осипович сошел с трамвая и стал пережидать, пока он отъедет. Я подошел ближе. Генрих Осипович начал пересекать улицу. Я следовал сзади в двух шагах. У меня был отработан план знакомства, но случайности играют не последнюю роль и в нашем деле. Из-за поворота на большой скорости выскочила «Волга». Я успел толкнуть Буша в спину. Потом прыгнул сам и опрокинул его. Некоторое время мы барахтались на тротуаре, составляя, по-видимому, живописную группу — что-нибудь вроде Лаокоона и его сыновей, борющихся со змеем.



Когда Буш вскочил, «Волги» уже не было в помине. Буш потряс воздетыми к небу руками.

— Лихач чертов! Идиот проклятый, а туда же за баранку!

Он был слегка бледен.

— Номер успели заметить?

— Нет! В том-то и дело, что нет! Но вам я по край жизни... Спасибо! Вставайте.— Он протянул мне руку.

— Нога,— сказал я и коротко застонал.

Мне повезло с этой «Волгой». Я обязательно хотел попасть к нему в дом. Я сидел на земле, кряхтел и растирал колено. Потом попробовал встать, но откинулся назад.

— Больно, ч-черт!

— Ну-ка! — Генрих Осипович присел на корточки, засунул мне штанину и потрогал ушибленное место.

Я снова постонал.

— Надо бы в больницу малого,— сказал кто-то. Вокруг уже стояло несколько человек, собравшихся поглазеть на происшествие. Франт в банлоновой рубашке — он подбежал первым — спросил, вопросительно глядя на Буша, как на главного: — Может, машину пригнать? Такси?

Буш взял меня под мышки и поставил на ноги. Это получилось у него легко, на вид он был гораздо слабее.

— Можете идти? — спросил он, поддерживая меня.

— Ох! — сказал я и сделал шаг.— Вроде того!

— Опирайтесь на меня.

Генрих Осипович недовольно оглядел собравшихся.

— Ну что? Интересно, как человек упал и ногу повредил? Очень интересно? — Он по очереди посмотрел на каждого — люди стали расходиться. Буш был гораздо инициативнее и собраннее, чем полчаса назад на допросе. Там он поддакивал, тянул слова и вообще играл в Иванушку-дурачка. Хитрил? С какой целью? Правда, когда людей вызывают в милицию, они почти всегда стараются казаться не тем, что есть на самом деле... Психология-с, сказал бы сам Буш.

Он обратился ко мне:

— Я живу совсем рядом. Вот здесь. Сейчас сделаем холодный компресс на ногу. И вообще вы посидите у меня.

«Повезло», — еще раз подумал я.

Мы стояли у невысокого, по пояс, каменного заборчика. Генрих Осипович сунул руку между прутьями чугунной калитки («Как на даче», — подумал я) и отпер ее. Входя в калитку, я скосил глаза на номерной знак — там стояло: ул. Чернышевского, № 8.

Мы пошли по дорожке, посыпанной песком. Несколько тополей, клумбы, кусты сирени. В глубине

сквозного садика стоял двухэтажный коттедж с покатою крышей из черепицы, с башенкой и флюгером. По фасаду был пущен выюн с розовыми «граммофончиками».

— Симпатичный дом какой, — похвалил я. — Много человек живет?

— Внизу я, — охотно ответил Буш, — а наверху семья из двух: он и она.

— Молодежь?

— Нет, моего возраста.

— Значит, танцы ночью напролет не устраивают?

— Ни-ни.

Я старательно ковылял, наваливаясь на его плечо.

— Ох, ты! — сказал я. — И клумба кирпичом обложена. Видно, заботитесь?

— Это я, — признался Генрих Осипович. — Люблю покопаться в земле.

Пятого числа Буш провел все утро здесь, на виду у соседей — пенсионеров из дома № 10: это было проверено до его заявления. Никаких причин подозревать его не было. Он попал в поле нашего зрения потому, что был единственным хорошим знакомым Ищенко в этом городе. Парторганизация мебельной фабрики аттестовала его как пьяницу и бабника, что было нехорошо само по себе, но не являлось криминалом в данном случае.

Мы вошли в дом. Наверх вела деревянная лестница с резными перилами.

— Не туда, не туда, — сказал Буш. — Там сосед живет.

В прихожей на подзеркальнике (в зеркале отразились я и Буш, покрасневший от жары и напряжения) лежала женская сумочка. Настоящая лаковая, определил я. О такой сумочке мечтала моя жена, но найти ее можно было только в комиссионном магазине, и то с большим трудом.

Буш усадил меня на стул.

— Ох, жаряца! — простонал он, стягивая через голову рубашку с темными пятнами под мышками. — Сразу в ванную: ногу — под холодную струю. И душ примите.

— Знаете, мне неудобно как-то. Я сейчас пойду. Вот только нога пройдет, и пойду, — нетвердо сказал я.

— Слушайте! — слегка торжественно заявил Генрих Осипович. — Я человек обязательный. Вы меня из-под машины вытащили, и я у вас как бы займы взял. Я должен оказать вам услугу, в свою очередь. Вы приезжий?

— Да.

— Может быть, вам нужно что-нибудь устроить? Не стесняйтесь. Где вы остановились?

— Видите ли... — протянул я.

В этот момент открылась дверь, ведшая, по-видимому, в комнаты. В прихожую кто-то вышел. Меня не было видно: я сидел на стуле за массивным платяным шкафом.

— Геночка! — произнес веселый женский голос. «Интересная интерпретация имени Генрих», — успел подумать я.

— Я не слышала, как ты пришел. Встреча прошла на уровне? Чем интересовался наш детектив Сипарис? Он был так любезен со мной, когда я прилетела...

Буш давно уже кашлял.

— Ой, ты не один?

Теперь она, наверное, заметила мою вытянутую ногу.

Я выглянул из-за шкафа и привстал.

— Извините, я не одета, — кокетливо улыбаясь и не трогаясь с места, сказала она.

Она была в халатике до колен, расшитом райскими птицами. Колени крупные, красивые. Рослая. Аккуратно подведенные глаза. На вид лет тридцать (по паспорту — сорок один); только на лбу две четкие, как нарисованные, морщины. Ларионов, разглядывая ее карточку (фото нашли среди вещей Ищенко и копию сразу послали нам в комитет), даже вздохнул: «Наградил же бог, не обидел!» Было непохоже, чтобы она плакала в три ручья, как расписывал Буш. Он лгал. Значит ли это, что все остальное, сообщенное им, ложь? Но зачем Бушу вилать, если он ни в чем не замешан? Значит, замешан? А может, просто боится, что его могут заподозрить — знакомый, пили вместе, — и все это: сверхосторожность? На всякий пожарный случай? А может, он выгораживает ее? «Ох, и работенка же у нас, — подумал я. — Двухсменная, вредная и так далее. Почему Буш так интересовался временем убийства? Или он только делал вид?.. Как всегда, сто тысяч разных как и почему».

А Генрих Осипович между тем «расцвел».

— Этот молодой человек только что спас мне жизнь, — сообщил он ей. — Вытолкнул из-под машины в последнюю минуту... Ах, я ведь даже не спросил, как вас зовут!

— Борис.

— А меня Генрих Осипович. А это Клавдия Николаевна.

— Можно просто Кла-ава, — почти пропела она. — Я сейчас переоденусь и расцелую вас за спасение нашего дедушки.

Генрих Осипович поморщился. «Эге», — подумал я.

— Марш в ванную, Боря! Вам сейчас же нужно поставить ногу в холодную воду. Он ушибся, — пояснил он Клавдии Николаевне, не глядя на нее.

— Какая красивая у вас жена! — как бы мимоходом заметил я.

— М-м, — сказал Буш, как будто у него заболели зубы.

— Вы слегка ошиблись, — весело и спокойно ответила Ищенко. — Мы не муж и жена. Генрих, я сейчас приготовлю вам что-нибудь, вы наверняка оба голодные.

— Ради бога, не беспокойтесь! — воскликнул я.

— Ну-ну. В вашем возрасте надо любить кушать, если уж речь зашла о возрасте. — И, отечески обняв за плечи, Буш повел меня в ванную. — Это вдова моего друга, — зашептал он в коридоре. — Прелестная женщина, с характером. Овдовела несколько дней назад, а держится по-мужски: на вид, как птичка, веселая, ничего нельзя по ней сказать. «Похоже, что не только на вид», — подумал я, входя в ванную комнату.

Генрих Осипович положил поперек ванны доску. Я покорно снял брюки и сел на нее, спустив ноги в ванну. Генрих Осипович открыл кран. Тут я поднял глаза и увидел синеватое пятно в половину полтака.

— Ого! — сказал я. — Что тут у вас было?

Генрих Осипович поморгал и чуть заметно хмурился.

— Сосед наверху наполнял ванну и забылся, и вот результат.

— Но вы, кажется, поверху уже белили?

— Нашел тут мастеров. Халтурщики. Ободрали, как липку, а пятно снова проступило.

— Верно, сразу красили, — определил я. — Потолок просохнуть не успел, а они не прокупоросили.

— Сегодня утром еще подбеливали.

— А когда это случилось? В смысле — протекло? Он куснул губу и посмотрел на меня.

— Три дня назад, — сказал он. — Я в садике клум-

бу полон, потом зашел в дом, гляжу: настоящее наводнение.

— Вы знаете, помогает холодная вода! Прямотаки здорово помогает,— сказал я, массируя колено.

«Хитрил или не хитрил?» — опять подумал я.

Глава 6

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

В этой комнате пахло духами.

— Мы пока здесь посидим. Чтобы не мешать, значит,— сказал Буш.— А она соберет на стол.

Едва мы вошли, Генрих Осипович стал прятать женское белье, в беспорядке разбросанное по комнате,— он старался это делать незаметно. На стене висела картина: дородная голая красавица, прикрывшаяся чем-то легким и прозрачным. Она двусмысленно улыбалась. Под картиной стояла кровать. Двухспальная. Покрывало с кружевами, горка смятых подушек — видно, Ищенко лежала, когда мы пришли. А вот и книга, которую она читала. Я скосил глаза и разобрал: «Как только г-н Кастанед удалился к себе в келью, ученики разбились на группы. Жюльен не примкнул ни к одной из них; его сторонились, как паршивой овцы». Ого, Стендаль! «Красное и черное».

Буш сел на кровать и положил ногу на ногу.

В проем двери было видно, как Ищенко — она уже надела темное платье с вырезом — накрывает на стол. Она делала это уверенно, как хозяйка, только раз остановилась и спросила: «Где у тебя майонез для салата, Генрих? Я не могу найти». Она выставила из холодильника на стол запотевшую бутылку водки. «О господи, везет же мне! — подумал я. — Еще вечер не наступил, а меня второй раз усаживают пить».

Ни в той, ни в другой комнате полки с книгами не было. Судя по всему, существовала еще третья комната, но, наверное, нежилая, иначе Буш повел бы меня туда. «А про белье он забыл», — подумал я. В углу стоял фикус в кадке, а в землю вокруг растения были часто натканы заостренные палочки.

— Это зачем же?

— Что?

— Частокол этот. — Я ткнул пальцем.

— Чтобы кошечка не ходила, — деликатно объяснил Генрих Осипович. — А то она повадилась туда ходить, проклятая.

— Вы вообще один живете? — помолчав, спросил я.

— Один. Жена умерла. Дети разъехались.

— Много детей?

Он часто поморгал.

— Двое. Два сына. Совсем уже взрослые. Чужими стали.

К нам вошла Ищенко, шурша платьем.

— Мужчины соскучились?

— Очень!.. Между прочим, хорошая книга. — Я кивнул на Стендаля.

— А, «Красное и черное»? Вы тоже любите?

— Да.

— А помните, как Жюльен пришел убивать господа Реналь? — оживилась она. — Вы помните, он стоит с пистолетом за ее спиной и думает: «Нет, я не могу ее убить!» А потом она закуталась в шаль и стала как бы незнакома ему. Тут он выстрелил.

Ах, как это психологически точно! Я шестой раз перечитываю.

— Да, да, — сказал я. — Ваша книга? — спросил я Буша.

— Я мало читаю, — чопорно ответил Генрих Осипович. Ему не нравилось, что мы так быстро нашли тему для разговора, в котором он не может принять участия.

— Я с собой привезла, — заметила Клавдия Николаевна.

«Как странно! — подумал я. — Ее вызывают телеграммой, в которой сообщают о насильственной смерти мужа. Она спокойно собирает халатики, сумочки и еще берет книгу для чтения. Можно подумать: она знала о предстоящем и была готова к нему».

— Товарищи мужчины, давайте организованно к столу, — пригласила Ищенко. — Все готово.

— Не трудите зря ногу. Опирайтесь, — предложил Буш.

Мы прошли в соседнюю комнату.

Стол был сервирован с толком: разрезанные крутые яйца были украшены петрушкой, стояла в вазочке кабачковая икра, громоздилась тяжелая фарфоровая миска с двумя ручками — с салатом. Старый фарфор, отметил я. Была не забыта селедка, обсыпанная кружочками лука. Тут же сыр, колбаса. На блюде лежала какая-то рыбка в ржавом горчичном соусе, по-моему, это была маринованная минога — деликатес даже для Прибалтики. Все это напоминало старый голландский натюрморт. «Интересно, сколько получает Буш на фабрике?» — подумал я. Ножи и вилки лежали парами на специальных стеклянных подставках, отражавших люстру под потолком, — ее зажгли, хотя еще был день. Даже в высоком бокале топорщились бумажные салфетки.

— Ого! — воскликнул я. — Вы устроили целый пир! Мне просто неудобно.

Ищенко благодарно улыбнулась. Генрих Осипович чмокнул ее в щеку. «Она прибрала его к рукам меньше чем за три дня, — подумал я. — Особого труда это не составило».

— Чем богаты, тем и рады. Садитесь. — Буш энергично потер руки. — Водочки?

— Не пью, — сказал я.

— То есть как?

— Совсем не пью.

— Ни вот столечко?

— Тренер запрещает. Если можно, мне томатного соку. Я им и чокаться буду.

— Жаль, — сказала Ищенко.

— За ваш геройский поступок сегодня, — сказал Буш.

— Который привел к такому чудесному знакомству! — подхватила Ищенко.

Я скромно промолчал, только привстал, чтобы чокнуться. Буш выпил. И Клавдия Ищенко выпила. Стопку она держала, оттопырив мизинец.

— Ха-арошо! — сказал Буш, отдуваясь. — Лучшее лекарство от всех волнений жизни.

— Да уж! — сказал я. — Лечит так лечит. Было бы только от чего.

— Вы-то молодой. У вас все еще впереди.

— Так точно. А что именно впереди?

— Всякое, — сказал Буш. Помолчал и помотал в воздухе растопыренной пятерней. Потом туманно пояснил: — Жизнь, одним словом.

— Но жизнь прекрасна и удивительна, как говорят классики! — воскликнул я, внутренне поморщившись. — Читайте классиков!



Он вздохнул, опять разлил. И опять Ищенко выпила с ним. Довольно лихо это у нее получалось: даже у Генриха Осиповича недовольно дрогнули щеки.

— Sie nehmen eine Festung nach der anderen¹, как сказал бы немец,—любезно повернул я.

Глупо, конечно, было надеяться, что Кентавр будет выпячивать свое знание немецкого языка, но на всякий случай я вставлял немецкие фразы, где мог. Кентавр отлично владел немецким. Я тоже. Это была одна из причин, почему выбор пал на меня, а не на Ларионова: он лучше знал английский, чем немецкий.

— А что это значит? — поинтересовался Буш.

Я перевел.

— Вы немецкого совсем не сечете? — спросил я.

— Откуда же? Я институт не кончал, в инженер-ры вышел самоучкой,—грустно сказал Буш.

Мне вдруг стало как-то неудобно. Я ставил ловушки этому пожилому человеку и притворялся, будто у меня страшно болит нога (на самом деле она только слегка саднила). А Буш мог быть совсем ни при чем. «Но я не имею права на это чувство неловкости»,—подумал я. «Я буду очень рад, если убийца не он»,—опять подумал я. Но ведь есть же какая-то вероятность? Есть. Поэтому я и сижу здесь. Почему Буш так странно вел себя на допросе?

— Мой покойный супруг болтал по-немецки, как немец,—сказала Клавдия Ищенко.—К нам приезжала делегация из ФРГ, так он им все переводил.

— Где он учился?

— Нигде. Просто он жил до войны здесь, в Прибалтике.

— В этом городе? — воскликнул я.

— Да. И в других местах тоже.

— Где? Мне очень нравится Прибалтика, вот я и интересуюсь.

— Он мне не сообщил,—как-то надменно сказала Клавдия Николаевна. И мне показалось: сказала правду.

— Вы его не любили? — вдруг спросил я.

Она уже заметно опьянела.

— Он был труслив, как заяц, скуп и скучен. Он всю жизнь чего-то боялся. Во всяком случае, ту часть жизни, которую прожил со мной.

— Вот странно! Чего ж он мог бояться?

— Не знаю.—Она вдруг как-то сразу стала старше и теперь выглядела на все свои сорок лет.—Он боялся и меня. Вообще хватил о нем! Я выскочила за него, когда мне было двадцать два, а ему—четыре десятка.

— По любви? — быстро спросил я.

— Тогда он казался мне настоящим мужчиной.

Буш молчал, моргал и хмурился. Интересно: как отличалась характеристика Тараса Михайловича Ищенко, данная на допросе Бушем, от того, что говорила о нем сейчас Клавдия Николаевна!

— А вы немецкий хорошо знаете? Изучали? — не очень ловко перевел разговор Буш.

— И сейчас учу в институте,—объяснил я.

— По какой же специальности будете?

— Буду-то? Инженер-энергетик.

Как раз из этого института я ушел по комсомольской путевке на работу в наш отдел. Про отца я помнил всегда, но узнал подробности его гибели, когда учился на четвертом курсе. Пепел Клааса стучал в мое сердце? Нет. Просто я понял, что должен сделать свой взнос в борьбу с фашизмом, в которой участвовал мой отец.

¹ Вы берете одну крепость за другой (нем.).

— Сюда на отдых?

— Не совсем,— сказал я.— Хочу оформиться, пока каникулы, матросом в сельдьяную экспедицию. Мне деньги нужны: на одну стипендию не проживешь, да и одеться прилично хочется... Сами понимаете. Девочку там в кино сводить... Но, говорят, трудно устроиться.

— Устроиться — что! Надо ждать, пока визу откроют.

— Во-во!

— Значит, деньги нужны? — раздумчиво сказал Буш.

— Да,— сказал я.— Прямо задыхаюсь.

— Пошли! — сказал он, вылезая из-за стола.— Ах да, у вас же нога... Слушайте, мой сосед сверху, — он ткнул пальцем в потолок, — его фамилия Суркин, он работает в рыбном управлении. Он кое-что может. Сейчас я к нему поднимаюсь.

И Генрих Осипович исчез за дверью, зачем-то включив по дороге еще одну лампу — на журнальном столике.

— Светло же! — запротестовал я вдогонку.

— Пусть,— сказала Клавдия Ищенко, подвигая свой стул ко мне.— Какие у тебя чудесные ямочки на щеках, Карик! Просто прелести!

— Меня зовут Боря.

— Ах, простите, у меня есть знакомый в Новосибирске — Карик. Я привыкла к нему и теперь по привычке назвала вас так.

«Наведем справочки», — мелькнуло у меня в голове.

— Вообще-то ты похож на скандинава. Цветом волос и сложением.

— Я живу в Москве, — невпопад сказал я. И отодвинул стул, потому что вовсе не хотел, чтобы Буш смотрел на меня косо, когда вернется. Но и с Клавдией Ищенко ссориться было нельзя. «Положеньице!» — подумал я.

Когда планировалась эта операция, предполагалось, что придется иметь дело как с приезжими, так и с местными жителями, а потому студент должен быть приезжим сам. Почему именно из Москвы? Московский студент боек и общителен, это раз. Во-вторых, москвичи занимают в какой-то мере привилегированное положение — жители столицы! — и к ним относятся с большим уважением, значит, легче заводить знакомства.

— Ах, Москва! — сказала она, закатывая глаза.— Театры, концерты! Как я мечтала о жизни в столице!

— Не получилось?

— Все мой Ищенко! Искал тихой заводи, говорил: в Москве люди слишком на виду. И чего боялся?... Ну, ладно! Теперь я свободна. Как птица. Куда захочу, туда полечу! Или я уже стара? — спросила она с вызовом.

— Вы прекрасно выглядите, — сказал я.

— А ты действительно ничего парень. Давай выпьем на «брудершафт».

— Придет Генрих Осипович — и выпьем. А вы помните, как в каком-то рассказе один человек напился и стал натягивать на себя велосипед вместо одеяла? Правда, забавно? Вы любите литературу?

— Обожаю! Знаете, я скажу вам, в детстве я мечтала стать писательницей.

— А кем стали?

— Кем? Домработницей у мужа! — горько отрезала она.

И опять ясно обозначились у нее на лбу две морщины-трещинки: печать совместной 19-летней жизни с Тарасом Михайловичем Ищенко. И опять она придвинулась ко мне. «Вот это атака! — подумал я, снова отодвигаясь. — Как в плохой кинокоме-

дии. Держись, студент Вараксин! И когда она успела набраться — «пардон» за выражение?» От нее шел сладковатый запах духов.

— «Шанель»?

— Что?

— Вы употребляете «Шанель»?

— Ах, это? Да, мне достали по знакомству один флакончик. Люблю шик!

— Дорогие духи, — заметил я.

— Плевать! Выпьем?

— Подождем все-таки Генриха Осиповича.

— Да? — сказала она капризно. — Мужская солидарность?

И встала, отошла к приемнику: стала крутить ручку настройки.

Восел Буш, кинул быстрый взгляд сначала на нее, потом на меня и сказал:

— Странно что-то! Никого у них нет. Понятно, она сейчас гостит у родных на Смоленщине, но Суркин? Не пришел еще с работы? Уже шесть, он в это время всегда бывает дома. Очень странно, — опять повторил он.

— Шесть? — переспросил я. — Так мне пора собираться. Извините, что нарушаю компанию. Было очень хорошо.

И я встал: я хотел застать своих соседей по номеру, пока они не исчезли куда-нибудь на весь вечер.

— Ну вот еще! — Буш замахал руками. — Посидим, посидим еще! Выпьем! Ах, да, вы не пьете. Клавочка, что же ты, наш гость заскучал?

— Генрих Осипович, — я слегка понизил голос, — мне, право, неудобно, у меня свидание, понимаете, я тут познакомился с одной... м-м... девушкой.

Буш уставился на меня. Я скорчил ему физиономию, которая должна была означать, что я продвунная bestия. Он, по-моему, даже обрадовался.

— Вас понял. Снимаю все возражения. И вот что: с Суркиным я обязательно поговорю. Сегодня же. А вы завтра зайдете к нему на работу, вот адрес. — Он взял с серванта карандаш и стал писать на бумажке. — Слушайте, а как же вы сегодня с больной ногой на свидание пойдете, а?

Об этом я забыл. Видно, мне придется прихрамывать весь вечер: вдруг еще столкнусь с Бушем. Хотя сегодня он уже, кажется, не выберется из дому.

— Вроде лучше стало, — сказал я и сделал несколько пробных шагов по комнате. — Видите!

— Отлично, — сказал Буш. — Вы ведь спортсмен, Боря? Идемте, я вас провожу.

— Всего хорошего, Клавдия Николаевна, — попрощался я.

— Желаю удачи, — ответила она, не отрываясь от приемника.

Буш открывал двери и пропускал меня вперед. Мы остановились с ним в прихожей, не внутренней, с зеркалом, а там, где была лестница.

— Слушайте, — сказал Генрих Осипович, вертя пуговицу на моей рубашке, — если вам нужны взаймы деньги, то я всегда готов. Я вам очень, очень обязан...

Я случайно поднял глаза вверх. На втором этаже, там, где деревянная лестница кончалась и образовывала балкончик, была приотворена дверь: оттуда на меня кто-то глядел. Я отвел взгляд. Горячо сказал Бушу:

— Конечно! Большое спасибо! Но пока у меня есть.

— И держите со мной связь, одному в чужом городе плохо. Вы в гостинице остановились?

— Да.

— В каком номере?
 — В триста пятом.
 — Вот это совпадение! — Буш внимательно поглядел на меня, поморгал.
 — А что?
 — Да ничего... Заходите ко мне почаще. Я бы пригласил вас остановиться у себя, но сами видите... Он хихикнул. — Да и старик я, какая вам компания!.. Но, может, Клавочка вас развлечет? Заходите!

«Он не далек от истины, — подумал я. — Эта Клавочка очень хочет кого-нибудь развлекать. И у Буша она не задержится».

— Она разве не собирается уезжать? Домой?

— Пока нет. Хочет прийти в себя как-то, позагорать. Вы не думайте, она очень переживает.

«А мне-то зачем врать? — опять подумал я. — Или ему просто неудобно за нее?»

— Спасибо. Буду заходить.

Я снова мельком взглянул на лестницу: там ничего не было. Странный сосед у Буша! Почему он прячется? «Суркин похож на сурка, — машинально подумал я. — Интересно, где он был во время убийства?»

Глава 7

КОМАНДИРОВОЧНЫЙ ИЗ САРАТОВА

Я вошел в номер уже не такой бодрый, как утром: немного устал. По-прежнему парило. Но теперь над городом зашла краем клубящаяся туча. Через минуту мог брызнуть дождь, — погода в Прибалтике меняется всегда внезапно. «Километра в пяти уже, наверное, льет», — подумал я.

Мне повезло: оба соседа были в комнате. Войтин взбивал помазком в чашке мыльную пену — собирался бриться.

— Я смотрю, вы возвращаетесь к цивилизованной жизни, — заметил я.

— Смотри, смотри, студент, — пригласил Войтин. — Учись. Науки юношей питают.

Марлевые занавески, которые утром летали на сквозняке, были раздернуты и привязаны тесемками к гвоздям в оконной раме. Прикреплять занавески было не в характере моряка. Скорее всего это сделал второй сосед. Сам он лежал сейчас животом на подоконнике и смотрел на площадь. Я подошел к окну, тоже поглядел и громко сказал:

— Гроза как будто собирается.

Сосед выпрямился. Он был аккуратен, волосы гладко причесаны и, кажется, смазаны бриллиантином, в очках (он стоял так, что в стеклах отражалось грозное небо и глаз не было видно), среднего роста. Он сказал тихим голосом:

— Очень вероятно.

И представился, слегка поклонившись:

— Пухальский, Николай Гаврилович.

Он был четвертым из тех, что пока интересовали меня.

— Ich grüße Sie in diesem schönen Haus. Ich heiße Boris Waraksin¹, — шутиливо сказал я. Просто так

¹ Приветствую вас в этом прекрасном доме. Меня зовут Борис Вараксин. (нем.)

сказал. Потому что вряд ли он мог быть причастным к событиям 44-го года: ему тогда было 19 лет.

Он слегка удивился. Поднял жиденькие брови над золотой оправой.

— Sehr angenehm, Herr Waraksin¹, — ответил он.

— Verzeihen Sie, daß ich... deutsch spreche. Das ist nur ein Versuch... Im nächsten Jahr habe ich Staatsprüfung und möchte mehr Praktik haben².

— Praktik — das ist das wichtigste für die Sprachbeherrschung³.

— Ну и произношение у вас, позавидовать можно, — после маленькой паузы сказал я. — Настоящий берлинский диалект!

— Я служил после войны в Берлине, — по-прежнему тихо сказал он.

— А воевали?

— Чуть-чуть, в конце войны.

— Наверное, училище кончали? — догадался я.

— Нет, я был до сорок четвертого года на оккупированной территории.

Это мы знали сами: из его анкеты, затребованной из Саратова. В армию он попал на Карпатах (из тех мест, кстати, был родом Тарас Михайлович Ищенко), а что делал Пухальский до этого, в настоящее время проверялось. Меня интересовал ряд вопросов, которые я бы охотно задал своим соседям по номеру. Например: откуда в кармане убитого взялся черный слон, — он не давал мне покоя. И один из них должен был знать это. Но трудность нашей работы состоит в том, что прямые вопросы не имеют смысла, пока он не обнаружен. До этого они чаще всего приносят вред. Кто враг, кто друг, было пока неясно. Значит, будем ходить вокруг да около.

— Партизанили, наверное? — спросил я с уважением.

— Нет.

— По годам не вышли?

— Нет.

Я спросил: почему же тогда? Он сказал, что я странный человек и что если б я был под немцами («...а вам просто повезло во многих отношениях, в том числе и в смысле возраста»), то не задавал бы таких вопросов. Там все было по-разному, и далеко не все участвовали в борьбе. Он покашлял в кулак.

— Значит, труса праздновали! — брякнул я.

Я хотел вызвать его на спор, потому что в споре не только рождается истина, но и познается собеседник. Кроме того, мне показалось, что тихому Пухальскому по закону контрастов должны нравиться настырные люди. А я хотел понравиться ему.

Но он вроде согласился со мной.

— Возможно. Меня, например, насильно мобилизовали тогда в полицию, я несколько месяцев служил, а потом бежал.

— Куда?

— В другой район.

— Так надо было к партизанам бежать! — гнул я свою линию.

Но он снова поддакнул:

— Наверное, надо было.

¹ Очень приятно, господин Вараксин (нем.).

² Извините, что по-немецки... Это только попытка... На будущий год у меня госэкзамен, и я стараюсь больше практиковаться (нем.).

³ Разговорная практика — первое условие для успешного овладения языком (нем.).

А Войтин молчал. Хотя, мне казалось, он должен был вмешаться в этот разговор. Он сосредоточенно водил бритвой по щеке, не отрывая глаз от зеркала. В комнате было еще светло, но бриться стало труднее. Он молча прошел через всю комнату и включил верхний свет,— в черном пластмассовом приемнике на столе, который все время что-то бубнил, раздался короткий сухой треск. Войтин вернулся к зеркалу.

— А вы бы ушли? — вдруг спросил меня Пухальский.

— Куда?

— В лес к партизанам?

Я немного подумал.

— Да. Хотя... — я еще помедлил, — вообще-то вы правы: тогда, наверное, все было гораздо сложнее, чем кажется сейчас.

— Вот видите, — тихо сказал Пухальский.

Мне вдруг показалось, что он совсем не такой вялый, а, наоборот, твердый, упрямый человек. Он вынул гребешок и причесался, хотя в этом не было никакой надобности, — просто привычный жест. Он, судя по всему, следил за своей внешностью.

Приемник на столе захрипел, и кто-то красивым голосом запел «Серезжку с Малой Бронной».

Пухальский сделал погромче.

— Чудесная песня!

Мне она тоже нравилась, но я буркнул, продолжая играть роль:

— Сплошная сентиментальщина!

— Тю-тю, студент! — коротко сказал Войтин, на секунду оторвался от зеркала и покрутил указательным пальцем возле виска.

Но Пухальский вступился за меня:

— Что ж тут такого? Песня не может нравиться всем поголовно.

Войтин молча пожал плечами. Пухальский вернулся к нашему разговору:

— В те годы я был очень неуравновешенным юношей, слабым, с комплексом неполноценности, как теперь говорят на Западе.

— Но с годами это проходит? — опять задрался я.

— У кого как.

— По Фрейд, такой комплекс есть почти у каждого.

— Я с трудами Фрейда незнаком, только слышал о них.

— А что вы слышали?

Войтин кончил бриться и теперь собирал бритвенные принадлежности, чтобы идти в туалет мыть их. Все-таки он, наверное, раньше боялся порезаться, потому что теперь заговорил:

— Тебе бы в милиции работать, студент!

— А что?

— Вопросов много задаешь.

Пухальский внимательно взглянул на меня и сказал:

— Ну, зачем вы обижаете товарища?

— Разве это обидно? — удивился я. — Моя милиция меня бережет. У меня кореш в Москве там работает, мировой парень. Или вы считаете это зазорным?

— Ни в коем случае! Я, наоборот, думал, что это вы так отнесетесь. То есть не думал, но ведь могло же быть такое, — путано сказал Пухальский.

— Нет! — решительно возразил я.

— Вот и чудесно! А я, знаете ли, перед вашим приходом любовался из окна на город; здесь только третий этаж, но под уклон, и поэтому открывается чудесный вид.

— Вы в первый раз здесь?

— Нет, — ответил Пухальский. — А как эта река называется? Которая течет по городу, вон там?

Я не знал. Войтин сказал, как она называется, и вышел, держа перед собой в руках бритвенный прибор. Полотенце он повесил на отставленный указательный палец, чтобы не испачкать в мыле.

— Наш сосед отлично знает город, — заметил Пухальский.

— Он когда-то жил здесь.

— А потом?

— Он вам ничего не рассказывал?

— Нет.

— У него было большое горе, и он до сих пор не справился с ним, — сказал я и, глядя на Пухальского в упор, добавил: — Какой-то подлец выдал его жену во время войны гестаповцам. Она была связанной партизанского отряда.

— Да что вы!

Он снял очки в золотой оправе. Теперь он казался совсем беспомощным и растерянным: у него была сильная близорукость. Он вынул из кармана отглаженный платок, подышал на стекла и стал протирать их.

— Как была ее фамилия?

— Круглова. — Теперь пришел черед удивляться мне. — Вы знали ее?

— Откуда же? Просто на днях мне рассказали о гибели здешнего подполья. И показали, кстати, место, где был домик этой Кругловой: его сожгли немцы, сейчас там сквер.

— Где это?

— Улицы не знаю, а так, зрительно, помню. Я был в гостях у инженера с мебельной фабрики — я работаю по мебели и сюда приехал в командировку, — мы стояли с ним у окна, он рассказывал. Там еще присутствовал один старичок, некий Ищенко, но он отошел и не стал слушать. Он сказал, что не любит жутких историй. Забавный старикан был! Между прочим, он жил как раз на вашем месте. Его стукнули какие-то хулиганы насмерть три дня назад.

«Еще одна версия», — отметил я про себя.

— Хулиганы? Какие? Поймали их хоть?

— Я ничего не знаю... А Ищенко был невредным человеком. Любил анекдоты и преферанс... Непьющий.

«Ага! — подумал я. — Значит, с Пухальским он тоже не хотел пить».

Я поежился.

— Тут вечером-то на улицу не выйдешь, а?

— Его убили днем. По голове ударили.

— Может, сам упал и стукнулся?

— Нет, его убили.

— Казалось бы, такой тихий городок! — сказал я. — Древний, улочки каменные, и вообще...

— Никогда не верьте внешнему виду, — наставительно сказал Пухальский, надевая чистые очки. Спрятал платок в карман. Улыбнулся: — Вы еще очень молоды, Боря, разрешите вас так называть, и у вас нет жизненного опыта.

— Что верно, то верно! — сказал я.

— Вы не обижайтесь. Это как раз тот недостаток, который исправляется с годами. Простите, вы курите?

— Курю. Но... — я похлопал себя по карманам, — на данном этапе ничем не могу быть полезен.

— Вот досада! Так курить хочется, а купить забыл. Придется идти вниз.

— Так сейчас вместе пойдем. А что он рассказывал про подполье, этот инженер?

— Кто? Ах, Буш этот!

«Ого!» — подумал я.

— Он сам почти ничего не знал. Он говорит, что поселился здесь в сорок восьмом году, а всю эту историю ему пересказал сосед, который живет над ним.

«В этом деле явно не хватает Суркина», — подумал я. — Все идет к тому». И спросил:

— А сосед партизанил?

— Не знаю. Он чудак какой-то. Когда мы выходили от Буша вместе с Ищенко, он спокойно сидел на скамеечке и дымил папиросой. Потом увидел нас, вдруг бросил папиросу, схватился за скулу и отвернулся. Мы отошли шагов на двадцать, я оглянулся: он пристально смотрит нам вслед и за щеку уже не держится.

— Пьяный? — предположил я.

— Скорее человек с расстроенной психикой.

— Ну, может, он уже сидит в сумасшедшем домике. Давно это было? — равнодушно спросил я. Пухальский поднял глаза к потолку.

— Второго числа, — вспомнил он.

«Ищенко увидел Суркина второго», — подумал я. — Третьего числа он с кем-то встретился. Пятого убит. Цепочка? Может быть. Если только Буш не придумал зачем-то насчет третьего числа».

Тут вошел Войтин; он был чисто выбрит и казался намного моложе, чем утром. Он повесил полотенце на спинку кровати, расправил его. Потом напил в ладонь одеколон — по комнате разошелся щекощущий ноздри запах — и, зажмурившись, плеснул себе в лицо. Интересно, куда он собрался? Я-то думал, что к концу дня он будет пьян в лоск.

— На танцы? — спросил я.

— Ага. Гопак плясать буду.

«И еще интересно», — подумал я, — зачем ему утром был нужен автобус?»

— А по правде?

— По правде, по правде, где она, правда? — проворчал он. — Надоело в номере валяться и польки по радио слушать, вот что! Пойду в кабак, посижу с людьми. Приглашаю.

— Спасибо, у меня свидание с девушкой.

— Вы? — обратился Войтин к Пухальскому.

— Я же не пью, вы знаете.

«Я не знал», — подумал я.

Он продолжал:

— Грех в такой вечер под крышей сидеть: жара спала, сейчас гулять хорошо.

— Тучи! — сказал Войтин.

— Хорошо для здоровья: ионов в воздухе много.

Я вдруг представил себе Пухальского маленьким, с ранцем за спиной. Наверное, в школе его звали для краткости «Пух». Во всяком случае, это подошло бы ему. «Эй, Пух, пошли в расшибалочку играть?» «Мне мама не разрешает».

— У вас табачку не найдется? — спросил я Войтина.

— Я уже спрашивал, — сообщил Пух.

— Кончились, — сказал Войтин.

— Может, у покойника в тумбочке завалялись.

— Он не курил.

— Жалко! Но какое совпадение: сразу у троих курево кончилось! Надо идти покупать.

— Меня не ждите, я еще буду гладить брюки, — сказал Войтин.

— Мы вам купим.

— Сам куплю, когда буду спускаться.

— Пойдемте, Николай Гаврилович?

— Да-да, сейчас.

— Накиньте пиджачок, если потом гулять собираетесь: погода ненадежная, вот-вот хлынет дождь, — посоветовал я.

Он вдруг почему-то смеялся. Или мне показалось?

— Я так пойду.

— Слушайте, правда, где ваш пиджак? — спросил Войтин. — Вы каждый вечер в нем ходили, а теперь я его не вижу.

— Забыл где-то.

— То есть как где-то?

— На пляже.

«Странно! — подумал я. — Пиджак — все-таки вещь дорогая, а он даже не пожаловался: забыл, и все». Я почему-то вспомнил, что убитый Ищенко на фотографии был в пиджаке. Днем, в жару?

— А как здесь с погодой? — спросил я.

— Очень жарко! Может, за десять дней первый раз дождь намечается, — быстро ответил Пух. И, мне показалось, даже облегченно вздохнул оттого, что переменилась тема разговора. — Идемте?

— Счастливого провести вечер, — пожелал я Войтину.

Он не ответил.

Мы прошли коридор и стали спускаться по лестнице. Пух шел первым. Одного из прутьев, державших ковровую дорожку, не было, и ковер поехал под ногами. Пух чуть не упал. Я успел ухватить его за руку выше локтя. Он был в плотной, слегка великоватой ему рубашке, и трудно было сказать, крепкого ли он сложения, а тут я ощутил под пальцами литую, тренированную мышцу, как у боксера-перворазрядника. Я никак этого не ожидал. Я вспомнил «рабочую» характеристику Кентавра: «В совершенстве знает немецкий язык, крепок физически, любит выпить...» Нет, этот не любит. И я сказал:

— Ого, у вас прямо чемпионские бицепсы!

— Я занимаюсь гантелями, — тихо ответил Пух (нет, все-таки Пухальский!). — У меня слабое от природы здоровье, я его укрепляю. Да к тому же оно расшатано неумеренностью.

— В каком смысле?

— В вашем возрасте я любил заглядывать на донышко, — самодовольно сказал Пухальский. — Я пил, простите, как лошади!

Глава 8

КТО ЧТО КУРИТ

Табачный ларек около входа в гостиницу был еще открыт. Старушка в окошке — очки на носу, губы поджаты — считала на блюдце мелочь.

— Будьте добры, мне две пачечки «Трезора», — попросил Пухальский, наклонившись к окошку. — Самые благородные и безвредные сигареты!

— Мне «Джебл». Столько же.

— Тоже предпочитаете болгарские? А наш моряк курит исключительно «Беломор». Я не люблю папирос, они часто гаснут, и их надо сильно тянуть. Я машинально посмотрел на витрину: «Беломор-канал» был выставлен.

— Мать, «Беломор» редко бывает?

— А всегда... Почитай, месяц торгую без перебоя.

— Везет нашему соседу, — заметил я.

В тот промежуток времени, когда был убит Ищенко, Войтин выходил за папиросами. Он отсутствовал 20 минут, по показаниям дежурной. Чтобы не торопясь спуститься сюда и вернуться на третий этаж, нужно максимум три минуты. Может быть, он про-



гуливался? Нет, он твердо сказал: ходил за папиросами. Когда надо доказать алиби с точностью до нескольких минут, человек подробно указывает, что он делал. Может быть, этот киоск был закрыт и Войтину пришлось идти до следующего?

— О чем задумались?

— А? Вспомнил одну веселую историю.

— Расскажите.

Я закурил и рассказал старый анекдот. Пухальский посмеялся. Потом он рассказал свой анекдот, и теперь захохотал я.

— Вы в какую сторону направляетесь, если не секрет? — спросил Пухальский благожелательно.

— А вы?

Я не хотел, чтобы он шел за мной в гостиницу.

— Куда глаза глядят.

— Могу вас проводить, имею четверть часа свободного времени. А потом убогу. Идет?

— Конечно, конечно.

Мы пошли по бульвару, который начинался за гостиницей. Еще не смерклось. Тучи разметало по небу, и над крышами проступила полоса заката.

— Слушайте, вы сказали: его фамилия Буш, ну... того инженера, что рассказывал про подполье? А его зовут не Генрих Осипович? Бегемотик такой?

Пухальский остановился: слепо блеснули очки.

— Именно.

— Господи! — сказал я обрадованно. — Как тесен мир! Я ж его буквально четыре часа назад вытолк-

нул из-под машины! Вот так «Волга» — р-раз! А он идет себе... Я его в последний момент толкнул! Мы познакомились. Он меня к себе зазвал.

— Ногу вы растянули, когда его спасали?

«Хм!» — подумал я. Я на всякий случай слегка прихрамывал.

— Ага! Он как вам показался? По-моему, ничего мужик, верно?

— Не знаю, — уклонился от прямого ответа Пухальский. — Я только один раз был у него. Инженер он толковый, наладил в цехе производство стандартной разборной мебели.

— А квартирка у него обставлена подходяще, красивые картины висят. Вам понравилось? Он рублей двести получает, наверное. Что еще человеку надо?

У нас получался не то чтобы искренний, но довольно непринужденный разговор: в таком собеседник легко выкладывает свое отношение к тому или иному в жизни. Но Пухальский только неопределенно хмыкнул.

— Насчет женщин он тоже не промах, — добавил я.

— С чего вы решили? — вдруг заинтересовался Пухальский.

— У него такая красotka была, когда мы пришли!

— Да?

— Ага! Вы как насчет этого вопроса?

Он пожал плечами.

Из него трудно было что-нибудь вытянуть. Это напоминало игру: «Барыня прислала сто рублей, что

хотите, то купите, «да» и «нет» не говорите, белое и черное не выбирайте...» Как будто он дал зарок не говорить ничего определенного!

— Вы москвич? — спросил он, в свою очередь.

— Да, — сказал я. — А что?

— Да так, ничего. Заметно. — Он сказал это без холода, скорее даже с одобрением.

— Москвичей узнают сразу, — гордо сказал я. Потом заметил как бы мимоходом: — Дождя-то не будет. Так что можно и без пиджака.

Он сделал вид, что не слышит, и, согнувшись, стал раскуривать сигарету. Мне пора было в гостиницу: я увел его достаточно далеко. Еще по дороге надо было сделать одно дело.

— Ну, я побегу, Николай Гаврилович, — сказал я.

Он распрямился.

— Что, пора уже? Хорошая девушка? Ну, не уроните чести нашего номера.

Я свернул с бульвара и, попав на параллельную улицу, нашел телефон-автомат. «Привет от Коли, — сказал я, набрав номер. — Вы предлагали Клавде опознать... дядю?» «Она сказала, что ей тяжело его видеть. Мы не настаивали». «Опишите подробно, как он был одет?» «Темно-синие лавсановые брюки, немного коротки ему. Белая простая рубашка. Пиджак...» «Стоп! Какой пиджак?» «Серый, в полоску». «Покупной или сделан на заказ?» «Венгерский». «Какая была погода в утро происшествия?» «М-м, жара». «Дождь не собирался?» «Нет». «Проверьте, есть ли в карманах табачные крошки — отдельно в брюках и в пиджаке. Второе: работала ли табачная лавка у входа в гостиницу в то утро. Третье: соберите сведения о соседе Генриха с улицы Чернышевского. Он живет наверху, на втором этаже. Свяжитесь с Новосибирском: меня интересует друг Клавды, некий Карик. Где он сейчас? Все».

Я повесил трубку и быстро пошел к гостинице. По лестнице я поднимался осторожно, потому что вовсе не хотел столкнуться с Войтиным. По коридору второго этажа, миновав сваленные у стены доски, я прошел к столику Быстрицкой. Было без пяти восемь. Я скосил глаза на щиток с ключами, «305» висел на гвозде. Войтин уже ушел. Быстрицкая что-то писала в книге дежурства. Рядом стояла ее сменщица.

Я постучал костяшками пальцев по столу.

— Тук-тук, можно войти?

Сменщица неодобрительно покосилась на меня. А Быстрицкая подняла голову.

— А, это вы?

— Точен, как английская королева, — сказал я, показывая на часы.

Глава 9

«ТЕБЯ КАК ЗВАТЬ?» «НИКАК»

Вот теперь на улице смеркло. Туча опять сгустилась над городом, бульвар потемнел (фонари еще не зажглись), поднялся ветер и зашелестел листвою.

Я взял Быстрицкую под руку.

— Вам не холодно?

Она сказала, что не очень. Я стал снимать свою куртку — старенькую, «студенческую».

— Нет, неудобно.

— Бросьте! Если холодно, надо утепляться: это естественно.

— Про меня и так сплетни разводят. Увидят, что я в вашей куртке, совсем заедят.

— Никого ж нет.

— Это только кажется: здесь все всех знают.

Она была в клетчатом платье, юбка выше колен. Через плечо висела сумка. Ветер путал ей волосы, и время от времени она гордо откидывала голову.

— Куда мы идем?

— Я домой, а вы — не знаю. Наверное, провожаете меня.

— Слушайте, это нечестно! Давайте посидим в тепле, в кафе каком-нибудь.

— Не хочу.

Я заступил ей дорогу.

— Раечка, вы только представьте себе: я сейчас приду в номер, я совсем один, и мне будет так грустно. Я не зажгу свет, сяду на кровати и буду плакать горячими слезами.

Она засмеялась.

— А вы свет зажгите!

— Вот видите, какая вы жестокая! — сказал я. — Вы, между прочим, похожи на какую-то актрису: не могу вспомнить, как ее зовут.

— Мне уже говорили, что я напоминаю Барбару Брыльскую. Вы не новы. У меня только цвет волос другой. А правда, похожа? Вы тоже это находите?

— Вылитая Барбара, — сказал я торжественно. — Барбара, в кафе пойдем?

— Нет. Вы женаты?

— Женат.

— Странно, обычно говорят, что нет. А почему вы кольцо не носите?

— Не люблю.

— Ваша жена тоже не носит?

— Конечно.

— Так изменять удобнее. Вы своей жене изменяете?

«Вот черт! — подумал я. — Но другого-то выхода у меня не было: как еще я мог с ней познакомиться? Мы расстанемся добрыми товарищами, но часа два мне придется корчить из себя бог знает что».

— Я люблю ее, — сказал я.

— А она красивая?

— По-моему, да.

— Наверное, красивая. У вас должна быть красивая жена.

— Послушайте, мне совсем не хочется говорить с вами о ней. Давайте говорить о вас. Вот вы такая хорошенькая, и, наверное, отбоя нет от женихов.

«Как я старомодно сказал! — подумал я. — Наверное, так говорил с ней Тарас Михайлович Ищенко».

Она скорчила гримаску.

— Поберегите комплименты для жены. А потом... мне никто не нравится.

— Так уж никто?

— Не знаю. Я, наверное, легкомысленная. Здесь есть один парень, он влюблен в меня по уши, ну а мне интересно с людьми, которые рассказывают всякие истории... ну, словом, от которых я что-то узнаю. Здесь же страшная провинция, вы себе представить не можете! А он ревнует.

— Разве что-то узнать можно только от приезжих? Вы читать любите?

— Когда есть свободное время, читаю.

— Толстого читали?

— Какого? Льва? Мы его в школе проходили.

— Проходи-или! — передразнил я. — Вы «Анну Каренину» читали?

— К нам приезжал театр, я постановку смотрела. Скучища!

— Господи! А «Холстомер»? Когда старый мерин ночью рассказывает лошадям историю своей жизни...

— Нет! — заявила она. — Все Толстые, там, Чеховы — они устарели. Они писали не про нас, мы совсем другие.

— Ну, знаете!

— А на вкус и цвет товарищей нет, известна вам такая поговорка?

— Известна, — сказал я.

Она спросила меня, не в отпуск ли я приехал. Я изложил свою историю. Она сказала, что завидует мужчинам и что женская доля гораздо скучнее и непригляднее: женщин матросами не берут.

— Давайте посидим на скамейке, если не совсем замерзли, — предложил я.

— Да нет, ничего.

Мы сели.

— Правда, возьмите куртку.

— Ну, давайте. А вы?

— Я закаленный.

— Вы имейте в виду: ночью в гостинице бывает холодно. Здание сложено из камня, старое и сырое. Вы попросите теплое одеяло у Хильды — ну, она меня сменила, — она добрая, даст вам.

— Спасибо. Трудно работать целые сутки?

— Потом отсыпаемся. И на дежурстве можно поспать: у нас только сорок восемь номеров, даром, что вестибюль громадина, а трехзначные номера комнат — липа, первая цифра обозначает этаж. Горсовет хочет новую гостиницу строить, та будет многоместная.

— Перейдете туда?

— Здесь-то надоело! Уехать бы за тридевять земель!

— А мне нравится ваш город: море под боком, и вообще...

— Разве это море! В прошлом году я была на юге — там о'кей!.. А здесь дождь зарядит и идет месяц. Знаете, как действует на нервы, ужас!

— Тогда уезжайте.

— Никто не берет. Вот вы бы не были женаты, увезли бы меня? — Тоном она дала понять, что это шутка.

— Обязательно, — сказал я.

— Знаете, за что мужчина нравится женщине? За любезность, за то, что он джентльмен и уступает ей. Но он не должен принимать женщину всерьез, тогда с ним легко и приятно. Я вам выдаю наши секреты, да? А тот парень, про которого я говорила, он сухарь, он все понимает только всерьез: давай женимся, давай будем любить друг друга до конца жизни!

— Бывает, — сказал я.

Мы сидели возле детской площадки. Совсем стемнело. Зажглись газовые фонари, дававшие какой-то ядовитый зеленый свет. От деревьев упали тени. Мальчуган лет шести возился в песочной куче, огороженной барьерчиком. Напротив нас — в тени на скамейке белели только лица — устроилась парочка. Он обнимал ее, а она визгливо хохотала.

— Противная она, верно? — кивнула Быстрицкая.

— Зачем так зло? Вы же ее не знаете.

— А вы до-обренький! — протянула она. — Между прочим, вы на несчастливом месте поселились.

— В каком смысле?

«Интересная ассоциативная связь», — подумал я, — «добренький» и — Ищенко».

— Неужели соседи не рассказали?

— Нет.

— Человек, который жил на вашей койке, убит.

— То есть? — переспросил я с глупым выражением.

— Очень просто: у-бит, — повторила она. И мне показалось: с удовольствием.

— За что?

— Откуда я знаю! Только он подлый-подлый был, не зря его стукнули.

«Так», — сказал я про себя. Об Ищенко отзывались по-разному, но такой крайней характеристики еще не давал никто, интересно, что это сделала именно Быстрицкая.

— Вы его хорошо знали?

— Нет.

— Я смотрю, вы любите красить людей в черный цвет. Тетю напротив обхаживали, того человека... Может, зря?

— Не зря, — упрямо сказала она.

— За что вы его так?

— Было за что.

— Он, что, приставал к вам?

— Не хочу о нем!

— Ну и не надо. А убийцу-то поймали?

Она зябко повела плечами и, оглянувшись, ответила почему-то шепотом:

— Не поймали.

Я не предполагал узнать сегодня все. Пока надо было просто сориентироваться: я как бы находился в незнакомом лесу и искал тропинку, которая выведет меня к цели. Я кое-что знал об этой тропинке, но пока не мог увидеть ее. А еще я был похож на пеленгационную машину с вращающейся чуткой антенной — она ползет из улицы в улицу, крутится по городу, чтобы выделить среди множества других волну врага, засечь ее, поймать в перекрестие радиусов. Но скорее всего я просто был человеком, который должен знать истину, но не знает ее. И мне было беспокоино.

— Тебя как звать? — донеслось с противоположной скамейки. Даме, сидевшей там, наскучило хохотать, теперь она допрашивала мальчика, который по-прежнему копался в песке, сидя на корточках.

— Никак! — сердито ответил тот.

— Ха-ха, мальчик Никак!

«Вот и его пока зовут Никак», — подумал я про того, кто убил Ищенко.

— А по фамилии? — продолжала забавляться она.

— Дурак! — сказал в рифму упрямый мальчик. Даме зашлась от смеха.

«А тот вовсе не дурак», — опять подумал я.

— Ты что в темноте сидишь? Иди домой! — сказала дама.

— Наплевать! — ответил мальчик: он был крепкий орешек.

— Его же домой отвести надо, а мы тут сидим, — вскопчила Быстрицкая. Она шагнула через барьерчик в песок, присела перед мальчиком, очистила ему ладони от песка. — Пойдешь со мной?

Странное дело: мальчуган не выдернул руки и послушно шагнул на дорожку.

— Держите свою куртку, она сползает у меня с плеч! Сумочку возьмите! Эх вы, кавалер! — командовала она. Потом наклонилась к мальчику: — Где ты живешь?

— Вона! — Он небрежно махнул рукой в сторону высокого дома. Почти во всех окнах теперь горели лампы, и комнаты приняли различную окраску, в зависимости от цвета абажуров и обоев. Окна светились голубым, розовым, зеленым светом, кругом был ночной город, и отсюда казалось, что в каждой квартире царит спокойствие и уют.

— А зачем по ночам гуляешь?

Мальчик молчал.

— Мамка где?

— На работе.

— Она во вторую смену работает? — деловито спросила Быстрицкая.

— В продмаге, — четко ответил мальчик.

— Есть хочешь?

Он снова не ответил.

Мы вышли с бульвара на улицу. Здесь было много народу, по мостовой катили машины. Быстрицкая велела нам постоять, взяла сумочку и нырнула в открытую дверь булочной. Она вышла, держа в руке плюшку. Мальчик молча вонзился в нее зубами и благодарно поглядел на Быстрицкую.

Мы вошли в темный — колодцем — двор, поднялись на второй этаж. Я позвонил. Нам открыла женщина, повязанная платком. На лестнице было темно, и на нас падала полоса света из двери.

— Я-то собиралась бежать искать его! Вот спасибо! Шляется где-то, чертенок, угомону на него нет! Пришла с работы: пустая комната. Может, зайдете, а?

— Нет, нет! — сказала Быстрицкая и погладила мальчика по голове. — Мы пойдем.

Она стала спускаться вниз. Я шел чуть позади. «Когда ты приглядываешься к человеку, — учил меня начальник отдела Шимкус, — то предпосылкой должно быть: он не виновен. Старайся сначала доказать это. Так тебе будет легче работать, и так будет лучше для дела. Для людей. Не забывай, что ты работаешь для людей». Самое главное — установить, что за человек перед тобой: никакие анкеты в мире не могут помочь сделать это. Как хорошо, если б в характеристике Быстрицкой было написано: «Может накормить голодного мальчика сдобой и отвести домой». Конечно, это ничего не решало, но все-таки это было кое-что... Я довольно хмыкнул.

— Что вы там мычите? — спросила Быстрицкая, не оборачиваясь.

— Просто так.

— У меня что-нибудь с платьем не в порядке? — Она изогнулась и попыталась заглянуть себе за спину.

— Нет, нет! Это я сам с собой.

Сначала понять, что за человек перед тобой. Потом решать, он или не он!

Глава 10

ВПОЛНЕ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ Я НЕ ИМЕЛ ПРАВА

Мы снова вышли на бульвар, который круто поднимался в гору. Мы влезли на самый верх. Здесь было темно и тихо, с одной стороны был обрыв, и у нас под ногами лежал ночной город. Центральная улица текла, окаймленная огнями: там гудели машины, звенели трамваи. Дальше чернела громада замка с острыми клиньями готических башен — его выстроил, наверное, еще рыцарский тевтонский орден. Я набросил куртку на плечи Быстрицкой. Внизу лежал город, в котором раздавался отзвук войны. Война кончилась в сорок пятом, но она продолжалась.

— Зато мне повезло на соседей, — сказал я. — Это к вопросу о несчастливом месте.

— Да, Николай Гаврилович — очень приличный, вежливый человек.

— А моряк вам не нравится?

— Он разве моряк? Не знала. Нет, не нравится, он не поздоровается никогда. Один раз, когда я отлучилась на пять минут, ему нужно было платить за койку, так он такой тарарам поднял: вы должны раб-бо-отать, а не маникюрами заниматься. А я к Нинке из камеры хранения спустилась, она никак не может решиться, выходить ей замуж или нет. Он грузин, у него машина, говорит, на руках носить будет, а она колеблется. Зря, да? Мы почти пришли. Вон там я живу, это окраина.

— Одна живете?

— В гости собираетесь?

— Что вы! Просто так.

— С теткой. Отец погиб восьмью мая сорок пятого года, глупо, да? Что же вы молчите? Обещали, что с вами не будет скучно, а сами молчите!

— Не капризничайте.

— Вот еще! Вы гнусный обманщик: не держите слова.

Что ж, я рассказал ей две истории: про выпившего человека, которому мерещился голубой крокодильчик, и другую — о том, как проходил набор в театральные институты. Потом сказал:

— Хороший вечер, тихий. Что-то не хочется тратиться.

— Ага.

— Значит, не будем.

Некоторое время мы молчали. Потом она спросила:

— Только не смейтесь, у вас есть цель в жизни?

— Да, — ответил я.

У меня была цель в жизни: уничтожить всю дрянь на земле. Это была наша общая цель, но, помимо того, и моя личная. Я знал, что эта цель недостижима. Я не пессимист, нет. Просто я трезво рассчитал, что моей жизни на это не хватит. Недостижима для меня. Может быть, достижима для моего сына. Наверняка — для сына моего сына. Но если я мало сделаю сейчас, она будет недостижима для него тоже. Я редко специально думал об этом, но помнил всегда.

— Настоящая и большая? — спросила она.

— Да.

— А... какая?

И мне пришлось щелкнуть ее по носу, потому что придумывать что-либо я не хотел. Если же не говорить конкретно, чем я занимаюсь, то говорить обо всем этом вслух неловко и трудно.

— Мы с вами недостаточно знакомы, а такими вещами делятся только с близкими людьми, — сказал я.

Тут я испугался, что она поймет меня неправильно — как какой-то намек. Но она промолчала. По-настоящему обижаться она не умела, потому что через минуту заговорила:

— Я завидую вам! Вот не желаю завидовать, а завидую. Я тоже хочу иметь цель в жизни, и любимую работу, и не сидеть в этой паршивой гостинице!

— Хотите, я вас поглажу по голове? Просто так. Как маленькую?

— Ну вас! Пойдемте вон туда.

Она потянула меня за руку. Слева лепились дома, скупо освещенные фонарем на столбе. Справа был темный пустырь и сосны. Она повела меня туда. Я шел осторожно, боясь запнуться за корень: после освещенной улицы я ничего не видел. Мы прошли под соснами.

— Стойте! — предупредила она шепотом. — Чиркните спичкой и смотрите вниз.

Я чиркнул. Деревья отступили и стали еще черней.

У наших ног лежала мраморная плита с поблескивающими буквами. Зажигая спички одну от другой, я прочел: «Здесь лежат погибшие в бою за город 22 ноября 1944 года: старший лейтенант Торлин Н. И. 1912, лейтенант Дризе Ю. А. 1920, рядовые: Байтемиров Ю. С. 1920, Карпавичюс Э. 1903, Губа И. В. 1922, Елагин К. 1923».

— Когда я была маленькой, мне казалось, что здесь лежит отец. — Она заговорила только тогда, когда мы вернулись под фонарь. — Еще я воображала себя медицинской сестрой: я выносила его с поля боя, перевязывала, и он оставался жив. Мне его очень недостает. Как тихо, правда? Все уже спят.

— Угу, — сказал я.

Я был почти уверен, что она ни в чем не виновата. Вполне быть уверенным я не имел права: за час до убийства ее видели с Ищенко на пляже. Кроме того, в ходе расследования Евгения Августовна Станкене сообщила следующее: когда Ищенко прошел мимо, не пожелав ее узнать, она увидела Раю Быстрицкую. «Я ее хорошо знаю, я всех в городе знаю, — писала Станкене, — я оклинула ее, но она не услышала или сделала вид, что не слышит. Она явно бежала за Ищенко, боясь упустить его из виду». Станкене добавляла, что сначала она не придавала этому значения, но когда узнала, что Ищенко был убит через несколько минут после встречи с ней, сочла данное обстоятельство немаловажным. Капитан Сипарис пока не трогал Быстрицкую.

— Идите, — сказала она. — Я тоже хочу спать, я ужасно устала.

— Мы завтра увидимся на пляже?

— Может быть.

— Хотя вон тучи. — Я повертел головой, стараясь разглядеть что-нибудь в небе. — Мне на руку несколько капель упало.

— Распогодится! Я обычно лежу там, где кончается улица Прудиса, она выходит прямо к морю.

«Улица Прудиса, — вспомнил я, — это там находится рыбное управление. Мне нужно все-таки побеспокоиться насчет работы». Кроме того, меня интересовал работавший там сосед Буша Суркин.

— Ах, вы же не знаете города! Запоминайте, очень просто: Пру-ди-са, вам всякий покажет. Только я приду попозже, надо выспаться.

Теперь мы шли по мостовой, мощенной булыжником: тротуар сузился, и вдвоем на нем было тесно. Казалось, мы передвигаемся по дну ущелья: противоположные стороны улицы сдвинулись, стены домов, освещенные фонарями до первого этажа, круто уходили вверх в черное небо. «Декорации к Шекспиру», — подумал я. Потом мы свернули в такую же средневековую боковую улочку и неожиданно вышли в современный квартал: стандартные дома-коробки с балконами, травянистые газоны. Здесь одуряюще пахло сиренью. По проспекту прошел пустой автобус — он был ярко освещен изнутри. Мы пересекли проспект. На скамейке под пышным кустом сирени сидел парень и брал на гитаре одну и ту же ноту — получалось довольно тоскливо. В тени куста белела его рубашка. Быстрицкая не сразу заметила его.

— Мы почти пришли.

— Раечка?

Парень поднялся и уцепился басовую струну. Гитара угрожающе загудела. Мы стояли почти вплотную, у парня было неприятное, толстое лицо. Он был плечист. «Примерно моего веса, — прикинул я. — Килограммов восемьдесят пять».

— Опять, девочка, крутишь с приезжими любовью? А что скажет Сема, когда узнает?

Быстрицкая передернула плечами. На ней была моя куртка, поэтому жест получился немного смешным: рукава болтались ниже колен.

— Иди донеси!

Но я ясно видел: ей все это было неприятно. И эта неприязнь распространилась на меня, потому что отчасти я был виноват. Я держал ее под руку, и теперь она высвободилась.

— Нет, ты мне скажи, на что это похоже? — не отставал тот. — Мой друг верит ей, а она тут с какими-то весело время проводит, а?

— Он тебе не друг! Ты любого продашь за четвертинку.

— Как, как ты сказала? — заинтересовался тот.

«Работает под блатного, — подумал я. — Схватит срок, будет блатным, если не остановят». Мне пора было вмешаться. «Странствующий рыцарь из комитета госбезопасности», — мельком усмехнулся я и шагнул вперед.

— О любви не говори, о ней все ска-зано, — пропел я ему в лицо. — Тридцать три?

— Чего?

— А ты чего?

— Я-то ничего.

— Вот и порядочек, — сказал я деловито. — Можешь считать себя свободным.

«Мы, московские студенты, — подумал я, — никому спуска не даем».

Парень явно ступсывался. Он отступил, сплюнул и пробормотал себе под нос что-то вроде «неохота связываться». Но скорей всего он просто не любил драться в одиночку, потому что, когда мы отошли, он негромко крикнул:

— Морду мы тебе еще пощупаем, сволочь!

— Не обращайтесь внимания, — сказала Быстрицкая.

— Я не обращаю.

«Он слишком легко отлепился. Следует ждать продолжения», — подумал я.

— А здорово вы его! У, шпана несчастная! Вы, пожалуйста, не связывайтесь с ними. Идите к гостинице не так, как мы шли, я вам покажу.

— Обязательно, — заверил я ее. — А кто этот Семен?

— Тот парень, о котором я вам говорила. Вы, правда, идите другой дорогой. А вот мой подъезд.

Возле водосточной трубы притулилась кошка. «Кис-кис-кис», — позвала Быстрицкая. Кошка не послушалась и потрусила в подворотню с железными воротами. На стене было нацарапано углем: «Лена, я так любил!» Пахло жареной рыбой. Во дворе орал радиоприемник. Было, наверное, уже часов одиннадцать: мне не хотелось смотреть на часы так, чтобы Быстрицкая это видела. Что-то прогудело вдалеке — так гудят летом электрички в дачных поселках возле крупных городов.

— Знаете, — шепотом сказала Быстрицкая, — только вы не подумайте ничего, мне страшно идти одной в подъезд: у нас лампочка перегорела. Нет, сначала я покажу, как вам возвращаться.

Я механически запоминал дорогу сюда и, не раздумывая ни на одном перекрестке, мог вернуться в гостиницу «Пордус». Другим путем я идти не собирался, потому что, если меня ждет Семен с друзьями, имело смысл на него посмотреть: меня интересовало все, связанное с Быстрицкой. Но я слушал ее внимательно. Потом мы вошли в подъезд и, нащупывая ногами ступеньки, стали подниматься.

— Вот здесь. Посветите мне спичками.

Она стала отпирать дверь ключом. Я держался подальше.

— Ну вот! А теперь я хочу тебе сказать: ты очень

хороший! Ты не приставал и не распускал руки, когда мы сидели на скамейке. Привет!

Она юркнула в дверь. Куртка осталась у меня в руках. Я натянул ее, немного постоял и стал спускаться. Мне крупно везло: три раза за этот день я слышал, что я хороший. Бывает же! Выйдя из подъезда, я взглянул по сторонам: никого не было. На всякий случай я пошел по середине мостовой, держась настороже, и не зря! Когда я свернул за угол, раздался тихий свист. Под фонарем стояли двое, один — «блатной» (так я его окрестил) в белой рубашке. Гитару он где-то оставил. Они, конечно, поджидали меня. Я остановился в нескольких шагах, сгорбился и, закрывая ладонями огонек спички, стал прикуривать. Сам я смотрел на них, потому что если смотреть на огонь, а потом очутиться в темноте, можно на момент ослепнуть.

— Хороший вечер, — сказал я.

Они молчали. Вероятно, претензии имел ко мне тот, что стоял впереди. «Похоже, его зовут Семеном», — подумал я. «Блатной» в белой рубашке «опекал» его — он стоял сбоку и держал руку в кармане. Его надо было нейтрализовать первым. Он стал придвигаться ко мне.

— Чего ж только двое? — спросил я. — Надо бы человек пять собрать. Или времени не было?

Тут я заметил третьего. Он отделился от кустов сирени и стал заходить сбоку. «Ай-я-яй, — подумал я. — Мне так не хочется этого». Мне не хотелось драться. Но другого выхода не было, поэтому надо было начинать первым. Я даже не успел сунуть коробок в карман. Я сделал шаг вперед, «блатной» замахнулся. Шаг вбок — и я перехватил его правую руку, в которой было, конечно, что-то зажато — самодельный кастет или свинчатка. Я терпеть не могу любителей драться компанией на одного, и поэтому я не почувствовал неловкости, ударив «блатного» сверху вниз рубящим ударом — ребром ладони в основание шеи. На моем месте вполне мог быть кто-то другой, он мог не заниматься борьбой с пятнадцати лет и не кончать спецкурса по самообороне. Его бы они избили без всякой жалости. Краем зрения я не упускал из вида и того, которого мысленно называл Семеном, — он, несомненно, был центральной фигурой, а «блатной» только подбивал его на «мечь», — и когда он кинулся на меня, я ушел вбок и подставил вместо себя тушу «блатного». Семен споткнулся. Они оба упали. Я отскочил, принял третьего: обманный нырок и — коротко — «под дых». Он осел на мостовую. «Блатной» тоже был не в счет: он держался рукой за ключицу и постанывал. Мне пока везло. Я отскочил назад: я не хотел выводить того, которого считал Семеном, из строя и поэтому должен был быть внимательным, но если б мы возлились рядом с теми двумя, они могли бы мне повредить. Мне было интересно, нападет ли Семен теперь, когда он остался один. А Семен кинулся ко мне. Это мне понравилось, потому что он видел, что приятели на помощь не придут. Я был почти уверен, что не он инициатор битвы троим. Я поймал его за одежду, перевел в удобное положение и сделал самое простое — заднюю подножку. Он поднялся и снова пошел на меня.

— А можно так!

Я провел обратный бросок через спину — эффектный прием. Очень мне не хотелось всего этого делать, но потом я решил, что, может быть, так даже лучше. Я старался осторожнее тушировать его и подстраховывал: он не был серьезным противником.

Теперь он сидел на мостовой и тяжело дышал. Вставать он не собирался. А может, он вовсе не Семен? Остальные стояли вразброд кругом.

— Дзюдо, да? Самбо, да? — ныл «блатной».

— Он профессионал, — презрительно сказал «Семен». — Заколачивает денежки в цирке: Григорий Новак с сыновьями.

— Меня зовут Борис, — сказал я. — Если хочешь, давай теперь по-человечески.

— А что ты к его девчонке липнешь, сволочь? — спросил тот, который по-прежнему держался за шею, «блатной».

Так. После драки по этикету полагался «разбор полетов»: кто, за что и почему. Но я не ошибся: это все-таки был Семен.

— Помолчи, — сказал Семен своему приятелю.

— Насчет твоей девчонки я ничего не имею, понятно? И она ко мне, как к столбу деревянному. Просто я один в чужом городе, мне поговорить-то не с кем, я пошел проводить ее после дежурства.

— Все вы так!

— Брось, Семен! Она про тебя говорила, что ты приличный парень. Она мне про тебя говорила, понимаешь? Она бы не стала этого делать, если б у нее было что-то со мной.

Я протянул ему руку, чтобы помочь встать.

Он чуть помешкал и принял ее.

— Не слушай его, Семка! — морщился «блатной».

А третий молчал. Он был моложе всех. Он уже оправился, курил, но никак не вмешивался в разговор. Видно было: он не из тех, что стоят «кодлой» в подворотне и отпускают замечания в спину одиноким прохожим, — тоже затесался сюда случайно. Я следил за ним, когда возился с Семеном, но он-то не знал этого и вполне мог ударить меня в спину. Но не сделал этого. Я уже жалел, что не вступил в предварительные переговоры. Хотя поладить с «блатным» до «полетов» вряд ли удалось бы.

Подняв Семена, я сказал всей компании:

— Не доверять следует тому, кто чего-то хочет от вас. Я, кажется, не похож на такого человека. Скорее наоборот: вы добивались от меня чего-то. Улавливаете логику? — Я обратился к «блатному».

— Какую еще логику? — затынул тот.

Он успокоился и понял, что бить я их не буду. Он теперь выламывался перед друзьями, желая показать, что он вовсе не трус.

— Напридумывают всякого, а я их понимать должен!

— Купи словарь иностранных слов, — посоветовал я.

Я подобрал валявшийся на асфальте коробок — его чудом не раздавили во время потасовки — и закурив.

— Куришь? — Я протянул сигареты Семену.

— У меня свои.

Третий, который молчал и только что бросил окурок, взял. И «блатной» потянулся.

— А только ты первым начал, мы поговорить хотели, — сказал Семен.

— И только?

Он промолчал.

— Разговорчики со свинчаткой знаешь, чем кончаются? Вон она в кармане у твоего компаньона, подобрал. Пользоваться не может, а лезет. — Я глубоко затынулся. — Между прочим, вы мне кастет можете достать? Хорошо заплачу или сменяюсь на что-нибудь.

«Блатной» оживился:

— На кой ляд он тебе?

— Чтoб с такими, как ты, себя спокойно чувствовать. Ну, достанешь?

— Попробовать можно, — уклончиво сказал он.

— Только не самоделку какую! Мне настоящий нужен, хорошо бы немецкий.



— Где я тебе возьму?
— Может, я достану,— внезапно сказал тот, что до сих пор не произнес ни слова.

— Сколько возьмешь? — До этого я следил за Семеном, а теперь сразу повернулся к нему.

Честно говоря, я удивился. Я рассчитывал на возможность выяснить что-то о кастете (и то у Семена, если он был тем самым Семеном и имел касательство к делу), но самого кастета не должно было быть. Он лежал среди других вещественных доказательств в горотделе КГБ. Значит, это другой кастет. «Все равно встречусь с парнем,— подумал я,— и попытаю его насчет Семена».

— Тогда договоримся,— сказал он.

— Где я тебя увижу?

— Завтра у нас что? Суббота? С утра буду на пляже.

— Пляж-то большой!

— Найдешь.

— Ладно,— сказал я.— Договорились.— И, обращаясь к Семену, подытожил наш с ним сепаратный разговор:— А кроме того, пропорция три к одному всегда считалась неджентльменской. Рая о тебе лучшего мнения. Или тебя этот науськал? — Я кивнул на «блатного».

— Вали все на меня! — сказал тот.

— Оправдываться будешь в милиции,— сказал я.— Ладно, парни, уже ночь, а мне в гостиницу топать. Значит, завтра на пляже. Желаю всего наилучшего!

Мне ответил тот, что обещал кастет:

— Всего хорошего.

И «блатной» буркнул:

— Привет с кисточкой! Иди, иди!

А Семен ничего не ответил. Он думал.

Я не пошел по бульвару, а срезал дорогу напрямик и довольно быстро добрался до гостиницы: ориентироваться в незнакомом городе я начинаю в первый день. Я вошел в темный номер — дверь была не заперта изнутри — и, стараясь не шуметь, стал раздеваться. По комнате разливался красноватый отсвет неоновой рекламы, висевшей снаружи: «Страхование имущества и жизни оформляйте в инспекциях Госстраха» (это я прочел, подходя к гостинице). «Умеют же придумать, черти! — подумал я.— Днем, когда открыты инспекции, вывески почти не заметно. А куда пойдешь ночью? Хотя нет,— решил я,— Ищенко наверняка обдумал это ночью, во время бессонницы». Жизнь Тараса Михайловича Ищенко была застрахована на максимальную сумму, и его супруга, едва прилетев сюда, заявила об этом, чтобы получить необходимые справки. Н-да, это не говорило в ее пользу. Хотя, если она как-то участвовала в этой игре, она не должна была вести себя так откровенно. С другой стороны, в этом тоже мог быть расчет. Я выкурил три сигареты, ворочаясь с боку на бок.

Войтин спал. Пухальского еще не было.

Глава II

КТО!

Я проснулся первым. Войтин хрипло дышал и бормотал во сне. Я встал. Стараясь не стучать шпингалетами, отворил окно: Пухальский вчера вернулся позже всех и, наверное, опасаясь дождя, закрыл его. Сейчас он лежал лицом к стене и тоже спал.

Внизу расстился город в утренней дымке. Черепичные крыши чередовались с островками зелени. Замок — целый лес островерхих готических башен с узкими щелями окон — выглядел совсем не таким мрачным, как ночью. Посверкивала речка под горбатыми древними мостами. Я нашел глазами бульвар, по которому мы шли вчера с Быстрицкой, — он полупетлей охватывал город. Моря из этого окна не было видно. «Маленький город», — подумал я. Небо было в облаках. Дул ветерок. На окраине уже дымил какой-то заводик, и дым из трубы заваливался на сторону.

Я отошел от окна, выкурил сигарету, сидя на койке (Тамара безуспешно пыталась отучить меня курить до завтрака), и достал из тумбочки бритвенный набор. Я привык к электробритве «Харьков», но студенту такая роскошь не по карману: я взял с собой «безопаску».

До позавчерашнего утра мы с Ларионовым не знали, кто будет выполнять основное задание, и готовились оба. Начальник отдела Шимкус вызвал нас и, выслушав доклад, ткнул пустым мундштуком мне в грудь: «Планируй!» Я знал, что Ларионову очень хотелось взять это дело. Может быть, даже больше, чем мне: мою жену только что положили в роддом. «За супругу не волнуйся», — сказал Шимкус. — Все устроим в лучшем виде». Ларионов хлопнул меня по плечу: «Лети, старик, со спокойным сердцем и ясной головой. Как родится сын, дадим знать». «Девочка — это тоже хорошо», — сказал Шимкус. — У меня их две. Старшая уже парням головы крутит и мне подробно докладывает, как и что. Я ей советы даю». Ларионов сделал мне большие глаза: старик считал, что в молодости он был большим сердцеедом. «А ты не мигай! — сердито сказал Шимкус. — Думаешь, не вижу? И вообще, генуг трепаться, как она говорит». «Генуг по-немецки значит — достаточно», — снисходительно объяснил я Ларионову. «Geh zum Teufel!» — буркнул тот. «Ярко выраженный ростовский акцент», — констатировал я. «К делу, товарищи старшие лейтенанты», — строго сказал Шимкус. И мне: «Значит, у тебя есть девица, которая следила за ним, заявление Евгении Августовны Станкене, кастет, ну, соседи по номеру и некто Буш. Может быть, это цветочки, а может быть...» — Он сделал паузу. «Может быть, ягодки», — забежал вперед Ларионов. Шимкус внимательно и холодно поглядел на Ларионова, отчего тот затаился сигареткой и стал притворно сильно кашлять. Потом Шимкус сказал: «А может быть, ягодки. Решать будешь сам. На месте». Я сделался серьезен. «Виленкин вылетает раньше, он придается тебе для связи», — добавил начальник отдела.

Мы доводили операцию еще сутки. Вчера утром я наконец остался один: мне нужно было сосредоточиться. На мне были джинсы и рубашка с короткими рукавами. Я надел куртку. Сложил все, что лежало на столе и диване, в старенький чемодан (ребята из научно-технического отдела даже обмотали его ручку изоляцией). В последний раз просмотрел содержимое бумажника, хотя можно было не глядеть: я помнил все наизусть. Пистолет я оставил в сейфе: оружие мне не полагалось. Я вообще считаю, что пистолет в кармане вредит, он часто придает излишнюю уверенность, а значит, размагничивает там, где надо глядеть в оба.

Я спустился на лифте вниз. Меня ждала машина. Сквозь дождь мы помчались на аэродром. Ларионов сидел на заднем сиденье и рассказывал старые анек-

¹ Пошел к черту (н.е.м.).

доты: «делал» мне настроение. Шофер тормозил так, что машину заносило на мокром асфальте. «Я сто лет не был в кино,— думал я.— У меня ни на что не остается времени». Мы поспели на аэродром впритык.

Потом я сидел у окна и смотрел на Ларионова, который стоял на поле возле турникета и махал рукой. Самолет выруливал на взлетную полосу... Через полчаса я был здесь. Мы сели на семь минут раньше московского самолета.

Мне было о чем подумать. Бреясь, я умудрился порезаться в трех местах. «Нашему брату надо уметь бриться любой бритвой»,— иронически сказал бы Шимкус. Итак, вопрос, как в романе: кто убийца? И еще: кто убитый? Тарас Михайлович Ищенко мог быть Кентавром. Он тщательно скрывал свою принадлежность к партизанскому отряду, не указывал этого ни в одной анкете и предпочитал, чтобы в городке его считали погибшим. Страх проходит нитью через всю его послевоенную жизнь, судя по словам Клавдии Ищенко. Правда, иногда так ведут себя, совершив крупное преступление, а иногда в чем-то струсят, и это превращается в черту характера: все зависит от человека. Почему так по-разному отзывались об Ищенко люди, знавшие его? Быстрицкая: «Подлый-подлый, не зря его стукнули»; Буш: «Чистейшей души был человек...»; родная жена: «Трус-лив, расчетлив...»; а Пухальский—Пухальскому он понравился. Случается, что об одном и том же человеке говорят противоположные вещи: что он дурак — и что умица, подлец — и герой. Всяк судит по своей мерке. Но кто-то бывает прав. Кто — в данном случае? Я был склонен верить жене: с каждым Ищенко был иным, в этом чувствовался расчет, а перед женой ему быстро надоело играть. «Тогда он казался мне настоящим мужчиной»,— вспомнил я. Если все это так, Ищенко смахивал на Кентавра. Тогда версия такова: кто-то узнал в Ищенко предателя и убил его, мстя за своих родных. Это мог быть помощник капитана рыболовного траулера Войтин (правда, непонятно, как он распознал Кентавра) или кто-то другой, неизвестный нам. Но зачем было Ищенко приезжать сюда отдыхать вместо Черного моря, если он обрек здесь на смерть людей? Он все время опасается чего-то, живет с оглядкой, и вдруг — такой промах! Зачем? Пощекотать себе нервы? На Ищенко не похоже. Может быть, была причина для приезда сюда. Она должна была быть очень важной, эта причина!

Но Ищенко с таким же успехом мог не быть Кентавром, он мог быть его жертвой. Тарас Михайлович приезжает в этот город, он действительно чего-то опасается, но это не связано с гибелью отряда: он не предатель. И вдруг на улице он сталкивается так, как столкнулся со Станкене (кстати, в плане сегодняшней работы у меня стояло: увидеть Станкене и, если удастся, поговорить с ней под благовидным предлогом: я хотел составить себе впечатление о ней), сталкивается с настоящим предателем. Откуда он знал, что тот предатель? Почему молчал все эти годы? Неясно. Но Ищенко собирается разоблачить его: рассказывал же Войтин, как Ищенко был взволнован, что он что-то писал, порвал и даже вытащил обрывки записки из пепельницы. И Кентавр убивает его. Кто он — этот Кентавр? Скорее всего приезжий: трудно предположить, что он останется жить здесь после того, что совершил. Поэтому такое внимание мы уделяли единственной гостинице «Пордус». Конечно, большинство приезжих остановилось на квартирах: сезон уже начался. Но отдыхать «по-дикому» приезжают обычно с семьями, а если в одиночку — то молодежь. Предполагаемый возраст Кентавра —

выше сорока лет. Таких мало, они были проверены. И Кентавр не придет сюда отдыхать, не должен по логике, во всяком случае. Он приехал по делу, совсем не думая об Ищенко. В командировку, например. Значит, гостиница.

Была проведена проверка всех, кто остановился в «Пордусе» и примерно соответствует возрасту Кентавра: она ничего не дала. Все, кто выехал после пятого числа, были под наблюдением, их было немного — семь человек. Но убийца, конечно, все рассчитал: нельзя было уезжать сразу после совершеннолетия. Как зверь, он должен был отсидеться в темноте. «Если развернуть этот образ: в темноте нашего незнания»,— подумал я, вода бритвой по щеке. Пройдет время, он станет незаметным. Тогда — уходить! Иначе ему нельзя, потому что здесь он наверняка прописан по тем документам, с которыми жил. Сейчас наступали самые горячие дни: выжидать слишком долго он тоже не будет.

С другой стороны, Кентавр все-таки мог быть местным жителем. И каждый день рисковал встречей со Станкене? Нет, она была связанной и не могла знать в лицо всех партизан и людей, связанных с партизанским отрядом, тем более что в последние месяцы отряд сильно пополнился: приходили колеблющиеся, те, которым стал ясен исход войны. Кентавр понимал это. Он мог спокойно ездить на работу в одном трамвае со Станкене.

Но была одна зацепка: скорее всего убийца не работает вовсе, или не работал в этот день, или если он находится здесь в командировке, то довольно свободно распоряжается своим временем, потому что Ищенко был убит днем, около одиннадцати часов. Любопытно, что и встреча третьего, так взволновавшая Ищенко, состоялась приблизительно в то же время. «А была ли она вообще?» — подумал я. Скорее всего была. Вечером третьего числа Ищенко был взволнован и что-то писал. Утром этого дня он не пришел на фабрику к Бушу. Буш лгал насчет Клавдии Ищенко. Но вряд ли он стал бы придумывать такую сложную историю о несостоявшемся свидании. Зачем? «А в самом деле, зачем?» — опять подумал я. Стоит поразмыслить». Но все-таки пока я принимал за доказанное, что Тарас Михайлович Ищенко дважды с кем-то виделся. Во второй раз это кончилось трагедией. И виделся в одно время, было похоже на расписание. Какое расписание? А черт его знает! Почему он был убит днем и в таком неудобном для преступления месте — проходном дворе? «Потому что в другое время и в другом месте он не мог быть убит», — подумал я. — Парадокс или истина?»

Кстати, третьего числа Ищенко было не обязательно с кем-то встречаться. В этот день он мог просто узнать Кентавра в ком-то из окружающих его людей (в том же Пухальском!). Разговор с ним. Ищенко взволнован. Он не хочет видеть Буша: ему нужно побыть одному и все обдумать. А пятого его убивают... Другой вариант: Кентавр давно уже попал в поле зрения Ищенко. Это Буш, например. Но третьего происходит что-то неожиданное, и опять-таки Ищенко разговаривает с Кентавром. Если Буш врал насчет третьего числа, то разговор мог произойти и вечером (но не второго и не четвертого, потому что Ищенко пишет записку именно в ночь с третьего на четвертое: моряк упоминал, что Ищенко писал записку, вернувшись в гостиницу в два часа ночи, а из опроса работников гостиницы, сделанного Сипарисом, я еще до приезда сюда знал, что Ищенко где-то задержался допоздна именно в этот день, в остальные же приходил до двенадцати часов). Но, так или иначе, третьего июня обстоятель-

ства складываются так, что Ищенко становится опасен, и Кентавр убирает его пятого. Что за обстоятельства? Неизвестно.

По принципу же свободного времени подходили: Буш (хотя он как будто все утро был на глазах у соседей); Пухальский — в этот день он явился на фабрику после обеда, а на допросе утверждал, что загорал на дальнем пляже, но если б даже он лежал на общем городском пляже, проверить это было невозможно: его никто не знал в этом городе; Войтин — он отсутствовал в гостинице как раз в момент убийства. Да, еще Быстрицкая была в этот день свободна. Но какой у нее мог быть мотив? И уж никак не могла она быть Кентавром! Девушка убивает мужчину кастетом и прячет тело за контейнер с мусором? Нет, конечно! Но почему она следила за Ищенко? Что делала в момент убийства? Знает ли убийцу? А может, Станкене просто ошиблась: Рая Быстрицкая торопилась по своим делам и ей никакого дела не было до Ищенко. Н-да!

Был еще некто Суркин: сегодня я собирался им заняться.

Был еще какой-то Семен (опять-таки, если Буш говорил правду). Но кто он — этот Семен? Моего вчерашнего «соперника» звали Семеном, но как он может быть замешан в деле Кентавра? Непонятно. Убийство на почве ревности? Чушь!

Убийцей мог быть кто-то из вышеперечисленных или неизвестное нам лицо. «Цветочки или ягодки», — вспомнил я напутствие Шимкуса. Может быть, его надо искать не среди них? Мистер Икс, Черная Маска! По-прежнему я блуждал, как в лесу.

Фотографии Пухальского, Войтина и Буша были предъявлены Корнееву в Ленинграде и Станкене. Они их не опознали (Станкене знала Буша как человека, лежавшего однажды в городской больнице с воспалением легких). Но Кентавр мог и не быть бойцом отряда. Образцы почерков убитого Ищенко (после него осталось много бумаг), Пухальского, Войтина (они заполняли регистрационные листки в гостинице) и Буша (была взята в отделе кадров мебельной фабрики его автобиография) подверглись графической экспертизе: их сравнивали с расписками

ми Кентавра в получении марок. Не сошлись. Но это тоже не доказывало равным счетом ничего: материала для сравнения было мало. Одна короткая подпись, несколько букв. «Положение хуже губернаторского», — подумал я. — Почему губернаторского? Странное выражение.

— А ты ранняя пташка, студент! — прервал течение моих мыслей Войтин. — Хорошо вчера погулял?

Интересно, давно он следит за мной?

— Неплохо. Только вон третьего нашего, когда я пришел, еще не было. Наверное, он еще лучше погулял.

Но Пухальский дышал ровно и безмятежно.

— В управление ходил наниматься? — спросил Войтин.

— Нет, сегодня пойду.

— Блат нужен?

— А есть?

— Наверное, нету, раз сам себе не помог. Это я так... А вот капитанов знаю многих, могу хорошего посоветовать.

— До этого дело не дошло, спасибо. Мне бы документы сначала оформить, — сказал я. — А вы, между прочим, спите беспокойно, разговариваете во сне.

— Бывает. А что я говорил?

— Не прислушивался.

Я отправился в туалет, сполоснул тазик и бритвенный станок, умылся и вернулся в номер. Пухальский продолжал безмятежно посапывать в кровати: наш разговор его не потревожил. Войтин натягивал брюки.

— Интересно, о чем же я говорил? — опять спросил он.

— Надо включать на ночь магнитофон, а потом прослушивать запись. Завтракать пойдете?

— Спасибо за совет. Нет, мой день начинается поздно, — сказал он. — Мой рабочий день! Тьфу!

— Наш сосед на работу не опоздает?

— Командировочный! Ходит на свою фабрику когда вздумается.

— Тогда привет! — сказал я. И подумал: «Сегодня надо обязательно повидать Станкене».

(Продолжение следует.)



Леонид
Мартынов

Сад Академа

Не Академии фасад,
Возникший много-много позже,
Но Академа вижу сад —
И это не одно и то же:
Там Аристотель ходит. Он
Твердит, что друг ему Платон,
Но истина еще дороже.

Капля крови

Инфузорно
Мы пылаем
И выпениваем в споре
Восклицанья, несть числа им,
Будто это капли в море.
Я хочу,
Чтоб крылось в слове
Столько пламенного жара,
Будто блещет капля крови,
Тяжелей земного шара!

Сладкие дары

Миновали
Самые длинные
Дни в году.
Отпылали укусы пчелиные.
Осень сказала:
— Приду
И наведу порядки я!
Знаю твои повадки я, осень поздняя,
Гадкие!
А осень дудит в дуду:
— Все дары мои самые сладкие
Ты получишь на самые краткие
Дни в году.
Пышек дам на меду!

Лики жизни

Я шел
Своей дорогой,
Погружен
Во всяческие тягостные мысли,

Над миром тучи копоты нависли,
Как будто впрямь не раз он был сожжен.
Жестокость жизни, думал я, осмысли —
Любой ее источник заражен...

Но вижу вдруг:
Тропой мужичьих жен
Навстречу мне на грубом
коромысле,
Изваянном посредством
топора,
Живой воды два полные
ведра
Она несет. Два глаза, два
бедр
Есть у нее, а также есть два
лика,
Причем один из них,
глядящий дико,
Она скрывает,
Дьявольски добра!

Зимний пейзаж

Зима
Горделива,
Величественна.
И юноши шапочно-шубные,
Как это диктует обычай страны,
Идут, как Иваны Поддубные,
С транзисторами и «спидолами»
И с ножками, чуть ли не голыми,
Под меховыми подолами.
Девчонки, отчаянно храбрые,
Вздывают пушистые головы,
Как это диктует обычай страны.
С крестами над древними лаврами
И атомными ледоколами
И с небом, где высшими школами
Все высчитано и вычислено
И качественно и количественно.
Но если бы даже и вычесть луну
Из алого снежного полымя
Над городами и селами,—
Зимой все пейзажи величественные
Под вьюжными ореолами.

Лампочка

Женщина
В мерцающем жакете
Светом электрическим бежит.
Все, что напечатано в газете,
В сумочке хозяйственной лежит.
Все, о чем по радио толкуют,—
У нее на трепетных устах.
В дверь ворвется,
Мужа поцелует:
— Все в порядке, на своих местах!
Словно маленький реактор
В сумочке хозяйственной внесен.
У мужчин иной характер.
Муж спокоен. Скажет он:
— Все в порядке, дорогая.
И блеснет она пучком лучей,
Лампочкой, что светит, не мигая,
Ясным светом в тысячу свечей.



МЫСЛИТЕЛЬ, РЕВОЛЮЦИОНЕР, ЧЕЛОВЕК

ПАРТИЙНАЯ ПОЗИЦИЯ

Первое, что поражало современников и продолжает поражать сегодня нас в личности Ленина,— это удивительная целостность его как мыслителя и вождя, человека и революционера. «Этика не что иное, как единство нашего я. Это суждение полностью применимо к Ленину,— замечала голландская писательница Генриетта Роланд-Гольст.—Эпохи социальных переходов и потрясения старых форм производства и форм старого уклада жизни всегда являются также эпохами внутренней разорванности личности. В такие времена имеется лишь очень немногие люди вполне цельных и внутренне крепких. Ленин был таким человеком. Он был вылит из одного цельного куска, и отсюда вытекает целостность его жизни».

И это вновь ставит нас перед сложной проблемой. Потому что Ленин — «самый человеческий человек» неотделим от Ленина — политика и государственного деятеля, Ленина — мыслителя и ученого. И отделять жизнь «частную» от деятельности общественной, искать «человека» вне дела, которому Ленин отдал всего себя, значит опять-таки идти по пути упрощения и вульгаризации.

Что же, не надо писать и рассказывать, каким был Ленин вне работы? Конечно, надо. Обязательно надо. Потому что «любил он жизнь,—как писала Н. К. Крупская,—во всей ее многогранности», потому что и в мелочах проявлялась удивительно интересная личность Ленина. Потому что и быт у Ленина всегда переплетался с его партийным делом.

Март 1917 года. Ленин едет... нет, не просто едет — рвется в Россию. 31 марта он в Стокгольме. Поезд

отходит вечером. Товарищи замечают, что костюм Ленина уж слишком стар и поношен. После долгих уговоров ему покупают недорогой, стандартный, темно-коричневый костюм. Предлагают заменить и старую шляпу... Сразу же следует реплика Ильича: «Я еду домой в Россию не затем, чтобы открывать там ателье мужских мод, а делать революцию!»

И, наконец, уже не о «быте»... Бонч-Бруевич рассказывает: в 1904 году, собираясь в двухнедельную прогулку по Швейцарии, Ленин разговаривал с одним из эмигрантов. «Как приятно,—сказал Владимир Ильич,—отряхнуть прах от ног своих и бежать в горы от бесконечных дел и дразг жевенских... Люблю путешествовать, особенно вдвоем, вместе с Надей...» «Ну уж,—ухмыльнулся собеседник,—нашли что интересного... Я понимаю, вдвоем, это да...» Он хочет сказать какую-то плоскость... Но Ленин жестко перебивает: «Как? С женой неинтересно?.. А с кем же?.. Эх, вы!..» И он обрывает разговор. «Никогда не мог бы он,—пишет Крупская,—полюбить женщину, с которой бы он расходился во взглядах, которая не была бы товарищем по работе».

Для обывателя человечность героя — это прежде всего снижение героя до уровня «обыкновенного человека». В жизни великого человека, будь то политический деятель, поэт, ученый, артист, его интересует только быт, «бытовщинка», точнее, его интересует, как великий человек делает то, что делает повседневно он, обыватель. То, чего он, обыватель не делает, его уже не интересует.

«Меньше всего,—пишет Н. К. Крупская,—был Ильич, с его пониманием жизни и людей, с его страстным отношением ко всему, тем добродетельным мещанином, каким его иногда теперь изображают: образцовый семьянин — жена, деточки, карточки семейных на столе, книга, ваточный халат, мурлыкающий котенок на коленях, а кругом барская «обстановочка», в которой Ильич «отдыхает» от общественной жизни. Каждый шаг Владимира Ильича

Окончание. Начало см. «Юность» № 9 за 1969 год.

пропускают через призму какой-то филистерской сентиментальности».

Да, было и с котенком (этот кинокадр всем известен), было и с детьми («К детям был внимателен и ласков Владимир Ильич», — пишет Крупская, — «какими ласковыми глазами следил Ильич за ребятами, внимательно прислушивался к их детской болтовне, ласково смеялся, смотрел, как слушают они сказки, заботился, чтобы ничем их не стесняли»). Все это было. Но было и нечто другое — Ленин и Октябрь, Ленин и Брест, Ленин и нэп. И в этих событиях проявлялся не только Ленин-вождь, Ленин-мыслитель, но и Ленин-человек. И без этих событий мы никогда не расскажем ни о Ленине, ни о том, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата.

«Ленин был добрый человек, говорят иные, — это опять пишет Н. К. Крупская. — Но слово «добрый», взятое из старого лексикона добродетелей, мало подходит к Ильичу, оно как-то недостаточно и не точно».

5 августа 1918 года в Кучинской волости, Пензенского уезда, кулаки подняли мятеж. Отсюда он стал распространяться на другие уезды. Пенза была одной из немногих губерний, откуда хлеб шел в Питер и Москву. Встал вопрос буквально о жизни и смерти миллионов рабочих. И Ленин посылал телеграмму за телеграммой пензенским руководителям, требовал «с величайшей энергией, быстротой и беспощадностью подавить восстание кулаков, взяв часть войска из Пензы, конфискуя все имущество восставших кулаков и весь их хлеб». В телеграмме 14 августа Ленин писал: «...Вы обнаруживаете мягкость при подавлении кулаков. Если это верно, то Вы совершаете великое преступление против революции».

В конце 1918 года более сотни московских рабочих приехали в Курскую губернию для закупки хлеба. Но член курского «Центрозакупа», ссылаясь на целый ряд постановлений и узаконений, отправил их обратно. 6 января 1919 года В. И. Ленин телеграфирует в Курскую чрезвычайную комиссию: «Немедленно арестовать Когана, члена Курского центрзакупа, за то, что он не помог 120 голодающим рабочим Москвы и отпустил их с пустыми руками. Опубликовать в газетах и листовках, дабы все работники центрзакупов и продорганов знали, что за формальное и бюрократическое отношение к делу, за неумение помочь голодающим рабочим репрессия будет суровая, вплоть до расстрела».

В мае 1919 года к Ленину приезжал из Новгорода председатель местного артельсоюза А. А. Булатов. Они встретились, беседовали. 20 мая Ленин получил телеграмму, сообщавшую, что после возвращения в Новгород Булатов был арестован. В тот же день Ленин телеграфирует Новгородскому губисполкому и чрезвычайной комиссии: «По-видимому, Булатов арестован за жалобу мне. Предупреждаю, что за это председателей губисполкома, Чека и членов исполкома буду арестовывать и добиваться их расстрела».

Можно ли дать точную оценку ленинским поступкам и действиям с точки зрения обычных бытовых «добродетелей» или мерок? И вот, для того, чтобы разобраться в этом вопросе, попробуем проанализировать еще один очень простой эпизод.

Май 1919 года. Советская республика окружена кольцом фронтов. Всюду уварные бои. В тылу то тут, то там вспыхивают контрреволюционные мятежи. Красная Армия нуждается во всем — в оружии, обмундировании, продовольствии, лошадях... Приходится прибегать к реквизициям. И вот 13 и 14 мая в Совнарком

поступают два письма. Одно из Ярославской губернии от крестьянина Ф. Романова, второе из Московской губернии от крестьянина И. Калинина. Оба жалуются на неправильную реквизицию лошадей.

Эти письма направляются в мобилизационную комиссию при Главном полевом штабе, но оттуда их почему-то пересылают в Особую комиссию по столочным делам. Здесь они и попадают в руки одного из сотрудников, который, прочитав крестьянские бумаги, пишет свою резолюцию... Но прежде чем сказать, как и что он написал, давайте попробуем на минутку стать на точку зрения этого работника.

Идет гражданская война. Республика в огне. Положение чрезвычайно напряженное. По учреждениям уже начинают ползти слухи о возможной эвакуации Петрограда. В такое время надо думать о судьбах мировой революции или по крайней мере о судьбах миллионов. И вот именно в этот напряженный момент какие-то явно несознательные крестьяне лезут с какими-то двумя несчастными кобылами... Исходя из этой логики, он и пишет свою резолюцию: «Работы и так много, пустяками заниматься некогда».

20 мая (в тот же день, что и телеграмма о Булатове) крестьянские письма с этой резолюцией попадают на стол к Владимиру Ильичу Ленину... Но прежде чем сказать, как он реагировал на приведенную резолюцию, давайте попробуем на минутку стать на точку зрения крестьянина.

Революция дала крестьянину землю. Это то, о чем многомиллионное беднейшее и среднее крестьянство России мечтало веками, и оно готово защищать Советскую власть до последней капли крови. Но полученную землю надо обрабатывать, а война выбила лошадей, коров... Если у тебя есть земля и есть лошадь, можешь пахать, сеять, убирать урожай — все ясно. А если нет лошади? Тогда, к сожалению, тоже все ясно: надо шить суму и идти побираться...

Таким образом, для крестьянина Ф. Романова или И. Калинина вопрос о лошади — это один из главных жизненных вопросов. И когда к Ленину попадают крестьянские бумаги с резолюцией «пустяками заниматься некогда», он пишет свою резолюцию: «...В Государственный контроль для ареста ответственного так чиновника».

В этом конкретном споре между чиновником и крестьянином по проблеме — что есть главное, а что «пустяки» — Ленин стоял на позиции крестьянина. Для него Советская власть являлась понятием, охватывающим не только процессы и события «мирового масштаба», но и судьбу каждого рабочего, каждого крестьянина. И человек, который считает жизненно важным для труженика вопрос «пустяками», — такой человек, по мнению Ленина, не может быть работником Советской власти.

В. И. Ленин всегда стоял на точке зрения рабочего, на точке зрения трудящихся, на точке зрения защиты интересов пролетарской революции. «Я передумывала всю его жизнь», — говорила после смерти Ленина Н. К. Крупская, — и вот что я хочу сказать вам. Сердце его билось горячей любовью ко всем трудящимся, ко всем угнетенным». Это было главным, что определяло его позицию в жизни. И позицию как ученого, теоретика, мыслителя и позицию как человека. Без этого никогда нельзя понять движущие мотивы, причины его поступков и дел. Потому что они исходили не из понимаемых по-мещански тех или иных добродетелей «вообще». Они исходили именно из этой партийной позиции.

Это, в частности, определяло и личные взаимоотно-

ношения Ленина с людьми, с товарищами по партии, с друзьями...

Решая конкретные вопросы, встававшие перед партией, Ленин никогда не проявлял нетерпимости. «Ему чужда была всякая мелочность», писала Н. К. Крупская, — мелкая зависть, злоба, мстительность, тщеславие... Ленин боролся, резко ставил вопросы, но никогда не вносил он в споры ничего личного, подходил к вопросам с точки зрения дела, и потому товарищи обычно не обижались на его резкость». В декабре 1921 года Ленин писал: «...надо не видеть «интригу» или «противовес» в инакомыслящих или инакоподходящих к делу, а ценить самостоятельных людей».

Но каждый раз, когда разногласия затрагивали коренные интересы трудящихся, партии, революции, Ленин занимал последовательную и принципиальную позицию. Когда в октябре 1917 года Зиновьев и Каменев, выступив в непартийной газете, выдали противнику план восстания, Ленин потребовал их немедленного исключения из партии. «Я бы считал позором для себя», — писал он, — если бы из-за прежней близости к этим бывшим товарищам я стал колебаться в осуждении их. Я говорю прямо, что товарищами их обоих больше не считаю...»

Известно, какая горячая любовь и дружба связывали Ленина с Горьким. Когда Горький приезжал в Лондон на съезд партии, Ленин приходил к нему в гостиницу и щупал простыни — не сырые ли они, — чтобы Горький не простудился. Всякий же раз, когда Горький занимал неправильную позицию, Ленин решительно выступал против него. Но он считал, что это борьба не против Горького, а борьба за Горького. И когда в результате такой борьбы товарищи вновь возвращались на правильные позиции, Ленин был бесконечно счастлив и рад этому.

«Владимир Ильич», — пишет Крупская, — любил людей. Он не ставил себе на стол карточки тех, кого он любил. Но любил он людей страстно. Так любил он, например, Плеханова... Всякое самое незначительное расхождение с Плехановым он переживал крайне болезненно. И после раскола внимательно прислушивался к тому, что говорил Плеханов. С какой радостью он повторял слова Плеханова: «Не хочу умереть оппортунистом».

...Личная привязанность к людям делала для Владимира Ильича расколы неимоверно тяжелыми... Политическая честность — в настоящем, глубоком смысле этого слова, — честность, которая заключается в умении в своих политических суждениях и действиях отрешиться от всяких личных симпатий и антипатий, не всякому присуща, и тем, у кого она есть, она дается нелегко».

Об этом сам Ленин писал как-то Инессе Арманд: «Вот она, судьба моя. Одна боевая кампания за другой — против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма... Это с 1893 года. И ненависть пошлаков из-за этого. Ну, а я все же не променял бы сей судьбы на «мир» с пошляками».

Партия была для Ленина не группой людей «приятных друг другу во всех отношениях», собравшихся побеседовать или поспорить по тем или иным интересным проблемам. Партия нового типа, созданная Лениным, являлась боевым авангардом революционного пролетариата, объединенным железной дисциплиной, единством воли и действий.

«Мы идем тесной кучкой», — писал Ленин, — по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не осту-

паться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения. И вот некоторые из нас принимают кричать: пойдете в это болото! — а когда их начинают стыдить, они возражают: какие вы отсталые люди! и как вам не совестно отрицать за нами свободу звать вас на лучшую дорогу! — О да, господа, вы свободны не только звать, но и идти куда вам угодно, хотя бы в болото; мы находим даже, что ваше настоящее место именно в болоте, и мы готовы оказать вам посильное содействие к вашему переселению туда. Но только оставьте тогда наши руки, не хватайтесь за нас и не пачкайте великого слова свобода, потому что мы ведь тоже «свободны» идти, куда мы хотим, свободны бороться не только с болотом, но и с теми, кто поворачивает к болоту!»

Пожалуй, ни одно из качеств не вызывало в Ленине такого отвращения, как политическая беспринципность. В 1914 году Ленин писал: «Старые участники марксистского движения в России хорошо знают фигуру Троцкого, и для них не стоит говорить о ней. Но молодое рабочее поколение не знает ее, и говорить приходится... Во времена старой «Искры» (1901—1903) для этих колеблющихся и перебегающих от «экономистов» к «искровцам» и обратно была кличка: «тушинский перелет» (так звали в Смутное время на Руси воинов, перебежавших от одного лагеря к другому)».

«...Тушинские перелеты» объявляют себя выше фракций на том единственном основании, что они «заимствуют» идеи сегодня одной, завтра другой фракции. Троцкий был ярым «искровцем» в 1901—1903 годах, и Рязанов назвал его роль на съезде 1903 года ролью «ленинской дубинки». В конце 1903 года Троцкий — яркий меньшевик, т. е. от искровцев перебежавший к «экономистам»... В 1904—1905 году он отходит от меньшевиков и занимает колеблющееся положение, то сотрудничая с Мартыновым («экономистом»), то провозглашая несуразно-левую «перманентную революцию». В 1906—1907 году он подходит к большевикам... В эпоху распада, после долгих «нефракционных» колебаний, он опять идет вправо... Такие типы характерны, как обломки вчерашних исторических образований и формаций...»

Сегодня, листая архивные документы, воспоминания современников, Собрание сочинений В. И. Ленина, выискивая ту или иную деталь или черточку, характеризующие его как человека, вождя и мыслителя, можно было бы раскладывать по полочкам те или иные дела его и поступки. Но это занятие ненужное и бесперспективное. В вихре революционных событий все они причудливо чередовались и переплетались. И в один и тот же день Ленин разрабатывал и меры по решительному подавлению контрреволюционного мятежа гарнизона «Красной Горки» и меры по расширению бесплатного детского питания. «Простой со всеми», — писал М. Лядов, — чуткий, бесконечно добрый и в то же время непреклонный, нетерпимый, беспощадный к себе и к людям, раз дело касается партии, революции — таковым Ильич останется в памяти у всякого, кто его знал».

ДИАЛЕКТИКА РЕВОЛЮЦИИ

Буржуазные апологеты, благословляющие и освящающие любые жестокости империализма, многократно упрекали марксистов, и в особенности Ленина, в том, что, разрабатывая стратегию и тактику пролетарской борьбы, они опираются исключительно на силу и вооруженное насилие.

Если бы речь шла о профессиональных фальсификаторах, то вряд ли стоило бы здесь останавливаться на этой проблеме. Но, очевидно, многократное повторение этого тезиса привело к тому, что многие стали воспринимать его как действительно установленную аксиому.

Альберт Эйнштейн писал: «Я уважаю в Ленине человека, который всю свою силу с полным самопожертвованием своей личности использовал для осуществления социальной справедливости». Но тут же Эйнштейн добавляет: «Его метод кажется мне нецелесообразным...» Что ж, давайте посмотрим, что думал и говорил Ленин об этом «нецелесообразном методе».

Действительно, основоположники марксизма не раз повторяли мысль о том, что именно революции являются «локомотивами истории», а насилие — ее «повивальной бабкой». Но, формулируя эту мысль, они исходили отнюдь не из собственных пожеланий или симпатий к насилию. Они констатировали объективный закон развития общества на той стадии, которую они называли «предысторией человечества».

Некоторую пищу антикоммунистическим идеологам подбрасывают ныне современные «левые» авантюристы, заявляющие, что, будучи «последовательными марксистами», они в принципе отвергают всякий мирный путь. Но разница между мирным и немирным путями не тождественна разнице между эволюцией и революцией. Водораздел между марксизмом и немарксизмом лежит не здесь. Не в абсолютизации одного из путей, а в точном анализе обстановки и определении в зависимости от нее форм и методов борьбы.

Те, кто изучал произведения Маркса, Ленина, программные документы КПСС и других коммунистических партий, те знают, насколько осторожно подходят марксисты к решению этих проблем. «Восстание было бы безумием там, — писал Маркс, — где мирная агитация привела бы к цели более быстрым и верным путем». «Рабочий класс, — писал Ленин, — предпочел бы, конечно, мирно взять в свои руки власть...» Он подчеркивал, что пролетариат «обеими руками ухватился бы за малейшую реформистскую возможность осуществления всякой перемены к лучшему».

Но история, а отнюдь не субъективная воля теоретиков, вождей или партий создавала иную объективную обстановку и иные возможности, при которых альтернатива сводилась уже не к выбору мирных или немирных средств борьбы, а к ситуации, где «всякой перемены к лучшему» можно было добиться только путем революционного насилия.

Когда в годы революционной ситуации вся либеральная печать буквально вопила о необходимости реформы «сверху» и об «органической неспособности» правящей бюрократии удовлетворить назревшие потребности страны, Ленин писал, что «нежелание» реформ объясняется не столько тупостью царских министров, сколько объективной невозможностью реформистского выхода из кризиса, в котором находилась страна. Именно это, указывал Ленин, делает реформизм смешным, бессильным.

В эпоху первой русской революции 1905—1907 годов, анализируя социально-экономические отношения в России, Ленин установил два объективно возможных пути дальнейшего развития капитализма в русской деревне: путь «прусский» и путь «американский». Первый означал разорение миллионов крестьянских семей в пользу помещиков, второй — ликвидацию помещичьего землевладения и переход земли к крестьянам.

С точки зрения правящей верхушки «пруссский» вариант был «естественным», «законным» и «мирным», ибо он осуществлялся путем реформ сверху. Второй путь, по мнению верхов, чреват «нежелательными» осложнениями снизу. Ленин доказал, что оба пути неизбежно связаны с насилием. Потому что и помещичьи реформы сверху, направленные к обезземеливанию крестьян, несут горе и страдания миллионам.

В 1917 году конкретно-историческая обстановка, в которой находилась Россия, завязала узел социальных противоречий таким образом, что развязать, вернее, разубить его могла только социалистическая революция. Широкие народные массы страны были поставлены самим ходом событий перед дилеммой — либо диктатура буржуазии и продолжение кровавой империалистической бойни, ежедневно уносившей тысячи человеческих жизней, либо диктатура пролетариата, первое в мире государство трудящихся и революционный выход из войны. Такова была объективная возможность выбора.

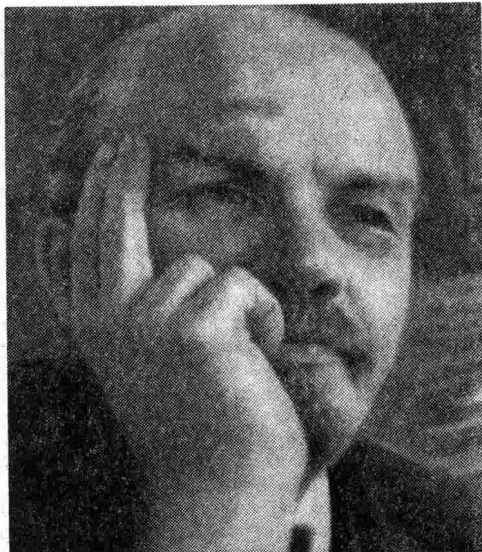
1 сентября 1917 года, уже после того, как большевистская партия взяла курс на вооруженное восстание, Ленин анализирует политическую ситуацию, возникшую в стране после разгрома корниловского мятежа. Он устанавливает, что эта ситуация создает возможность для мирного движения вперед революции. Возможность, которая исчислялась всего несколькими днями. И он пишет: «Если есть даже один шанс из ста, то попытка осуществления такой возможности все-таки стоила бы того, чтобы осуществить ее».

Конечно, мирный путь развития революции был бы предпочтительней и безболезненней. Насильственный метод борьбы «как-никак означает тяжелую гражданскую войну, долгую задержку после этого мирного культурного развития...» И Ленин пишет: «Только во имя этого мирного развития революции — возможности, **крайне** редкой в истории и **крайне** ценной, возможности, исключительно редкой, только во имя ее большевики, сторонники всемирной революции, сторонники революционных методов, могут и должны, по моему мнению, идти на такой компромисс».

Сущность компромисса заключалась в том, что большевики готовы были поддержать создание меньшевистско-эсеровским ЦИКом Советов правительства без буржуазии на базе Советов и ответственного перед ними. Это правительство должно было обеспечить и мирную передачу в руки Советов всей власти на местах. Не претендуя на вхождение в это правительство и оставляя за собой полную свободу агитации, большевики готовы были отказаться «от выставления немедленно требования перехода власти к пролетариату и беднейшим крестьянам, от революционных методов борьбы за это требование».

Если бы меньшевики и эсеры приняли это предложение, возможность гражданской войны в значительной мере была бы исключена. Но они отвергли его. 17 октября Ленин писал: «Выхода **нет**, объективно нет, не может быть, **кроме** диктатуры корниловцев или диктатуры пролетариата...» Это «доказала полугодовая история нашей революции».

Тщательно и всесторонне готовя вооруженное восстание, Ленин не раз напоминал тем, кто всецело полагался лишь на стихийный взрыв возмущения масс, тезис марксизма о том, что восстание — это искусство. И ленинский план восстания как раз поражал той глубиной и тонкостью, которая, подобно математическим шедеврам, делает неуловимой грань между наукой и искусством. Когда же восстание бы-



ло подготовлено, когда момент для него назрел, Ленин обратился с письмом в ЦК партии:

«Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое... На очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Советов), а исключительно народом, массой, борьбой вооруженных масс... История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя потерять много завтра, рискуя потерять все... Народ вправе и обязан решать подобные вопросы не голосованиями, а силой... Это доказала история всех революций, и безмерным было бы преступление революционеров, если бы они упустили момент, зная, что от них зависит **спасение революции**, предложение мира, спасение Питера, спасение от голода, передача земли крестьянам... Промедление в выступлении смерти подобно».

Именно потому, что восстание было тщательно и всесторонне подготовлено, именно потому, что оно выражало и опиралось на волю и энергию большинства народа, оно и стало столь победоносным и столь бескровным.

Многие современники, видевшие Ленина в ночь на 25 октября 1917 года, оставили нам свои воспоминания. К лучшим из них принадлежат записи А. В. Луначарского: «Весь Смольный ярко освещен. Возбужденные толпы народа снуют по всем его коридорам. Жизнь бьет ключом во всех его комнатах... Громадной важности поручения и назначения делаются тут же, тут же диктуются на трещащих без умолку машинках, подписываются карандашом на коленях, и какой-нибудь молодой товарищ, счастливый поручением, уже летит в темную ночь на бешеном автомобиле».

И за всем этим человеческим водоворотом и бурей страстей — спокойная решимость и воля Ильича. К нему сходятся все нити восстания, и от него, словно электрический ток, расходятся во все концы восставшей России приказы и директивы. По словам Луначарского, Ленин более всего напоминает в этот момент опытного лодмана, взявшего в свои руки рулевое колесо океанского гиганта.

«Есть у коммунистов, — пишет Луначарский, — эта особенная черта: вы не часто встретите среди них людей, kloкочущих страстью, напоминающей порой иступление и даже истерику; при огромной энергии и внутреннем горении они обыкновенно внешне спокойны, и это спокойствие выступает на первый план как раз в самые рискованные и яркие дни... Владимир Ильич чувствует себя словно рыба в воде: веселый, не покладая рук работающий и уже успевший написать где-то в углу те декреты о новой власти, о мире и о земле, которые когда-то сделаются — это мы уже теперь знаем — знаменательнейшими страницами истории нашего века».

Когда после Октября большевиков упрекали в том, что, выйдя из войны империалистической, они «ввергли» страну в «кровавую пучину» гражданской войны, Ленин писал: «Для таких господ 10 000 000 убитых на империалистической войне — дело, заслу-

На снимках: на стр. 74 В. И. Ленин в беседе с Гербертом Уэллсом 6 октября 1920 года; на параде войск Всевожуча 25 мая 1919 года; на II конгрессе Коммунистического Интернационала, июль — август 1920 года. На стр. 75 В. И. Ленин в июне — июле 1921 года; 7 октября 1922 года, в рабочем кабинете Кремля; на закладке памятника «Освобожденный труд», 1 мая 1920 года.

живающее поддержки (делами, при слащавых фразах «против» войны), а гибель сотен тысяч в **справедливой** гражданской войне против помещиков и капиталистов вызывает ахи, охи, вздохи, истерики».

«Мы, в идеале, против всякого насилия над людьми», — говорил Ленин Горькому. И не пролетарская диктатура выступила инициатором массового террора против врагов революции. Он был навязан Советскому государству. Он явился единственно возможной защитной мерой против бешеного кровавого террора, начатого контрреволюцией. Они начали войну. А уж «когда воевать» — не раз говорил Ленин, — так по-военному».

Но и после этого, в отличие от реакционных экстремистов, которые и сегодня пытаются превратить вооруженное насилие в универсальную отмычку для решения всех проблем, Ленин, большевики рассматривали террор лишь как марию временную и чрезвычайную, отнюдь не «романтизируя» насилия, понимая ограниченность его функций.

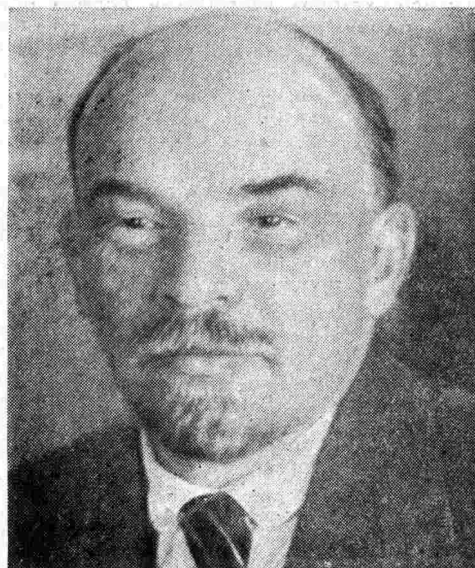
Те, кто работал рядом с Лениным, великолепно понимали это. В напряженный момент гражданской войны, составляя официальную инструкцию для работников ВЧК о порядке производства обысков и арестов, Ф. Дзержинский писал: «Вторжение вооруженных людей на частную квартиру и лишение свободы повинных людей есть зло, к которому и в настоящее время необходимо еще прибегать, чтобы восторжествовало добро и правда. Но всегда нужно помнить, что это зло, что наша задача, — пользуясь злом, искоренить необходимость прибегать к этому средству в будущем. А потому — пусть все те, которым поручено произвести обыск, лишить человека свободы и держать его в тюрьме, относятся бережно к людям, арестуемым и обыскиваемым, пусть будут с ними гораздо вежливее, чем даже с близким человеком, помня, что лишенный свободы не может защищаться и что он в нашей власти». Ни в одном буржуазном карательном органе не было и не могло быть подобной инструкции.

Мы оборвали мысль Альберта Эйнштейна на середине фразы. Продолжим ее: «Его метод кажется мне нецелесообразным, но одно несомненно: люди, подобные ему, являются хранителями и обновителями совести человечества».

Октябрьская революция дала гигантский толчок дальнейшему развитию мирового революционного процесса. Начался период быстрого роста политического сознания рабочего класса, возникновения коммунистических партий. В 1919 году был создан III, Коммунистический, Интернационал. Но вместе с успехами растущего коммунистического движения Ленин стал отмечать и некоторые признаки того явления, которое позже он назвал «детской болезнью «левизны» в коммунизме».

В 1919 году Ленин получил письмо деятельницы английского рабочего движения Сильвии Панкхерст. Она просила Ленина использовать свой гигантский авторитет среди пролетариев всего мира и обратиться к английским рабочим с призывом отдать «все свои силы непосредственному революционному выступлению», хотя и заявляла тут же, что в данный момент вызвать революционные настроения в широких массах невозможно. Логика ее размышлений была необычайно проста: многие рабочие уже «приходят к убеждению в необходимости революции», значит, нужны лишь «руководители, которые помогут бы им организовать ее».

Надуманнные схемы всегда удобнее строить, если те или иные сложные явления разложены по полочкам и пронумерованы. Поэтому все рабочее движение Англии, все его партии она распределила по



семи группам. В первых трех группах преобладали, по ее мнению, или «люди с приличной внешностью», или «очень самоуверенные и в высшей степени снисходительные ко всем преступлениям капитализма», или же люди, «зараженные буржуазностью», и «политики устарелого типа, лишенные всякого идеализма и широкого кругозора».

В других группах ее более всего привлекали те, которые стремились объединить беднейшую часть городского населения, и те «замечательные люди, в характере которых при всем их великодушии и гуманности чувствуется некоторая беспощадность, которая окажется нам очень необходимой, когда наступит революция». Критерием этой классификации, кроме «психологических» наблюдений, являлось отношение тех или иных групп к парламентаризму. Причем Панкхерст сразу же заявляла, что «партия, пользующаяся успехом на выборах, с революционной точки зрения безнадежна».

Ленин ответил очень тактично. Он начал с азов. Программой, которая способна и должна объединить пролетарских революционеров, является борьба за диктатуру пролетариата. Из всех групп, указанных Панкхерст, он вычленил несколько наиболее перспективных с точки зрения коммунистической пропаганды. Но делает он это не по признакам «приличной внешности» или «беспощадности», а по степени их связи с пролетарскими массами.

Принципиальный отказ от парламентской деятельности — это ошибка. В ней сказывается отсутствие революционного опыта. Революционная рабочая партия должна быть партией массовой, связанной с большинством трудящихся. Должна быть сплоченной организацией революционного авангарда, умеющей вести работу в массах всеми возможными способами, в том числе и парламентскими. «Есть только один способ помешать победе коммунизма во Франции, в Англии и Германии — это делать левачьи глупости», подчеркивал позднее Ленин. — Если мы будем продолжать свою борьбу против оппортунизма без перегибов, мы можем быть уверены, что победим».

Еще позднее, когда сдержанный тон по отношению к сектантам не дал желаемых результатов, Ленин пришел к выводу о возможности раскола, но не с теми, кто допускал ошибки в вопросах парламентаризма, а с сектантами. «Раскол все же лучше», писал он, — чем путаница, мешающая и идейному, теоретическому, революционному росту, созреванию партии и ее дружной, действительно организованной, действительно подготовляющей диктатуру пролетариата, практической работе». Относительно же призывов к «непосредственным революционным действиям» он прямо указывал, что бросать в решительный бой один только авангард, не обеспечив поддержки широких масс, есть прямое преступление.

Выступая против тех, кто пытался подталкивать или экспортировать революцию, Ленин писал, что «революцию нельзя «сделать», что революции **вырастают** из объективно (независимо от воли партий и классов) назревших кризисов и переломов истории». В связи с этим Ленин дал глубоко научное обоснование того, что же можно считать объективной революционной ситуацией. Ибо только она может поставить в повестку дня вопрос о революционном насилии, сводя почти к нулю «реформистскую» возможность осуществления всякой перемены к лучшему». И в качестве первого признака объективной революционной ситуации Ленин указывает на нежелание низов жить по-старому, то есть на возмущение народа существующим порядком вещей.

Казалось бы, для материалиста несколько неожиданно

данно начинать анализ объективной исторической обстановки с таких категорий. Но «марксизм», писал Ленин, — не есть материализм, остановившийся на азбуке. Марксизм идет дальше. В свое время Энгельс писал: «...что неверно в формально-экономическом смысле, может быть верно во всемирно-историческом смысле. Если нравственное сознание массы объявляет какой-либо экономический факт несправедливым, как в свое время рабство или барщину, то это есть доказательство того, что этот факт сам пережил себя, что появились другие экономические факты, в силу которых он стал невыносимым и несохранимым».

Разумеется, «нежелание низов жить по-старому» в конечном счете также объясняется социально-экономическими причинами, и в частности такой, как угнетение народа. Но важно отметить, что в качестве исходной точки революционной ситуации Ленин берет именно возмущение народных масс. «Ни угнетение низов, — пишет он, — ни кризис верхов не создадут еще революции, — они создадут лишь гниение страны, — если нет в этой стране революционного класса, способного претворить пассивное состояние гнета в активное состояние возмущения и восстания».

Работа в массах, просвещение масс, наконец, завоевание масс — все это было для Ленина не «временным» методом революционной борьбы, а главным ее содержанием, самим ее существом. Для закоренелых сектантов конечной целью был захват власти, а массы — лишь послушным объектом «руководства». Определяя пути развития, задачи революции, решая проблемы революционного насилия, опиравшегося на волю, решимость и энергию широчайших масс трудящихся, В. И. Ленин исходил из интересов борьбы за социализм, опять-таки связанных с интересами развития всего человечества. Именно с этой точки зрения в ходе революции 1905 года был предпочтительнее «американский» путь, ибо он, осуществляя справедливые чаяния крестьян, облегчал и углублял борьбу за социализм. Именно с этой точки зрения и Октябрьская революция 1917 года давала гигантский толчок социальному прогрессу и России и всего человечества.

Отвечая на «ученые» доводы об отсутствии якобы в России объективных и, в частности, «культурных» предпосылок для социалистической революции, Ленин писал: «а не мог ли народ, встретивший революционную ситуацию... не мог ли он, под влиянием безвыходности своего положения, броситься на такую борьбу, которая хоть какие-либо шансы открывала ему на завоевание для себя не совсем обычных условий для дальнейшего роста цивилизации?». Именно в таком подходе Ленина к оценке героической борьбы народных масс и ее целей отражался подлинно гуманистический характер революционного, в том числе и вооруженного насилия.

ЛЕНИН И НАРОД

Жизнь В. И. Ленина сложилась таким образом, что около пятнадцати лет он провёл в эмиграции, за сотни и тысячи километров от России. Вскоре после начала своей политической деятельности, в феврале 1897 года, Ленин проехал всю Россию в далекую сибирскую ссылку. В феврале 1900 года он вернулся обратно. И эта дорога и сама Сибирь остались в его памяти на всю жизнь. Многие из того, о чем до этого и после этого Ленину приходилось думать и писать, он увидел там во всей жизненной реальности. Но ему так

и не удалось побывать ни в Средней Азии, ни на Дальнем Востоке, ни на Украине...

И все-таки каждый раз, когда люди приезжали к Ленину из самых глухих и удаленных мест страны, они поражались тому, насколько Ленин точно знает положение на местах, настроения на местах, те запросы, надежды и чаяния, которые волнуют рабочих и крестьян. Откуда бралось это удивительное знание жизни, это ощущение человека, держащего руку на пульсе страны?

Ленин великолепно знал страну как ученый. Те же земские статистические обследования или материалы «Общества фабрикантов и заводчиков», сотни которых были использованы в его фундаментальных трудах, давали не только основу для теоретико-экономических и философских выводов. Они давали точную картину реальной жизни и в масштабах губерний или уездов и в рамках отдельного завода или крестьянского двора.

Картину реальной жизни давало и скрупулезное изучение газет, писем, самых разнообразных документов и материалов с мест, которые всегда привлекали особое внимание Ильича. 26 января 1922 года он пишет редактору крестьянской газеты «Беднота»: «Не напишете ли мне кратко (2—3 странички *tahtum*) сколько писем от крестьян в «Бедноту»? что важного (особенно важного) и нового в этих письмах? Настроения? Злобы дня?»

Но главным было, конечно, постоянное и повседневное общение с людьми. Десятки тысяч людей слушали Ленина на съездах, конгрессах, митингах и собраниях. Слушая эти выступления, даже опытные политические деятели, видевшие на своем веку немало блестящих ораторов, сталкивались с тем, что поражало и восхищало их. «Невысокая коренастая фигура с большой лысой и выпуклой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза, крупный нос, широкий благородный рот, массивный подбородок... Потертый костюм, несколько не по росту длинные брюки... Ленин говорил, широко открывая рот и как будто улыбаясь: голос его был с хрипотцой...» Это записи Джона Рида. Он же подводит итог своим наблюдениям: «Ничего, что напоминало бы кумира толпы». Но тут же отмечает: «Тысячи простых лиц напряженно смотрели на него... Простой, любимый и уважаемый так, как, быть может, любили и уважали лишь немногих вождей в истории».

История знала немало политических деятелей, чьи выступления, полные артистизма и блеска эрудиции, вызывали всеобщее восхищение. История знала и ораторов, чей темперамент и эмоциональность заражали аудиторию, заставляли «сопереживать» речь. Ленин принадлежал к другому типу ораторов. Революционное просвещение и убеждение масс — вот цель, которую он ставил перед собой, выходя к аудитории. Он заставлял слушателей думать вместе с ним. К каждой мысли, к каждому выводу он подводил аудиторию силой своих аргументов. И каждая его мысль становилась собственной мыслью его слушателей.

«Он анализировал, делал выводы и постоянно ссылаясь на хладнокровное взвешивание всех обстоятельств, а еще больше на здравый человеческий смысл». Это пишет чешский коммунист Бедржих Рунге, слушавший Ленина на IV конгрессе Коминтерна. «Ленин часто улыбался, и его лицо с могучим лбом было постоянно озарено иронической улыбкой и умным взглядом, которым он окидывал собрание, выискивал лица и с ними разговаривал».

Эти оценки опытных политических деятелей можно дополнить и другими свидетельствами. Вот слесарь депо Сортировочная А. Я. Волков, присутствовавший

на десяти тысячном митинге в Алексеевском манеже: «Он заставил себя слушать, говорил просто, и ему верили...» Вот рабочий И. М. Корягин: «В жизнь мою въелись его слова, только я их выразить не могу». Рабочий завода «Динамо» Моисеев: «Говорил он отчетливо и громко... и получалось от его речи в мозгах рабочих прояснение».

«В жизнь мою въелись его слова» — такого результата можно было добиться, только зная о том, что именно волнует людей сегодня, на какой именно самый важный и самый главный вопрос они ждут и ищут ответа. На тех же съездах, митингах и собраниях, где тысячи людей жадно ловили каждое слово Ленина, сам он с таким же вниманием слушал каждого выступавшего. Его многочисленные записи речей и выступлений рабочих и интеллигентов, крестьян и партийных работников всегда точно схватывали суть вопроса, иногда даже интонацию...

22 декабря 1920 года М. И. Калинин собрал совещание беспартийных крестьян — делегатов VIII съезда Советов. Владимир Ильич пришел на это совещание. Многие из присутствовавших не заметили его. Он устроился поудобнее и стал записывать выступления. О чем говорили крестьяне? Из Минской губернии: «Соли, железа и всего, чтобы засеять всю землю». Из Донбасса: «А люди только носят портфель, а ничего не сделали. Не можете — дайте разрешение достать...» Из Иваново-Вознесенской: «При разверстке одинаково облагается и лодырь и старательный, что крайне несправедливо». Из Костромской губернии: «Заинтересовать надо крестьянина. Иначе не выйдет... Сельское хозяйство из-под палки вести нельзя. Давать предпочтение трудящему, а не кто по грибы ходит». Из Екатеринославской: «Более к жизни близко и к сердцу бедных крестьян...» И так 28 выступлений. Свои записи Ленин рассылает всем членам ЦК партии и всем наркомам, потому что и эти выступления есть та самая реальная жизнь со всеми ее проблемами и сложностями, которая и диктует партии программу действий.

Ленин любил иногда погулять с Н. К. Крупской по городу или на окраинах. «В то время Ильича, — пишет Крупская, — в лицо мало кто знал; когда он ходил по улице, на него никто не обращал внимания». Случайные встречи, разговоры, реплики тоже давали иногда Ленину повод для самых серьезных размышлений.

В январе 1922 года Ленину пришлось проехать на дрезине ВЧК по подмосковной железной дороге. Попутчики не узнали его. После поездки, 16 января, Ленин писал в ВЧК и НКПС: «К счастью, я, будучи инкогнито в дрезине, мог слышать и слышал откровенные, правдивые (а не казенно-сладенькие и лживые) рассказы служащих, а из этих рассказов видел, что это не случай, а вся организация такая же неслыханно позорная, развал и безрукость полнейшие».

Первый раз я ехал по железным дорогам не в качестве «сановника», поднимающего на ноги все и вся десятками специальных телеграмм, а в качестве неизвестного, едущего при ВЧК, и впечатление мое — безнадежно угнетающее».

Сотни людей встречались и беседовали с Лениным. Многие из тех, кто приходил к нему в кабинет, шли к нему как «на прием» — получить те или иные ответы и указания, решить спорный вопрос, а то и просто посмотреть и послушать своего вождя и учителя. И они получали эти указания, находили ответы. Но очень и очень часто происходило и нечто другое... В процессе беседы Ленин умел создавать товарищескую, деловую и в то же время непринужденную обстановку, которая помогала тем, кто прихо-

дил к нему, выкладывать самое наболевшее, самое сокровенное.

«Какой бы решимости,— пишет американская журналистка Луиза Брайант,— забросать его вопросами ни бываешь преспокоен, всегда уходишь от него, поражаясь тому, что сам ты только что без конца говорил. И вместо того, чтобы спрашивать, сам непрерывно отвечал на его вопросы. У Ленина необыкновенная способность вызывать собеседника на разговор и располагать его к откровенности».

С иностранцами помогало, безусловно, и знание языков. С немцами он говорил по-немецки. С французами по-французски. Итальянцев приветствовал по-итальянски. «Он совершенно свободно говорил по-английски,— пишет Сен Катаяма,— и был очень внимателен к каждому, кто с ним говорил, а также очень хорошо умел слушать... Мы все чувствовали себя хорошо и совершенно как дома».

Это не было обычной данью вежливости. Собеседник всегда представлял для него интерес и как личность. Это был искренний человеческий интерес к человеку. И те, кто разговаривал с Лениным, всегда чувствовали это. Финская писательница Хелла Вуолийокки писала: «Со стороны нам казалось, что человек, с которым беседовал Ленин, самый нужный ему на свете. Как будто именно его он искал всю жизнь и, наконец, нашел».

Но, может быть, все это проявлялось лишь в разговорах с людьми «исключительными», «интересными», «значительными»? В 1918 году Альберт Рис Вильямс пришел на прием к Ленину. «Своей очереди пришлось ждать очень долго. Это было необычайное явление. Ленин принимал очень точно — всегда в назначенное время. Оставалось предполагать, что какое-нибудь важное государственное дело всецело заняло его внимание. Полчаса, час, полтора... мы сидим в приемной, нетерпеливо ожидая... Наконец дверь открылась, и, к всеобщему удивлению и вопреки всем предположениям, в приемной появился не дипломат, не какое-нибудь другое высокое лицо, а косматый мужик в полушубке и лаптях — типичный крестьянский бедняк, каких можно было встретить миллионы в Советской стране».

Что же давали самому Ленину эти беседы, встречи, разговоры? Они давали главное — знание и понимание огромного опыта народной жизни. «Конечно, Ленин,— пишет Альберт Рис Вильямс,— с его университетским образованием, с его тридцатью томами собственных сочинений, много путешествовавший, теоретически знал бесконечно больше, чем мог знать этот тамбовский мужик. С другой же стороны, из суровой школы жизни и труда этот крестьянин вынес много практических знаний — знаний, почерпнутых из жизненного опыта».

Марксисты всегда полагали, что при разработке политики каждый ее практический шаг необходимо рассматривать лишь в связи с общим процессом общественного развития, и притом не только в тех или иных национальных и хронологических рамках, но с учетом опыта всей истории. Ленин прямо указывал, что необходимо учитывать и «еще гораздо более широкий коллективный опыт человечества».

Сознание масс также включает в себя знание и опыт. Он настолько богат и разнообразен, что данный уровень развития науки может и не отражать такого опыта. При этом в сознании передового революционного класса аккумулируется и предшествующий опыт борьбы трудящихся масс и опыт развития всего человечества. Ленин не раз иронизировал над теми политическими деятелями, которые черпали всю свою мудрость из «учебников» и «путево-

дителей». «Ум десятков миллионов творцов,— писал он,— создает нечто неизмеримо более высокое, чем самое великое и гениальное предвидение».

Повседневная связь с массами, встречи и беседы с рабочими, крестьянами, представителями интеллигенции, с партийными и государственными работниками были тем каналом, который связывал жизнь и политику Ленина с жизнью и борьбой масс, помогал находить решения сложнейших задач, встававших перед партией и Советским государством.

В июле 1917 года, рассказывает Ленин, «мне довелось, благодаря особенно заботливому вниманию, которым меня почтило правительство Керенского, уйти в подполье. Прятал нашего брата, конечно, рабочих. В далеком рабочем предместье Питера, в маленькой рабочей квартире подают обед. Хозяйка приносит хлеб. Хозяин говорит: «Смотри-ка, какой прекрасный хлеб. «Они» не смеют теперь, небось, давать дурного хлеба...»

Меня поразила эта классовая оценка июльских дней. Моя мысль вращалась около политического значения события, взвешивала роль его в общем ходе событий, разбирала, из какой ситуации проистек этот зигзаг истории и какую ситуацию он создаст, как должны мы изменить наши лозунги и наш партийный аппарат, чтобы приспособить его к изменявшемуся положению. О хлебе я, человек, не выдавший нужды, не думал. Хлеб являлся для меня как-то сам собой, нечто вроде побочного продукта писательской работы. К основе всего, к классовой борьбе за хлеб, мысль подходит через политический анализ необыкновенно сложным и запутанным путем.

А представитель угнетенного класса, хотя из хорошо оплачиваемых и вполне интеллигентных рабочих, берет прямо быка за рога, с той удивительной простотой и прямотой, с той твердой решимостью, с той поразительной ясностью взгляда, до которой нашему брату, интеллигенту, как до звезды небесной, далеко. Весь мир делится на два лагеря: «мы», трудящиеся, и «они», эксплуататоры... «Мы» «их» назвали, «они» не смеют охальничать, как прежде. Нажем еще — сбросим совсем — так думает и чувствует рабочий».

«Этот рассказ Ленина,— пишет М. С. Ольминский,— вводит нас в сокровенную лабораторию его мысли. Голова ищет «интеллигентским» путем, путем сложного теоретического анализа «простоты и ясности» в определении смысла сложного события, чтобы синтезировать результат анализа в лозунгах, которые должны проводиться с твердой решительностью». И где другой теоретик-интеллигент легко запутается в неразрешимых противоречиях, там наш вожь выйдет из затруднений при помощи пролетарской классовой точки зрения; она стала второй природой «интеллигента» Ленина благодаря постоянному с его стороны пристальному вниманию к ходу пролетарской жизни...

Конечно, не фразой рабочего о хлебе был решен в данном случае вопрос о выборе лозунгов: они определились общим результатом теоретического анализа. Но эта фраза сыграла свою роль — приблизительно такую же, какую, по преданию, сыграло падение яблока с дерева в открытии Ньютоном закона всемирного тяготения. И кто сможет счесть все яблоки, которые падали перед глазами Ильича с великолепного и вечно плодоносного дерева пролетарской мысли, чтобы облегчить ему нахождение простого и ясного ответа на сложнейшие политические вопросы?..»

28 октября 1917 года к Ленину пришли два питерских металлиста, П. Н. Амосов и М. Н. Животов, ра-

ботавшие в Центральном совете фабрично-заводских комитетов Петрограда. Шел третий день и четвертая бессонная для Ленина ночь революции. Рабочие пришли с клочком бумаги, на которой с помощью кружочков и треугольников изображалась схема некоего учреждения, которое, по их мнению, должно было регулировать и управлять всем народным хозяйством страны. Проект был более чем несовершенен, недостаточен продуман, но сама идея была чрезвычайно интересна. Они долго сидели над этой бумажкой... Так рождался знаменитый ленинский декрет о создании Высшего Совета Народного Хозяйства.

1918 год. 10 мая к Ленину приходит со своими мыслями и соображениями питерский рабочий А. В. Иванов, 14 июня — Н. А. Емельянов, через месяц, 12 июля, — рабочий В. Н. Каюров. У них тоже есть идея... Впрочем, об этом пишет в письме «К питерским рабочим» сам Ленин.

«Тов. Каюров побывал в Симбирской губернии, видел сам отношение кулаков к бедноте и к нашей власти. Он понял превосходно то, в чем не может быть сомнения ни для одного марксиста, ни для одного сознательного рабочего: именно — что кулаки ненавидят Советскую власть...»

Сидеть в Питере, голодать, торчать около пустых фабрик... это — **глупо и преступно**. Это — гибель всей нашей революции. Питерские рабочие должны порвать с этой глупостью, прогнать в шею дураков, защищающих ее, и **ДЕСЯТКАМИ ТЫСЯЧ** двинуться на Урал, на Волгу, на Юг, где много хлеба, где можно прокормить себя и семьи, где **должно** помочь организации бедноты, где **необходим** питерский рабочий, как организатор, руководитель, вождь». Так рождался массовый поход в деревню рабочих, сыгравший важнейшую роль в борьбе за победу революции.

1921 год. Партия разрабатывает новую экономическую политику. 28 февраля к Ленину приходит владимирский крестьянин И. А. Чекунов. Он уже бывал у Ленина и в 1919 году и в 1920-м и всякий раз с наказами от крестьян, своими проектами. «Старик со светлой головой...», «очень интересный трудовой крестьянин, по-своему пропагандирующий основы коммунизма», «вот за таких людей нам надо изо всех сил уцепиться для восстановления доверия массы крестьян», — так писал о нем Ленин. По предложению Ленина, Чекунова вводят в состав коллегии Наркомата земледелия.

Если мы внимательно посмотрим биографическую хронику В. И. Ленина, мы увидим, что каждый из поворотных моментов в истории нашей страны, те дни, когда принималось то или иное важное принципиальное решение, буквально окружены сетью таких встреч, бесед и разговоров. Непосредственная связь с народом являлась одним из важнейших источников мудрости Ленина и как мыслителя, и как вождя партии, и как руководителя государства, и как человека.

Но, может быть, приведенные примеры — это лишь частности? Ну, а Советы — рожденные опытом революционной борьбы масс, определившие новую, невиданную доселе форму государства трудящихся?

А ленинский Декрет о земле? Сотни лет висел над Россией проклятый аграрный вопрос. Сколько лучших умов билось над его решением! Сколько пухлых «ученых» трудов сочиняли о нем казенные профессора? Ленинский Декрет о земле решил его сразу...

Но напомним, что декрет, принятый 26 октября 1917 года, состоял из двух частей: первой части, написанной Лениным, и второй части, которую составлял так называемый «Крестьянский наказ», предусматривавший, как и каким образом конкретно нужно распределять между крестьянами землю, отобранную у помещиков. Кто написал его? Его написали сами крестьяне. После Февральской революции, собираясь на многочисленных сходах, крестьяне формулировали свои пожелания и посылали их в редакцию «Известий». Редакция собрала и обобщила эти наказаы. И именно этот общий крестьянский наказ и составил вторую часть Декрета о земле.

Отмечая принципиальное несогласие большевиков с лозунгом уравнилельного землепользования, содержавшимся в наказе, Ленин говорил: «...Как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были несогласны. В огне жизни, применяя его на практике, проводя его на местах, крестьяне сами поймут, где правда».

А ленинский Декрет о мире — открывший новую страницу в истории международных отношений! Его не писали солдаты, сидевшие в окопах. Но это было как раз то, о чем мечтали солдаты, сидевшие в окопах, о чем мечтали миллионы и миллионы людей, находившихся в тылу.

В первый день создания первого в мире государства трудящихся Ленин с трибуны Всероссийского съезда Советов заявил: «...пора отбросить всю буржуазную фальшь в разговорах о силе народа. Сила, по буржуазному представлению, это тогда, когда массы идут слепо на бойню, повинаясь указке империалистических правительств. Буржуазия только тогда признает государство сильным, когда оно может всей мощью правительственного аппарата бросить массы туда, куда хотят буржуазные правители. Наше понятие о силе иное. По нашему представлению государство сильно сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить и идут на все сознательно».

Составляя тезисы для одного из своих выступлений в январе 1922 года, Ленин записал: «Жить в гуще. Знать настроения. Знать ВСЕ. Понимать массу. Уметь подойти. Завоевать ее **АБСОЛЮТНОЕ ДОВЕРИЕ**. И, наконец, «Не лстыть массе».

Ленин учил коммунистов неустанно укреплять связь с народом. Он считал, что усилия партии в борьбе за революционное преобразование общества оказались бы бесплодными, если бы она не опиралась в своей деятельности на величайшую революционную энергию и творческую самостоятельность трудящихся масс. В этом — источник силы и крепости Коммунистической партии и Советского государства. «Масса трудящихся, — говорил Ленин, — за нас. В этом наша сила. В этом источник непобедимости всемирного коммунизма».



Марина Акопян

РЕМБРАНДТ

Как свет обнаруживает и себя самого и окружающую тьму, так истина есть мерило самой себя и жи.

Спиноза

Четвертого октября 1669 года в одном из бедных кварталов Амстердама тихо скончался голландский художник Рембрандт ван Рейн. Это событие прошло почти не замеченным. Лишь лаконичная запись о погребении появилась в церковной книге прихода Вестеркерк: «8 октября 1669 года похоронен Рембрандт ван Рейн, художник с улицы Розенграхт», — да скромная опись имущества — «платья, белья и рабочих инструментов».

Так отнеслась Голландия XVII века к судьбе одного из самых гениальных своих сынов. Понадобилось время, чтобы его имя стало в ряды великих живописцев мира, а бессмертные полотна заняли почетные места в музеях Парижа и Лондона, Амстердама и Гааги, Дрездена, Ленинграда и Москвы.

Триста лет прошло со дня смерти художника, но интерес к его творчеству не иссякает. Свидетельство тому — триумфальное шествие его юбилейной выставки почти по всем континентам, нескончаемый поток почитателей в залах музеев. В истории мирового искусства найдется, пожалуй, немного имен, которые бы пользовались такой же популярностью и непреходящей славой, как имя Рембрандта. Подобно Рафаэлю, Леонардо, Микеланджело, Дюреру, он принадлежит к числу величайших художников, чей талант созвучен лучшим идеям нашего века.

В чем же состоит загадка Рембрандта, тайна его искусства, заставляющая нас спустя триста лет восхищаться его полотнами? Почему он нам так близок? Портреты безвестных стариков, скромных, ничем не примечательных жителей Амстердама, друзей, родных художника, полотна, сюжетами которых служат библейские притчи, начинают говорить с нами на языке понятном и близком — языке больших человеческих чувств и переживаний. Это темы добра и зла, любви и ненависти, горя и сострадания, на протяжении веков волновавшие человечество.

Пристально и доброжелательно вглядывается художник в лица портретируемых, отмеченные печатью страданий, годами прожитой жизни. Художника не интересует богатство и знатность, внешний блеск и даже физическая красота. Его привлекает только внутренний мир, мир человеческой души, тончайшие оттенки настроений и переживаний. В самом обычном, простом человеке он ценит прежде всего большие чувства, благородство его душевного мира, глубину страдания или искренность счастья, сложность и внутреннюю значительность характера. И в этом великий гуманизм гениального мастера, непреходящая ценность его творений. Вот почему его герои стали всемирно известными персонажами. Кажется, что мы знаем об этих людях бесконечно много, и они нам до странности знакомы. Подобные ощущения испытывали многие. Вспомним «Домик в Коломне» Пушкина: «Я сто́крат видал... в картинах Рембрандта

такие лица»; Репин в «Далеком — близком», вспоминая петербургскую экономку, замечает: «У Рембрандта есть в Эрмитаже точь-в-точь такая старушка»; Гете и Бальзак, каждый по-своему, восприняли уроки великого голландца; они угадывали «рембрандтовское» в лицах и судьбах своих современников.

Родиной Рембрандта была Голландия. В начале XVII века, когда жил и работал художник, она только что завоевала независимость после долгой национально-освободительной войны с Испанией. Нидерландская революция победила, дав Голландии новое государственное устройство — буржуазную республику — и новую религию — протестантизм. Тогда же, одновременно со свободой, родилось настоящее, национальное голландское искусство. Новое поколение буржуазии, пришедшее к власти, сильное и энергичное, требовало искусства, соответствовавшего его идеологии. Главным завоеванием этого искусства был реализм. Борьба за свободу обострила национальное чувство, и голландец XVII века хочет видеть на полотнах своих художников верный портрет родины, независимость которой была завоевана столь дорогой ценой: ее родные земли, поля, города, небо, извечно подернутое дымкой облаков, свой собственный дом и самого себя. Так появились в голландской живописи портрет, пейзаж, натюрморт, бытовые картины, оставив скромное место мифологии и религиозной тематике. Искусство многочисленных художников, современников Рембрандта, прозванных «малыми голландцами», привлекало соотечественников своей бесхитростностью, поэзией и красотой повседневности. И на фоне этого искусства возникает гигантская фигура Рембрандта, независимая, самобытная, не похожая ни на кого. Рембрандт в своем творчестве преодолел ограниченность и узость «малых голландцев», замыкавшихся в небольшом мирке жизненных интересов буржуа, и возвысился до постановки духовных проблем, имевших общечеловеческое значение. Ему пришлось пережить богатство и бедность, славу и забвение, большое счастье и полное одиночество, но никогда он не изменял своему искусству, тому, во что свято верил.

Судьба связала Рембрандта с двумя крупнейшими городами Голландии, где он жил и работал, — Амстердамом и Лейденом. Лейден героически оборонялся от испанских войск. И в награду за этот героизм горожанам было предложено либо освобождение города от налогов, либо основание университета. Лейденцы предпочли последнее. В этом городе 15 июля 1606 года в семье мельника Гарменса ван Рейна родился шестой ребенок, получивший при крещении довольно редкое имя — Рембрандт. Мельница отца находилась на одном из рукавов Рейна (отсюда и

происходит фамилия семьи). Здесь мальчик провел свое детство. В отличие от старших детей — сапожника, мельника, ремесленника — способному младшему сыну отец решил дать хорошее образование. Рембрандт заканчивает латинскую школу, поступает в Лейденский университет. Но стремление учиться живописи берет в нем верх, и вскоре он переходит в мастерскую к местному художнику Якобу ван Сваненбургу. После обычного трехлетнего курса девятинадцатилетний Рембрандт отправляется в Амстердам, где продолжает учебу, однако вскоре возвращается в Лейден и начинает работать самостоятельно. Появляются первые картины и графические работы художника.

Рембрандт пристально изучает лица родных и близких. Отсюда берет свое начало знаменитая галерея портретов художника. В этот период уже определяются его характерные склонности. Целыми днями он бродит по улицам города, внимательно изучая происходящее и делая быстрые зарисовки. В умении схватывать характерные выражения лиц, поз, движения Рембрандт достигает необычайного совершенства. Так появляются многочисленные наброски нищих, слепых, отмеченные жизненной правдой и удивительной человечностью.

Постепенно Рембрандт приобретает известность и в 1631 году переезжает в богатый и людный Амстердам.

Шумный, красивый город, своеобразная северная Венеция, был крупнейшим политическим и художественным центром Голландии. Здесь жили поэты, философы, сюда бежали от религиозного фанатизма и преследований ученые многих стран. Амстердам дал приют знаменитому французскому философу Декарту, здесь работал Спиноза.

Популярность Рембрандта быстро растет. Начинается счастливый период жизни художника, славное десятилетие — с 1632 по 1642 год.

Мы видим Рембрандта на многочисленных автопортретах. Он сильно возмужал по сравнению с лейденским периодом. А рядом с ним часто встречается женский профиль, прелестный и обаятельный. Это Саския ван Эйленбург, происходившая из старинного голландского рода. Брак с ней приносит в дом Рембрандта радость, счастье и благополучие. Вот Саския — почти девочка, беспечная и шаловливая; Саския — невеста, разряженная, как принцесса; Саския — богиня Флора. А сколько счастья, бурной, открытой радости, бьющего через край веселья в его знаменитом дрезденском «Автопортрете с Саскией на коленях», где он изобразил себя вместе с женой за праздничным столом!

В этот период художник создает большое количество портретов, картины на мифологические и библейские сюжеты и среди них «Жертвоприношение Авраама», «Ослепление Самсона», знаменитую «Даная». Язык живописи Рембрандта совершенствуется, он становится богаче, колорит мягче, теплее. Вместе с тем растет несоответствие между демократическими идеалами, гуманистическим мировосприятием Рембрандта и ограниченностью интересов общества, которое превозносило его искусство. Это несоответствие привело художника к острым противоречиям в творчестве, к конфликту с бюргерским окружением. Ярким примером тому явилась огромная по размерам картина «Ночной дозор».

Первое, что бросается в глаза, — это отказ от традиционного типа группового портрета, прочно сложившегося в голландском искусстве того времени. Рембрандт не просто дает серию портретов в пределах одной картины, а представляет изображенных участниками единого события — выступления коман-

ды стрелков под руководством капитана Ф. Б. Кока. Групповой портрет Рембрандт превращает в историческую картину, пронизанную единой мыслью и героическим пафосом, свободолобивым духом Нидерландской революции.

Сложному процессу переоценки ценностей, который происходит в мировосприятии Рембрандта, сопутствуют личные несчастья, обрушивающиеся на него одно за другим в начале сороковых годов. Умирают трое малолетних детей художника, его мать; в 1642 году, в год «Ночного дозора», не стало любимой Саскии, оставившей ему девятимесячного сына Титуса.

С середины сороковых годов меняется тематика картин художника. Он отдает предпочтение скромным и спокойным сюжетам. Динамическая экспрессивность, задор юности, бурная темпераментность ранних полотен уступают место сдержанности, сосредоточенности и углубленности. Преобладают интимные ситуации и лирические настроения. Демократизация его искусства сказывается и в типаже — героями рембрандтовских библейских и евангельских картин становятся отныне простые люди Голландии. И именно к сороковым годам больше всего подходит слова Маркса о Рембрандте: он «писал Мадонну в виде нидерландской крестьянки».

В последние годы Рембрандт вновь обращается к автопортретам, к портретам близких, дорогих ему людей. Его по преимуществу интересуют лица стариков. Мы видим внутреннюю красоту, благородство, глубокую мудрость этих людей, прошедших долгую жизнь, полную горестей и лишений. Так появляются его знаменитые психологические портреты, в которых он воплощает богатство и сложность душевного мира портретируемых, — прославленные портреты Брейнинга и Яна Сикса, портрет брата Адрана и его жены, старика еврея, старушки — великолепные портреты из коллекций Эрмитажа и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Эти портреты часто называют «портретами-биографиями». Они живут сосредоточенной внутренней жизнью. Их лица освещены особым, переливающимся и скользящим светом. С его помощью достигается впечатление подвижности лица.

В 1656 году Рембрандта постигает новый удар: он объявляется несостоятельным должником, его дом и имущество продаются с молотка. Разоренный Рембрандт вынужден поселиться в одном из беднейших кварталов Амстердама. Здесь в полном уединении он создает самые потрясающие свои произведения: полные обаяния молодости и радостной одухотворенности портреты сына Титуса; портреты Хендрике Стоффельс, простой деревенской девушки, вошедшей в дом Рембрандта в качестве служанки и вскоре ставшей верной подругой его жизни. Несчастья продолжают преследовать художника. В 1662 году смерть уносит Хендрике, а через несколько лет — и его единственного сына. Но творческая деятельность Рембрандта продолжается, достигая и в эти годы невиданных высот. Снова меняется живописный язык художника, сама фактура его полотен. Он пишет теперь жирными, густыми мазками. Вблизи они кажутся хаотическим нагромождением красок, а издали искрятся и переливаются.

И вот наконец финал — «Возвращение блудного сына». Забытый и одинокий старик создает свое последнее гениальное произведение, завершающее долгие искания. Это своеобразный итог долгих размышлений о мире, о людях, поражающий величавостью и эмоциональной силой. Это — завещание мастера последующим поколениям, полное любви к миру и человеку.



Вл. Воронов



РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК И ЛИТЕРАТУРА

(О духовности физического труда)

Книги о рабочих людях составляют целый литературный массив — со своими вершинами и плоскогорьями, со своими подступами и распадками. О них предостаточно пишут, спорят, а конца спорам не видать. В газетных и журнальных статьях мелькают в основном одни и те же названия, но все же значительная часть произведений, порой несомненно заслуживающих внимания, так и проходит незамеченной.

К романам и повестям о рабочем классе предъявляются повышенные требования, иногда даже несколько преувеличенные: ведь книги о людях индустриального труда — неотъемлемая часть всей советской литературы, часть, несущая в себе ее общие черты и заботы. И потому разговор о рабочей теме в литературе так или иначе перерастает в разговор о проблемах, достоинствах и недостатках всей литературы.

Есть, конечно, в литературе о рабочих людях специфические особенности: они связаны со своеобразием материала, его исторического осмысления. Об этом и пойдет речь в статье. Пока что отметим существенную грань между спецификой рабочей темы и утверждением ее исключительности. Первая помогает разобраться в литературном процессе, второе не имеет ничего общего с ним. Громадная социальная значимость художественных произведений о людях индустриального труда совсем не означает тематического превосходства одних книг над другими. Все согласны с тем, что «Цемент» и «Люди из захолустья» написаны на главную тему, однако ж и «Тихий Дон» вроде бы книга не второстепенной тематики. И «Русский лес» — тоже.

Опыт советской литературы свидетельствует об этом же. Александр Фадеев в ходе работы над незавершенным романом «Черная металлургия» понимал, что это будет произведение не только о рабочем классе, но также о технической и гуманитарной интеллигенции. «— Это вовсе не только роман о металлургии, — подчеркивает писатель, — она в центре этого романа, — но это роман о советском обществе паших дней...»

Хорошо, что эта фадеевская мысль все чаще вспоминается в литературных дискуссиях, посвященных отображению рабочего человека в искусстве. Она помогает видеть целостный художественный процесс, не разделяя литературу на «деревенскую», «рабочую» или «военную»...

Таким образом, общее направление творческого исследования жизни рабочего класса сегодня не вызывает споров. Они начинаются после, когда речь заходит об отдельных романах и повестях. Тут-то и обнаруживается, что некоторые критики хотели бы оградить художника частоклоком оговорок, ограничив его поле зрения. Например, автор статьи, напечатанной недавно в газете «Труд», перечисляет, что **д о л ж н о** волновать писателя, взявшегося за роман о заводской жизни: «...Его должна волновать забота о том, чтобы труд не был на заводе надоедливым, монотонным, утомительным, чтобы он доставлял удовольствие, чтобы рабочему жилось в среде его товарищей по цеху или бригаде легко и приятно, чтобы отношения с мастером или начальником были деловыми и дружескими, не унижающими достоинства, а, наоборот, укрепляющими человечность».

Все это верно, но ведь в действительности не всегда так бывает. Если следовать только этим рецептам, то можно скатиться к «мотыльковой» литературе. Еще в 30-х годах хороший советский писатель Александр Митрофанов — истинный певец советского рабочего класса — высмеял в романе «Северянка» «угрюмолобых» критиков, которые наше «самое жизнерадостное мировоззрение превращают в квакерское учение». Такие ценители, по выражению Митрофанова, постоянно «отстают перед будущим»: если сегодня объявлена борьба за цветы в рабочей квартире, «угрюмолобый» критик наносит людям, сажающим цветы, десятки цитат, оправдывающих резеду и маргаритки в рабочей квартире. Затем он выходит «и к вящему изумлению всех объявляет в «Вечерней Москве»: «Пролетарии — не аскеты. Они не против хорошей музыки, цветов, красивых вещей». Скажите на милость — как будто

пролетарии когда-нибудь давали ему повод усомниться в этом».

Серьезная литература относится к своим героям, рабочим людям, прежде всего уважительно. Это значит, что писатель не будет умиляться при виде молодого слесаря, читающего книжку или сдающего экзамены на аттестат зрелости. Это значит также, что писатель сумеет рассказать о глубокой духовной наполненности рабочего труда, об истинной поэзии заводского коллектива. Совсем не обязательно вводить «железобетонные» ассоциации в повествование или изображать объяснение в любви на заводском дворе. Тот же Александр Митрофанов замечал в «Северянке», что писатель-вульгаризатор «находит хорошим тоном сравнивать в производственных романах звезды с заклепками, как будто мы, пролетарии, не видим этих самых звезд выше и, черт побери, космичней. Как будто мы не знаем их и своего места во вселенной».

Мы часто с любовью и уважением вспоминаем энтузиазм строителей первых пятилеток, революционный порыв победившего пролетариата, выраженный в лучших книгах 20—30-х годов. Действительно, нельзя без волнения листать сегодня те книги, в которых воплотилась «простоволосая песня» нового мира, впервые изображены «новые чувства: изобретатель, отказывающийся от денег за изобретение; мучения директора, занесенного на черную доску; новое отношение к труду, похожее на любовь, которое рискуешь оскорбить агитстихами и плохо усвоенными техницизмами...».

Времена, конечно, меняются; мироощущение нынешнего рабочего парня стало куда сложнее. Оно уже мало чем отличается от мироощущения молодого человека «умственных» профессий. Оно стало и глубже, интереснее, драматичнее. Мировая революция, которой грезили делегаты III съезда комсомола, сегодня разламывает старый мир на всех континентах — в Европе, Азии, Африке и Америке. Исторический опыт современного рабочего человека включает в себя блистательные победы и трудный путь, на котором были и поражения и отступления. Нам никто не обещал легкой жизни. Романтика созидателей новой жизни никуда не ушла оттого, что мы стали современниками отнюдь не идиллической полувекковой истории рождения социалистических человеческих отношений. Писать о них стало труднее, но ведь большая литература никогда не была развлечением. Это чувство историчности первооткрывателя советского рабочего класса и поступательного движения революции особенно важно донести до молодого читателя.

Как же рассказать подростку, чаще всего имеющему неполное среднее или среднее образование, о сегодняшней рабочей жизни? Как подготовить его к вступлению в большую, сложную жизнь заводского коллектива, полную прозаических будней и высокого смысла, постоянного преодоления инерции мысли и действия? Ведь, к сожалению, еще далеко не все заводские дворы засажены яблоневыми аллеями и до полной автоматизации еще путь неблизкий.

Конечно, очень важно показать процесс постижения рабочего мастерства, поэзию человеческого труда, самого простого ремесла. Вот Димка Ручкин, ершистый парень из повести О. Зобнина «Здесь твое место» (изд-во «Детская литература», 1968), промывает в керосине залпанные смазкой детали. «Работа валилась из рук. В окнах потемнело. На город из-за крыши главного корпуса лезли свинцово-синие скопища туч». Работа грязная и малопривлекательная. Но мас-

тер Михаил Борисович умеет делать ее легко и даже изящно:

«Старые, толстые в суставах пальцы Михаила Борисовича легко бегали по гравиям резцедержателя, оставляя позади себя сухой, чистый, как зеркало, металл... Димка долго, с интересом присматривался к ловким рукам мастера, каждый раз все больше и больше улавливая скрытый смысл их быстрых движений. Понял, что даже промывка, такая простая работа, и та требует опыта».

Горделивое чувство сделанного собственными руками присуще любому человеку, будет ли это хорошо промытая деталь или искусно выточенная многослойная гайка. Но это, наверное, всего лишь прелюдия к серьезному разговору о рабочей жизни, который призвана вести литература с юношей, вступающим в мир.

Случилось так, что Димку Ручкина неласково встретили на заводе, поставили учеником к рвачу и пьянице Шурупу; парень пришел учиться на слесаря-ремонтника, а его третью неделю держат на побегушках и на промывке деталей. У Ручкина было трудное, невеселое детство: вырос без отца, постоянно ощущая, как мать надывается на работе, чтобы более или менее сносно накормить и одеть сына. А Димка мечтал о деньгах, чтобы стать независимым, чтобы мог он угостить своих дружков мороженым, мечтал освободиться от тягостного чувства собственной ущербности.

Как видим, писатель взял весьма реальную исходную ситуацию. К сожалению, в дальнейшем он строит сюжет по нарочито заданным вехам, многократно использованным в юношеской литературе о рабочем классе. Здесь прежде всего неперемный воскресник, после которого герои «усталые, но довольные» возвращаются с песнями. «Димка слушал. Он не знал слов песни, но она ему нравилась. Нравилась ему и новые друзья».

Затем следует какой-нибудь проступок неопытного героя, его обсуждение на рабочем собрании, «перековка» и первое настоящее задание. Здесь, в этой схеме, все в общем-то правильно; но схема есть схема, она не учитывает одного — индивидуальной судьбы героя, особенностей его нравственного, духовного становления. Причем дело не только в том, хорошо или плохо вылеплены характеры, — это задача всей художественной литературы, независимо от интересующей нас темы. Книжки о рабочих людях, написанные для юношества, имеют еще и специфические задачи, связанные с современным осмыслением заводского и, если шире, так называемого физического труда, хотя это понятие в современных условиях уже не ограничивается своим прежним значением.

В наших суждениях о различии между трудом умственным и физическим мы нередко забывали о духовности и умственном наполнении физического труда; забывали о том, что любая сделанная человеческими руками вещь — стол, наличник или топорик — есть произведение умелых рук, направляемых умом, а искусно выточенная на станке балясина говорит не только о мастерстве, об умении, но также о разумении прекрасного, о чувстве изящного, о духовном обогащении мира. Безвременно умерший тбилисский философ К. Мегрелидзе писал: «Духовидцы напрасно искали проявление духа в потемках спиритических сеансов. Каждое успешно завершённое дело есть овеществление идеи — материализация духа».

Духовная насыщенность физического труда profoundly показана в советской литературе. Вспомним хотя бы некоторые рассказы Андрея Платонова. Для него любая работа была исполнена высокого

смысла, ибо человек целиком соединяется «с общей жизнью народа посредством труда». Землекоп Георгий Альвин в рассказе «Свежая вода из колодца» понимает свой труд как «близкое отношение к людям», как «дейтельное сочувствие их счастью, что и его самого делало счастливым, а от счастья нельзя утомиться»...

«Более всякой другой работы Альвину нравился простой труд с лопатой: он верил и знал, что этот труд оживляет землю, подобно пахоте крестьянина, равно и плуг крестьянина и лопата землекопа обращают омертвевший грунт в источник жизни для хлебной нивы или сада и через них в конце концов в питание и в дух человека, — и высший долг однажды рожденного человека был ясен ему».

Такое осмысленное приобщение к величайшим духовным ценностям свойственно платоновским героям, и это одна из лучших традиций социалистического реализма.

Понятие Альвиным назначения труда землекопа ничем, по существу, не отличается от понимания труда других людей: капитана, художника, киноактера, физика-теоретика... Во всех профессиях труд действительно является единственной возможностью приобщения к родному народу, его усилиям, его историческому творчеству.

Генрих Волков в монографии «Социология науки» (Издательство политической литературы, 1968) убедительно доказывает, что «между созданием нового знания (наука) и созданием нового продукта на основе этого знания (материальное производство) не существует той резкой границы, к которой по традиции и инерции тяготеет наше мышление... Прежде чем вещь будет произведена реально, она должна быть так или иначе произведена идеально».

К сожалению, изрядно затрепаны во многих «беседах о профессиях» такие великолепные слова, как «труд», «работа». Им сегодня предпочитают другие, более, казалось бы, красивые слова, вроде «творчества», «деятельности», «деяния». Результат сказался скоро: романтизируя на какой-то период профессии летчика, артиста, врача, мы сняли ореол значительности с других, «рабочих» профессий. Последовали драмы миллионов юношей и девушек, окончивших 10-й класс, но не попавших в институты и вынужденных реальным ходом вещей расставаться с иллюзиями насчет «романтических» и «прозаических», так называемых скромных профессий.

О духовной наполненности физического труда талантливо пишет сегодня Анатолий Ткаченко. В недавно изданной «Молодой гвардией» повести «Пуир» (1968) постоянно ощущается этот высокий смысл рабочего дела. Герои повести, шестнадцатилетние подростки Колька Дергунов, Стас Коневский, рассказчик Толя, бондарят на крупном дальневосточном заводе в годы войны. Вначале они занимаются своим делом по суровой военной необходимости: вчерашние ремесленники, многие из них бывшие детдомовцы, идут на завод, чтобы заменить ушедших на фронт старших. Эти истощенные нелегкой работой подростки, живущие на насыщенных тыловых пайках, умеют отлично работать, знают прекрасные порывы, благородные душевные движения. Мир для рабочих ребят из поселка Пуир полон поэзии, потому что в нем можно трудиться. Они испытывают истинное наслаждение, вернувшись после летней путины в бондарный цех: «человек радовался, человек вернулся к своему делу; ничего он так не любил, как свой верстак, дерево, инструмент, бочки». А когда Толя провел настрогом по доске, «тоже понял: можно, очень даже можно любить бондарную работу. Она древняя, лесная, всегда была нужной человеку, и

потому, стоит тебе взять в руки инструмент и почувствовать под ним дерево, душа твоя радуется хорошему, человеческому делу».

В повести Владимира Пистоленко «У открытых дверей» (изд-во «Детская литература»), получившей положительную оценку читателей и критиков, много страниц посвящено изображению труда молодых рабочих-формовщиков. Одна глава так и называется: «Растем, братцы, растем!». Но вот какое дело: читаешь длинные, многословные разговоры героев по поводу того, сколько формовочных опок они смогут набить за смену, пятьдесят, шестьдесят или семьдесят, и видишь, что все сводится, по существу, к физическим усилиям, к мускульным возможностям ребят или — в лучшем случае — к самолюбивому стремлению подростков быть как взрослые. Процесс духовного роста молодого рабочего человека во многом остается за пределами писательского внимания. Поэтому, когда ребята спорят о будущем, рассуждают о совести и долге, они так легко расстаются со своим трудом, к которому не испытывают никакой тяги, и мечтают о пресловутых автоматических кнопках. Генка Широков говорит друзьям:

— Я вот представляю себе, что у нас в цехе есть такая формовочная машина, которая заменяет все наши. А работает на ней всего один человек. Нажал кнопку, и все...

Коротко говоря, труд для героев повести В. Пистоленко еще не индивидуализирован и остается пока внешней необходимостью или малопривлекательной привычкой. Он никак пока что не связан с характерами Оли Писаренко, Генки Широкова, Бориса Жутаева, с их внутренними потребностями, ибо последние не проявлены в повествовании. Вопрос о личном призвании еще даже не встает перед ними.

Потому герои повести не представляют, что будут делать в будущем, чем интересоваться. Борис Жутаев говорит: «Все будут работать. Возможно, по очереди. Час или два в неделю». А в остальное время, по словам Сережки Рудакова, можно будет «читать, изобретать, учиться и загорать тоже. Одним словом, все ясно».

Неясно только одно: что они будут изобретать, чему будут учиться. Отвлеченные трудовые устремления героев повести — вне характеров и потому висают в воздухе. Я говорю об очень реальных вещах, о самых главных вопросах, встающих перед юношей.

У меня растут года —
будет мне семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?

Вспомним для сравнения героев повести А. Ткаченко «Пуир»: один там сочиняет стихи, другой выработывает в себе рахметовские черты и прочее. Каждый бондарь у Ткаченко трудится по-своему; характер персонажа накладывает отпечаток и на продукты труда. Каждый мастер делает бочки «по своему образцу и подобию». Например, Комлев работал «как хорошая машина. Не горячился, не остывал — на одном ритме, на одном дыхании. Бочки у него получались чистенькие, одинаковые: нанижи на нитку — бусы получаются». Колька Дергунов делал бочки прочные, но не очень ладные: «они у него крепкие, но некрасивые, — такой он «нехудожественный» мастер». Такие точно подмеченные детали помогают лучше почувствовать характеры героев и — весьма важное качество — очеловечивают процесс труда, делают труд необычайно конкретным, личностным.

Если же писатель рассказывает об учении вообще, о работе вообще, то он упускает нравственное фор-

мирование каждой личности, именно этого литературного героя. Мне кажется, индивидуализация в изображении труда, в том числе высокомеханизированного, индустриального, а не только полукустарного, мануфактурного,—необходимое условие успеха произведений о рабочих людях.

Конечно, показать своеобразный характер ручного труда, наверно, легче, чем труда доменщика или прокатчика на современном, почти полностью автоматизированном заводе. Однако же в любом деле, при самой высокой механизации остается часто невидимая поверхностному глазу область, зависящая от личного умения и совестливости мастера. Уловить ее — благодарная задача писателя, проникшего в сокровенные глубины и нравственные источники сегодняшнего индустриального труда. Обаяние древнего серпа и первобытного молота ныне преобразилось в поэзию Серпа и Молота, поднимающую трудящегося человека к новой жизни. А подменять нравственную полноту заводского дела отвлеченными суждениями, общими словами — значит уходить от собственно воспитательных задач литературы.

Такая подмена встречается нередко. Например, знаменитая ленинская формула «учиться коммунизму» иногда понимается как просто «учиться». А воспитание, духовное формирование личности в юношеской литературе в этих случаях отождествляется с образованием — школьным, университетским, академическим. Когда смешивают духовную культуру, нравственное развитие героя с его грамотностью (начитанностью), тогда литературный персонаж движется в книге от аттестата к диплому. Казалось бы, в стране с обязательным средним образованием получение аттестата — дело обычное и, конечно, далеко еще не показатель нравственного роста героя. Но в наших книгах часто обстоит иначе: в той же повести О. Зобнина Димка Ручкин гордо идет в восьмой класс вечерней школы, встречает там слесаря Семена, идущего в десятый класс. «— Ну-у!.. — обрадовался Димка. — А мы с Колькой в восьмом «Б». Вот здорово! Теперь, пожалуй, и учиться надо по-настоящему, раз все вместе собрались.

— А то как же, конечно, по-настоящему, — сказал Семен».

Я говорю не о пользе образования; она бесспорна. На III съезде комсомола В. И. Ленин говорил о необходимости овладения теми запасами знания, которые человечество выработало. Но тогда же Ленин подчеркивал, что далеко не достаточно «усвоить ту сумму знаний, которая изложена в коммунистических учебниках, брошюрах и трудах».

«Если бы только изучение коммунизма заключалось в усвоении того, что изложено в коммунистических трудах, книжках и брошюрах, то тогда слишком легко мы могли бы получить коммунистических начетчиков или хвастунов, а это сплошь и рядом приносило бы нам вред и ущерб, так как эти люди, научившись и начитавшись того, что изложено в коммунистических книгах и брошюрах, оказались бы неумелыми соединить все эти знания и не сумели бы действовать так, как того действительно коммунизм требует».

В. И. Ленин различал образование, учение и воспитание. И, формулируя основную задачу комсомола, требовал, чтобы «все дело воспитания, образования и учения современной молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали».

Поэтому, возвращаясь к нашим литературным делам, приходится напоминать, что нравственное развитие личности состоит не столько в движении от неполной средней школы к средней или от аттестата к диплому, сколько в духовном освоении

мира, в сознательной выработке в себе качеств гражданина коммунистического общества.

А это и есть воспитание в себе прежде всего идейной убежденности, личной, незаемной. Именно в молодые годы человек открывает для себя духовные богатства, доставшиеся ему в наследство.

В старых русских книгах всегда кипели идейные споры, сталкивались мнения, шли бесстрашные поиски мысли. Вспомните романы и повести Тургенева и Чернышевского, Достоевского и Толстого. Им всегда были противны «люди из бумажки», которые холодным рассудком усвоили несколько ходячих идей и на том считали свою задачу выполненной. Герои классических наших книг озабочены решением сложнейших проблем времени. Помните, как Иван Карамазов говорил Алеше, что «нам прежде всего надо предвечные вопросы разрешить, вот наша работа...».

Более ста лет назад Чернышевский писал об «энциклопедическом значении» русской литературы, которая «поняла необходимость освежать свои силы живыми вдохновениями века». Идеями сильными и живыми для Чернышевского были идеи революционного переустройства мира. В XX веке их носителями стали коммунисты, которые ответили на многие «предвечные» вопросы и поставили новые. Учение Маркса и Ленина потому и называют живым, развивающимся учением, что оно представляет собой движущуюся, многогранную мысль о действительности, о путях освобождения человека, мысль, далекую от окаменевших прописей. Романтика овладения этой мыслью, пафос революционного познания мира призывают крупнейшие произведения советской литературы, рисующие молодость страны социализма.

Но если верно, что наше время поставило перед людьми новые, более сложные задачи, тогда никуда не уходит романтика познания, пафос овладения духовными ценностями, к которым тянется сегодняшняя молодежь. Конечно, ходят среди нас такие, как Одинцов, персонаж романа Л. Жуховицкого «Остановиться, оглянуться» (журнал «Нева», 1969, №№1—2), Одинцов, у которого практически не было никаких убеждений. Но это уже из области человеческих аномалий.

Как же нынешние писатели показывают формирование идейной убежденности своих героев? Да почти никак. Точнее говоря, это считается само собой разумеющимся. Потому часто и выходит, что у молодого героя нет определенного представления о мире: он просто об этом не задумывается. У такого героя, говоря словами Чехова, «не воззрение, а монпансье». Чаще, правда, тут виноват не герой, а писатель. Не секрет же, что выходят книги, которые обнаруживают полнейшее авторское неведение (неведение — вежливая форма от «невежества») относительно цельной, научной концепции мира. Объясняется философская инфантильность подобных книг и тем также, что писатели еще недостаточно чутки к настроениям современной молодежи, склонной совсем не только к трезвости и практичности, но и к размышлению над «вековыми вопросами», к философскому осмыслению происходящих событий. Я отнюдь не призываю всех прозаиков с завтрашнего дня непременно в каждой книжке воспроизводить семинарские споры о первичности материи: во-первых, не всякому таланту дано изобразить «умственные движения» современников, и, во-вторых, не всегда это требуется логикой сюжета, замыслом повествования. Но там, где идет речь о кристаллизации ха-

рактера молодого героя, о его мироотношении, там такая нужда ощущается.

Вспомним, с каким душевным волнением открывали для себя марксистские истины первые русские революционеры-ленинцы. У Феликса Дзержинского в письмах из тюрьмы есть слова, адресованные сыну, которые сегодня, через пятьдесят с лишним лет, воспринимаются как завет молодому поколению:

«Он должен суметь полюбить идею — то, что объединит его с массами, то, что будет озаряющим светом в его жизни... Это святое чувство сильнее всех других чувств, сильнее своим моральным наказом: «Так тебе следует жить, и таким ты должен быть».

Я уже говорил, как бодренько и уверенно изображается порою в некоторых книжках движение юного героя из класса в класс. А ведь писатель может показать, как учится герой, как он сознательно перерабатывает книжные знания в личные убеждения: тогда процессы духовного созревания и овладения грамотой протекают одновременно и переплетаются. Хотя делать это непреложной схемой тоже ни к чему. Потому что не обязательно хорошего фрезеровщика, которого мы берем в герои юношеской повести, тащить в вечерний техникум или заочный институт. Хорошему фрезеровщику необязателен диплом техника или инженера; но ему необходима культура, обогащение духовного мира, которое редко зависит от успешной сдачи экзамена по сопромату. Я не призываю подростка отказаться от мысли о высшем образовании, если у него есть такая потребность. Я верю даже в то, что через четыре-пять десятилетий встанет вопрос о всеобщем обязательном высшем образовании. Социологи, основываясь на реальных нынешних процессах общественного развития, утверждают, что в недалеком будущем «материальное производство, целиком пронизанное наукой, станет, по существу, гигантской научной лабораторией», в которой все члены общества — от малоквалифицированного рабочего до инженера — будут участвовать в производстве, ставшем уже, по слову Маркса, «предметно-воплощенной наукой».

Но этот естественноисторический процесс не поддается искусственному ускорению.

Спешить нужно только с одним — с воспитанием в каждом подростке личности. Трудность заключается в том, чтобы с малых лет, с одиннадцати-двенадцати лет, готовить подростка к самостоятельным решениям, к собственным поступкам, которые ему понадобятся совершить, чтобы выразить свое отношение к людским словам и действиям. В романе Майи Ганиной «Слово о зерне горчицы» убедительно показано, как молодой рабочий Василий учительно, сквозь ошибки и колебания, добивается до каких-то своих, очень важных для него слов о смысле жизни, о людях; Василий уже не может спокойно пребывать в мире; молодому машинисту уже требуется выработать свой взгляд на действительность.

Способность сопротивляться обезволивающему влиянию многих обстоятельств приходит изнутри. Жизнь всегда предлагает в числе прочих и самый легкий, самый доступный вариант, наименее хлопотный, но не самый верный и справедливый. В самом выборе жизненного варианта проявляется прежде всего степень активности личности. Масштаб формирующейся личности определяется во многом силой сопротивления привычной инерции повседневья. В повести О. Зобнина «Здесь твое место» один положительный персонаж сравнивает жизнь с прокатным станом, который обкатывает людей. В конце повести главный герой Димка Ручкин соглашается с этим:

«Да, значит, жизнь действительно прокатный стан. Обкатает, как блин, сгладит все шероховатости, которые мешают человеку жить с людьми».

Думается, что жизнь все же нельзя сравнивать с прокатным станом, а людей — с чугунными болванками, которые прокатываются по одним и тем же каткам и наперед заданным размерам. Каждый человек интересен как раз своей индивидуальностью, своеобычностью.

Много лет бытовало представление, что рабочее происхождение обязательно гарантирует человеку определенный положительный духовный заряд. Однако опыт показал, что и выходец из рабочей среды может вырасти нравственно убогим, духовно нищим. Мы и до сих пор еще слишком надеемся на среду, на атмосферу нашей жизни с ее сложившимися социальными стереотипами. Это очень хорошо, что мы верим в превосходство советского образа жизни, в конечную победу наших идей. Однако они не действуют механически. Молодой человек — это удивительное общественное существо — хочет думать сам и хочет заново убедиться в правоте доставшихся ему по наследству идей. Молодой человек хочет строить себя сам в коллективе друзей и товарищей. Тогда-то у него и появляется подлинное чувство ответственности за совершающееся вокруг, за людей — то чувство хозяина, с которого начинается подлинный гражданин.

Если сравнивать человека с обкатанным стальным слитком, то ни о какой активности героя или чувства хозяина не может быть и речи. Потому так декларативно звучат в повести О. Зобнина слова слесаря Семена Медведева: «Ведь мы же хозяева, товарищи! Рабочий класс!» Потому столь аморфно выглядит в повести рабочий коллектив, хотя автор заявляет, что Димка Ручкин «почувствовал в товарищах по работе силу, на которую можно надежно опереться».

Перспективные идеи экономической реформы, как известно, предусматривают расширение хозяйственной самостоятельности предприятия, повышение роли рабочего коллектива. Пока же некоторые вопросы внутривзаводских отношений на практике еще не решены. И это нельзя скрывать от молодого читателя, рабочего подростка, если мы хотим разговаривать с ним всерьез.

Советские писатели в лучших книгах умели говорить с юным своим современником о самых серьезных вещах. Вспомним «Школу» Гайдара, «Педагогическую поэму» Макаренки, «Трудную книгу» Медынского. Из произведений последних лет примечательна повесть Николая Дубова «Беглец» — о том, как двенадцатилетний мальчишка Юрка, выросший в рабочей семье, взваливает на свои плечи ответственность за людские судьбы у приморского лимана Тарханкут. Решение мальчика остаться дома (а он было убежал из родной семьи) не является донкихотством. Глядя на ослепшего от алкоголя отца, на босоногих, беспризорных малышей, брата и сестру, Юрка впервые ощущает в себе тревогу, ответственность за происходящее.

Такое решение убеждает, ибо оно всерьез говорит о реальной жизни. Такое решение по-настоящему воспитывает, ибо, по словам Ленина, «воспитание коммунистической молодежи должно состоять не в том, что ей подносят всякие усладительные речи и правила о нравственности».

Подлинная героика нашей действительности, правда о рабочем человеке, строящем новую жизнь, могут быть воссозданы лишь во всей полноте, в полнокровном художественном произведении, без скидок на его тему и юношеский возраст читателя.

А. Егоров



ТВОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Радист Иван Турков из смоленской деревни Братковская привез эти три книги к нам в редакцию. Три стандартных альбома, какие можно купить в любом сельмаге. Обычно собирают в них семейные фотографии: с одного листа глядят на вас напряженные молодожены, с другого — стриженный и суровый ефрейтор, или глава семьи шлет привет из Сухуми, щеголяя соломенной панамой посреди кипарисов и сарафанных курортниц.

В этих же трех альбомах все иначе. Вклеены в них плотные листы полуватмана. Черной тушью идет на листах жизнеописание целого рода: от дедов до внуков. Сказываются и здесь порою издержки ретуши: мелькнет то канцелярски гладкая, то литературно припудренная фраза. Но судить об этих трех альбомах по счету журналистского и городского пижонства совсем не дело. Я, например, давно не читал повествований таких искренних, человеческих.

Давайте полистаем их: родословные семей Спруж, Фроловых и Морозовых из смоленской деревни. Задумаемся о том, какие уроки извлекает из родной истории наш молодой человек,

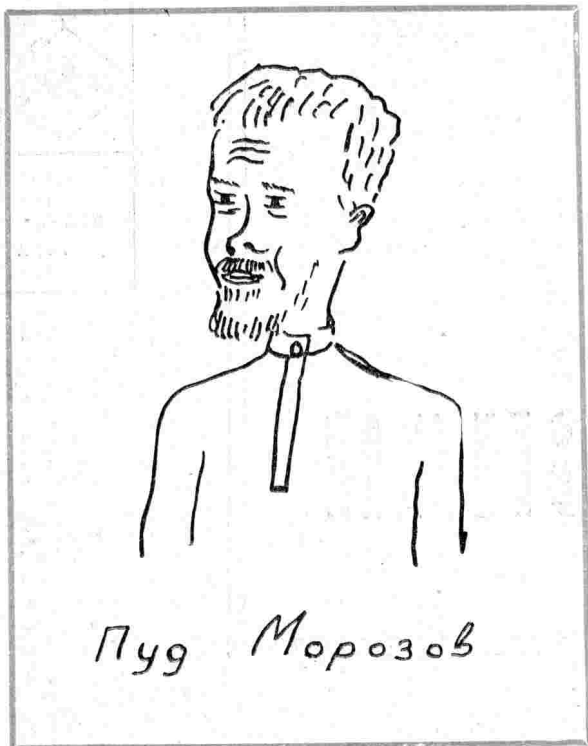
С уходом бывалых людей старшего поколения, с уходом писателей, помнивших и живо воссоздававших картины прошлого, у нас несколько утрачивается культура писаний о времени «до», умение воссоздать былое в противоречивости, сложности, подлинности.

Какое-то особое чутье, а вероятнее, особое чувство, особое отношение к рассказу помогло здесь авторам братковских родословных. Отчетливо видишь, как целыми часами пытались они мерцающую стари-

Это первая КОМСОМОЛЬСКАЯ РОДОСЛОВНАЯ КНИГА

*В ней рассказывается
о семье Леонида Ромича
Спружа, проживающего
в д. Братковская Хислов-
ичского района Смолен-
ской области.*

ковскую память, стариковскую неохоту. Единогласно слова, присловья ради. И только тогда вписывали на полуватман черной тушью.



Из «Родословной Морозовых»:

«Пуд Морозов был самым бедным мужиком в Кожуховичах. О нем в деревне говорили: «Сам худ, а имя Пуд», «Пуд свое жито фунтами вешает», «Пуд лаптей добрых не носил, а сапог и не меривал».

...Во время столыпинской реформы Пуд вышел на хутор Подмелье, и не потому, что думал разбогатеть, а чтоб чужие глаза не видели, что он ест, как пьет, как горе мыкает... Хотел Пуд отделить Ивана. Если за столом семь раз слышишь «Я» — полная семья. У Ивана полная. Но что ему дашь? Конь один, корова одна, плуг один, телега одна... Решил Пуд сыновей не делить».

Из «Родословной Фроловых»:

«Братья женились, но не спешили дробить хозяйство. Полоски в поле были узкие. Если разделить на четырех братьев, то получаютя шнурки».

Из «Родословной семьи Спружей»:

«— Как зовут? — спросил писарь. — Онемел?
— Фома со Спружан, — наконец ответил новобранец.

— Пишу: Фома Спруж. В артиллерию.
Так стал батрак Фома Антонович Спружем, хотя и была у него фамилия».

«По деревне про них говорили: «Вот-те Спружевы сыны — на троих одни штаны. Антон носит, Федька просит, Петька очереди ждет». Этот Петька до восьми лет так и бегал в традиционной семейной свитке: длинном до пят пиджаке, заменявшем рубашку и штаны».

Этих «шнурков», «семейных свиток», «сапог не меривал» не придумаешь. Не вычитаешь горько-садовой, насмешливой интонации. Еще пяток, еще

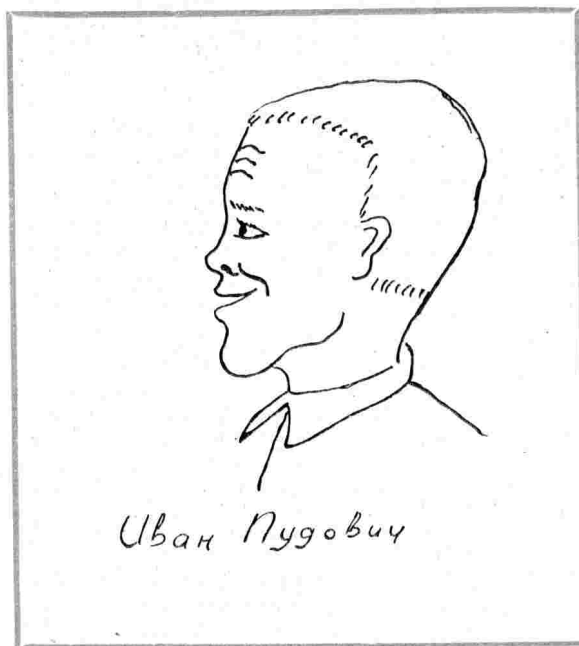
десять лет, и уже ни на каких завалинках такого и не подслушаешь. О, конечно, останутся Даль и Григорович, Слепцов и Решетников, сборники песен и пословиц. Но все это, как ни прикинь, будет существовать традицией книжной, не очень, что ли, живой, непосредственно данной и воспринятой.

Три комсомольца — Олег из Фроловых, Миша из Морозовых, Нина из Спружей сделали то, о чем давно бы нам подумать: честно записали уходящее. Те подробности прошлого, какие потом не восстановишь усилиями даже самых ученых фольклористов и этнографов.

Сегодня в нашей журналистике идет спор — то явственный, недвусмысленный, то приглушенный — об отношении к деревне, к ее истории, ценностям, морали. Находятся люди, готовые чуть ли не противопоставить деревню городу: только у земли, дескать, обретаешь равновесие, согласие с миром и с собою, в ее «вековых устоях» находишь силу.

В спор этот мало вовлечены сами сельские (возможно, загруженные тысячу более существенных забот). Поэтому так интересно получить их свидетельские показания.

В братковских родословных они есть. Наши летописцы вовсе не чужды поэзии сельского труда. Более того, в каждом их слове сказывается особый, цепкий и неторопливый склад именно сельского ума, подхода к жизни. И при этом — ни единой нотки умиления стариною, желания пребывать в русле традиционных обычаев, установлений (на одной из



страниц — описание торгашеского свадебного обряда). Для наших комсомольцев есть «земля — кормилица», но и земля, в прошлом изгрызенная нищими межами. Разве это одно и то же, разве можно вывести отсюда некую исконную, объединяющую разорванные времена мораль? Новые труженики села сами судят свою историю, отсеивая то, что принадлежит живой жизни, от того, что порождено «идиотизмом» жизни стародеревенской.

Деревенька Братковая в их родословных предстает органической частью очень большого мира. Перевертывается старый порядок, убегается бег времени, включаются в жизнь деревеньки десятки событий сопредельных, и наши летописцы не только не боятся этого включения, а весело идут ему навстречу. То, над чем «почвенник» начал бы причитать («распад общности!», «отток!», «потеря целостного мирощущения!»), у наших молодых Пименов вызывает только здоровую радость.

Каждое вторжение большого событийного мира в мирок Братковой они непременно — и прежде всего — отмечают.

Из «Родословной Спружей»:

«Фома Антонович в тот вечер разговорился: — Машинист Юргут был в Питере. Встречал Ленина. Говорил, на Финляндском вокзале народу собралось больше, чем солдат на параде.

Спружевы сыны облепили стол:

— А кто такой Ленин?

— Самый старший в партии большевиков».

Пусть это событие только по касательной к Братковой (речь идет о Витебске, где жили тогда Спружи), — оно обязано найти место в хронике, как отголосок большого времени. А дальше:

Из «Родословной Морозовых»:

«Хутор Морозовых стоял недалеко от Красного моста, где в воскресенье и в праздничные дни встречались мужики из разных деревень. Одни ехали с базара, другие — со станции, третьи — из гостей. Останавливались напоить, накормить лошадей, а заодно узнать новости: какие порядки устанавливает новая власть. Мужики собирались в один кружок. Женщины, не слезая с телег, слушали. Грамотеи читали тоненькие замасленные книжечки и газеты, протертые до дыр. Потом спорили до хрипоты, часто упоминая слова: «Ленин, Советы, земля, большевики».

Из «Родословной Фроловых»:

«В 1933 году, услышав, что идет вербовка на Дальний Восток, Алексей Матвеевич решил поехать туда.

— От добра добра искать — только лихо наживать», — говорила Ефросинья Мироновна.

— Построим город. Будем жить не хуже, чем тут. Край это нашенский, еще Ленин говорил.

В Хабаровском крае, в поселке Соловьевск, пустила корни одна из фроловских ветвей: остались там Стеша и Марина (старшие потом вернулись на родину)».

Из «Родословной Спружей»:

«В 1956 году Олег и Нина уехали по комсомольским путевкам на строительство железной дороги Абакан — Тайшет».

С особым вкусом авторы упоминают в альбомах «ЧОН», «ликбез», «культбригады», «кооперацию», «первый колхозный сев».

Из «Родословной Морозовых»:

«Стефан Родченков вышел в поле с обрезом, Ковалев Мартын с наганом. Они обещали убить первого, кто осмелится пахать принадлежавшие им прежде полоски,



Л. Ф. Спруж, комсомолец, 1926 год.
(На снимке помечен крестиком.)

В поле выехали комсомольцы. Председатель сельсовета сообщил в милицию о назревшей трагедии, подкулачников убрали с полос. Комсомольцы вспахали поле».

Только три семьи из одной деревни. Век назад они прожили бы, разнообразя бытие лишь байками пришлых странников да угрюмыми рассказами мужиков-отходников. Наши полвека они прожили, пересекая страну из конца в конец, включив в круг своих забот политику и большую культуру, пошагав и повидав, оставив летописцам благодарный материал к размышлению. Одним только уже этим растущим числом бывалых людей в нашей деревне — через дом, через двор — многое сказано о самом времени.

А впереди...

Из «Родословной Морозовых»:

«Пришли домой и не знали, что делать. Карманата казалась чужой, опустевшей. Сергей вынул из кармана мелочь и разбросал:

— Пусть в нашей жизни не будет ничего мелочного. А если было, пусть исчезнет. Будем верить, ждать. Мы победим.

На другой день Сергей ушел в армию. Через два месяца родился сын».

Так просто, в типичной сельской, неторопливой интонации рассказано о 22 июня 1941 года. Так же просто поведут авторы родословных и рассказ



Л. Ф. Спруж,
год 1969-й.

о последующих четырех годах, в которые всем без исключения выпало стоять выше сил.

Мужчинам.

Из «Родословной Морозовых»:

«Исай скрыл, что чувствует боль в пояснице и ногах. Признали годным к строевой службе, направили в 344-ю Рославльскую краснознаменную дивизию.

На западном берегу Немана немцы возвели укрепления. Передовые части с ходу форсировали реку и углубились в эту оборону на 8 километров. Немцы охватили прорвавшихся полукольцом. Батарея вела огонь до последнего снаряда, из двадцати четырех человек уцелело пять: командир батареи, командир расчета, повар, стрелок и радист Исай Морозов».

Женщинам.

Из «Родословной Фроловых»:

«В 1942-м уехали в Германию Анну, только в июне 45-го вернулась она, измученная, больная».

Валя, эвакуированная в Москву, избрала мужской труд.

«Первое погружение. Она пошла в воду с поднятой головой (пусть не думают, что боится). А правила требуют, чтобы водолаз опускал голову, сжимался в комок. Когда ноги коснулись дна, — шум в голове, слабость. Задержала сигнальный шланг.

Потом погружалась десятки раз».

Детям.

Из «Родословной Фроловых»:

«В июле 1942 года, когда фронт приближался к Орше, пятнадцатилетнему Володе поручили гнать на восток стадо свиней. В пути ему помогали пастухи Шугановы и Мартын Иванов, которые гнали лошадей, коров, овец.

Двигаться нужно было быстро. А свиньи ходят медленно, скоро устанут. Увидев лужу, ручей, бросятся в воду и лежат, пока не спадет жара.

Пастухи выбивались из сил, однако ухитрялись проходить со своими табунами сорок — пятьдесят километров в сутки. Отдыхали, кормили, когда было очень жарко или совсем темно».

Так воевала Братковская, деревня из Смоленщины, — что тут прибавить.

Иван Турков (тот, что привез альбомы) рассказывал мне о том, как принимает летописцев кое-кто в деревне: «Что ты будешь писать, если видел я, как твой родич со свадьбы шел и какие песни пел?»

Что ж, не жития святых пишут три комсомольца. Но перечитайте только приведенные выше записи — какая же не крикливая, истинно патристическая жизнестойкость за ними! И хорошо, что рассказано о ней в том же тоне — нешумной гордости за простую родню свою.

5

Чем ближе к нашим дням, тем труднее авторам родословных. Тут уж нешуточное дело — внести свои оценки в то, что перед тобою свершается, в чем и ты участвуешь. Дело, с которым и литератор поопытнее бьется порой с мукою, стоном.

Появляется у наших летописцев скороспись, интонация отчета. Не беда, впрочем. Не беда до тех пор, пока есть желание во всем разобраться самим. Подтверждение тому — вот этот небольшой отрывок, где оглядки не чувствуешь.

Из «Родословной Спружей»:

«Девять лет работал коммунист Спруж председателем сельхозартели «Советская Россия» в Хиславичском районе, Смоленской области.

«Хозяйство медленно, но уверенно набирало силы. Удвоилось колхозное стадо, повысилась урожайность зерновых и льна. Были построены типовые сараи для скота, амбары для хранения хлеба. Оборудован радиоузел, и радиофицированы все населенные пункты. Оказывалась помощь колхозникам в строительстве жилых домов. Началась электрификация бригад и ферм.

Опытный хозяин Леонид Фомич понимал, что в условиях Смоленщины травосеяние — важный источник дохода. Поэтому площади, занятые клевером, не сокращались.

В 1963 году Леонида Фомича объявили травопольщиком, предложили уйти на пенсию. Он всю жизнь рвался в бой, нигде не сплывал, не покрывал душой. И вдруг «травопольщик». «Не оправдал доверия партии». Эту личную обиду он бы еще стерпел, пережил. Больнее было видеть другое. Председателем колхоза «Советская Россия» рекомендовали парня, напористого, горластого. Он торжественно запахал клевера, поднял зазданный бокал... и на этом кончилась «революционная деятельность».

Дальнейшая работа напористого парня метко охарактеризована в частушке, которую сложили девчата:

Председатель наш горластый
Чуть колхоз не разорил.
Слишком мало дело делал,
Слишком много водки пил.

Через полтора года напористого парня сняли с работы, исключили из партии. Однако он не тужил. Успел накопить деньжонок. Поднял прощальный бокал и уехал на теплые воды. Но какой ущерб был нанесен колхозу!

Леониду Фомичу было больно видеть, как слабеет, приходит в упадок хозяйство, которое возрождалось с таким трудом, в которое он вложил все свои силы».

Он хотел уехать к взрослым детям. Но, переборов себя, остался в колхозе, взял работу, какая была по силам.

Здесь в рассказ о настоящем коммунисте вплетена новелла о другом человеке — горлопане и прохвосте. Здесь ясно ощущается намерение ничего не упростить в прожитом, извлечь из него необходимые нравственные уроки.

Молодые селяне хотят видеть жизнь такую, как она есть. Ценить коммунистическую убежденность и ненавидеть приспособленчество. Очень хорошо это в беспристрастной хронике — обнаружить след правого суда, почувствовать нравственную работу, которую молодой хозяин деревни производит в себе.

Вот и все. И я откладываю в сторону три альбома. Хотелось передать читателям частицу их чистоты, душевности, любви к тому, о чем пишешь. Хотелось увидеть через эти строки сегодняшних твоих сверстников из села — с их разборчивой оценкой прожитого родом, моральной строгостью, серьезной культурой.

Им интересно жить. Им просто необходимо знать, как через их Братковскую прошли все силовые линии времени, и не помимо воли отцов, а этой самой волей преобразили темную деревеньку в сообщество социалистических коллективистов. Взявшись за перо, наши летописцы похода разбили чужие (а может, и свои) представления об отъединенности и «второсортности» села по сравнению с городом. И, кстати сказать, всем троим это помогло без самоугрызений остаться и полноценно работать в родном колхозе.

Еще недавно многие высказывали тревогу: а впрямь ли дорого молодежи все, что пройдено отцами? Минувшим летом снова десятки тысяч подростков прошли по заросшим тропам войны, по дорогим ленинским местам Родины, записали рассказы ветеранов.

Интерес к истории все больше и больше выступает у молодежи как интерес хозяйский, творческий, совершенно необходимый для осознания своего собственного места в мире и обществе. И думается, что теперь может быть исполнено во всей полноте давнее начинание А. М. Горького: разветвленная история обновляемой страны, хроники фабрик и заводов, запись многообразных документов времени. Культурность нового поколения, помноженная на его любознательность, даст десятки самостоятельных «архивов» без традиционной архивной скуки.

Только одна тень набегаеет на это дело — тень горластого формализма. Вспомните фильм «Звонят, откройте дверь», предостерегший от казенщины в пионерских розысках. Вспомните, что и походы по самым заветным местам становятся порой бездумными массовыми вылазками. Нечто в этом роде есть в Братковской. «Новая форма воспитания (родословные) получает все большее распространение», — пишут в областной газете.

А дело тут не в форме. В существе, в искренности. Нельзя вменить летописание во всеобщую обязанность, нельзя любого обратиться к истории своей семьи (мало ли какие тут встретятся деликатные обстоятельства). Взрослый, умудренный опытом, может помочь, посоветовать, навести на след нужного поиска, но поменьше «формы», мертвящей творческий интерес. Иван Турков рассказал о том,



*Пусть читают и продолжают
эту книгу наши дети, внуки, пра-
внуки и все потомки Морозовых.*

*Пусть вспоминают своих
предков, первопроходцев калли-
низма, которые боролись под знаме-
нем великого Ленина, устанавли-
вали Советскую власть, защищали
Родину, строили социализм.*

*Пусть учатся у них, у своих
родоначальников, мужеству, стойкости,
беззаветной преданности Родине, Калли-
нистической партии.*

**Родословная книга начата в
1968 комсомольском юбилейном
году.**

как зародилась идея родословных. Из встреч на торжественных вечерах, из того молодого изумления перед бедностью своего знания о своем же, родовом, которое заставило повнимательнее прислушаться к рассказам старших.

Так решили исподволь составлять хроники.

— Если обо всех, кто станет печатать?

— Зачем печатать? Напишем для себя. Для родных и знакомых.

Так они зародились, эти хроники, так они и писались. Так хочется и представить их читателям: искренними, неприязательными, честными записями. Так и представляем, не покрывив душой.

Три альбома я перелистываю снова. С простенькими рисунками, с каллиграфически писанным текстом, для себя писанным. Впрочем, нет ведь того дневника на целом свете, который не был бы расчитан на чтение.

Простое привлекает к альбомам: подлинность намерения, подлинность исполнения. Звучит в них главное: слушать родную жизнь, думать над ней, ощущать бури века над кровлями своей деревни.

Крупницы непреходящего закрепятся в хрониках. Рассказ деда, давнее присловье, свежая частушка, век которой мотыльковый, неразрешенный сегодняшний спор. То, что неотъемлемо входит в последние.



Лев Шилов

КАРМЕН

По страницам
блоковских
дневников и писем

...Только влюбленный имеет право на звание человека...
А. БЛОК

Шестнадцатого ноября 1913 года Александру Блоку исполнилось 33 года.

Позади туманы и зори «Стихов о Прекрасной Даме»; призрачные видения ночного Петербурга, из которых появилась «Незнакомка»; холодное отчаяние цикла «Страшный мир».

После знаменитого «Под насыпью, во рву некошенном» это уже не поэт какой-то школы, какого-то направления; это признанный, всенародный поэт.

«По мотивам» этого стихотворения был даже снят фильм «Не подходите к ней с вопросами» — сентиментальная мелодрама о «падшей женщине». Блок печатно заявил, что не имеет к фильму никакого отношения.

Слава и признание стоили Блоку недешево, как и всякому большому художнику. «Они нас похваляют и поругивают, но тем пьют нашу художническую кровь. Они жиреют, мы спиваемся», — читаем мы в его дневнике.

С фотографий этого времени смотрит красивое, но холодное, измученное лицо. Былая душевность пергорела в нем. Появилось отчуждение, которое могло показаться и высокомерностью.

Лирические стихи теперь Блок пишет редко. «Я слишком хорошо умею это делать», — говорит он. И еще: «Человек во мне умер. Я все больше становлюсь художником». Это прекрасно: чувствовать свое мастерство, чувствовать, как тебе подвластен материал, и вместе с тем это проклятие — смотреть на свою жизнь как на материал для будущих стихов и пьес. Всегдашнее, неотвязчивое самонаблюдение давно уже тяготит его. Такие стихи, как «На островах», — стихи не столько о любви, сколько об этой трагедии художника, потерявшего способность непосредственно ощущать жизнь и лишь регистрирующего ее холодным взглядом наблюдателя.

Давно уже не удовлетворенный собой и своими стихами, Блок где-то в глубине души все же надеется, что еще придет к нему настоящая жизнь, настоящая любовь и подлинное творчество. Эту надежду он прячет даже от самого себя: «Есть такой человек (я), который... думал больше о правде, чем о счастье. Оно приходило само и, приходя, становилось сейчас же не собою. Я и теперь не жду его, бог с ним».

И пусть ему уже 33. И пусть все вокруг твердят о том, как значительно и прекрасно то, что он уже написал, тайная надежда на будущее не оставляет его: «Другом называется человек, который говорит не о том, что есть или было, но о том, что может и должно быть с другим человеком».

Внешне жизнь Блока в эти месяцы не богата событиями. Круг его знакомых чрезвычайно ограничен. Давно позади то время, когда почти ежедневно его можно было видеть в театре Комиссаржевской, на «башне» Вячеслава Иванова или в салоне Мережковских.

И с чтением своих стихов он больше публично не выступает. Он даже написал газетную заметку, в которой отрицательно отозвался о подобных выступлениях. Шумному успеху поэзо-концертов он предпочитает хождение по букинистам, катание с американских гор в «Луна-парке», кропотливую, тянущуюся уже не первый год работу по переделке драмы «Роза и Крест».

Затянувшееся молчание таило в себе будущую вспышку, новый взлет.

Три раза в жизни Блок испытывал небывалый подъем, небывалое обострение всех чувств, когда он за день писал несколько десятков строк, когда на него налетал какой-то музыкальный вихрь, который, казалось, сам диктовал эти строки, и оставалось только записать их. Первый раз так было в 1907 году, в период создания «Снежной маски», — до 7 стихов в день. Последний раз — в 1918-м, когда он написал за двадцать дней поэму «Двенадцать».

А второй раз это случилось весной 14-го года, когда он написал цикл «Кармен», посвященный замечательной оперной артистке Л. А. Дельмас.

Когда весной 1965 года я вошел в квартиру Любови Александровны Дельмас, первое, что я увидел, был большой ее портрет в роли Кармен. Он стоял на концертном рояле. Там же лежали ноты Глазунова с дарственной надписью автора, фотография Шаляпина, с которым Любовь Александровна пела один из сезонов в Монте-Карло...

Ее пятикомнатная квартира — музей уникальных документов начала века. Несколько десятков никому не известных писем Блока — лишь малая часть этого музея. На том же рояле небольшой портрет Блока — в размер открытки. Фотография широко извест-

ная, не раз воспроизводившаяся, поэтому я не сразу обратил на нее внимание. Но вот я беру ее в руки, переворачиваю и вижу автограф Блока — стихотворение «Я помню нежность ваших плеч». Я не раз уже держал до этого в руках автографы Блока — в Государственном литературном музее, в Пушкинском Доме. Каждый раз на это требовалось особое отношение, виза дирекции, хранитель выносит тебе папки, в которых переложенные папиросной бумагой драгоценные листки. А тут я держу в руках не «документ», не «единицу хранения», а фотографию, которую молодой человек подарил молодой женщине, сделав на обороте надпись, в которой просит ее помнить его так же, как он помнит ее:

Я помню нежность ваших плеч,
Они застенчивы и чутки.
И лаской прерванную речь
Вдруг после болтовни и шутки.
Волос червонную руду
И голоса грудные звуки.
Сирени темной в час разлуки
Пятиконечную звезду...

Любовь Александровна рассказывает, что эта сирень была в Таврическом саду. И какой был тогда



Л. А. Андреева-Дельмас. Фотография. 1912 г. Париж.

этот сад... Показывает платье, в котором она первый раз пришла на встречу с поэтом. Блок видел ее в опере «Парсифаль», видел в «Каменном госте» — Лауру. Он любил, когда она пела романсы «Для берегов отчизны дальней» и теперь забытый «Меня усыпили восторги любви».



А. А. Блок. Фотография. 1913 г. Петербург.

Мы подружились с Любовью Александровной, и я приходил каждый день, пока был в Ленинграде. Я рассматривал афиши, фото, рукописи, альбомы и у нее дома, и в театральном музее, и в Публичной библиотеке, и в архиве Института русской литературы (Пушкинского Дома). У известного ленинградского коллекционера Ю. Б. Перепелкина я слушал оперные арии в исполнении Дельмас на пластинках 1909 года. Слушал тот самый голос — помните:

Дивный голос твой, низкий и странный,
Славит бурю цыганских страстей.

Иногда мне казалось, что то далекое время я стал знать лучше, чем свое. И когда Любовь Александровна говорила: «А розы были от Эйлерса, знаете, на Малой Морской, впрочем, вы молодой, ничего не знаете», — я отвечал: «Нет, знаю». Потому что я уже видел в Центральном государственном архиве литературы и искусства счета на эти самые розы, и там был адрес: Малая Морская, 16.

За несколько месяцев, проведенных в архивах над бумагами Блока, я узнал многое из того, что Любовь Александровна уже забыла или не знала совсем. И о каких-то вещах она рассказывала мне, о каких-то я ей.

28 мая 1914 года Блок записывает — и я читаю эту запись Дельмас:

«26 марта.

Глубокоуважаемая Любовь Александровна!

Простите мою дерзость и не откажитесь принять эти книги старых стихов. Не для того, чтобы читать их.

Я знаю, что стихи в большом количестве могут показаться Вам неинтересными... Но я, будучи поклонником Вашего таланта, хотел бы только поднести Вам лучшее, чем я владею.

Примите мои уверения в моем глубоком уважении и признательности.

Александр Блок».

Это было первое письмо к Л. А. Дельмас, которое Блок подписал полным именем (три предшествующих письма, опубликованных в собрании сочинений Блока, были без подписи).

В этих письмах Блок говорил о своем восприятии сценического образа Кармен, созданного Дельмас: «Ваша Кармен — совершенно особенная, очень таинственная».

Вместе с письмом Блок прислал Л. А. Дельмас три тома собрания своих сочинений. На первом томе в виде дарственной надписи было написано стихотворение «Среди поклонников Кармен».

— До этого, — говорит Любовь Александровна, — я мало знала его стихи. Слышала, конечно, — поэт Блок. И когда встречала некоторые, думала: почему они у этого поэта всегда такие грустные? И вдруг он мне присылает эти книги и розы и на следующий день опять письмо... Он пишет, что хочет представиться мне, и просит ему позвонить. Я позвонила. Поздно пришла из театра и позвонила. Слышу в телефоне голос, такой тихий и робкий. Он говорит: «Я хотел бы вам представиться, но на улице я не решаюсь подойти к вам. Скажите, когда вы будете в театре и можно ли мне к вам подойти». Я говорю, когда буду и где мы можем встретиться. И в тот вечер я не надела на себя никаких украшений — ни серег, ничего. Вон в том лиловом платье.

Любовь Александровна кивает на портрет, висящий над дверью, и на нем я вижу ту мечтательную и стремительную, с поднятым лицом, широко открытыми глазами и изумительно красивыми темнорыжими волосами девушку, которую увидел Блок, поднимаясь по ступеням беломраморной балюстрады Театра Музыкальной Драмы.

— Я стояла у колонн, — говорит Любовь Александровна, — и вижу, как он поднимается, и знаете, как мужчины, когда волнуются, все одергивает сюртук. Я протягиваю ему руку. Он целует ее и смотрит мне в глаза. И ничего не говорит. Только смотрит... Я говорю: «Ну что же вы молчите? И вообще мне уже пора идти, проводите меня». Мы шли и молчали. Эту нашу первую встречу Александр Александрович потом почему-то часто вспоминал. И о том, как он смотрел меня в «Кармен», когда мы еще не были знакомы. Вот и здесь пишет...

И я опять всматриваюсь в строгие, стремительные строчки следующего блоковского письма:

«...Часто задумываюсь и не могу понять, почему этой зимой я встретил Вас. С первой же минуты не было ничего общего ни с одной из моих встреч. Сначала буря музыки, влекущая колдуя. Одинокое прислушивание к этой буре, какое-то медленное помолодение души. Если бы Вы знали, сколько я всматривался в Вас тогда. Глазами художника, и старика, и просто ценителя какого-то прекрасного видения. Чисто художественного восприятия психологии и мало ли еще... Только чистое, медленное и помимо сознания вкрадывалось то волнение,

которое я не думал раздувать, и совершенно неожиданно для самого себя увидел Вас 3-й раз в «Кармен» на масленицу. Появились Вы. Я ждал не Вас. Я почувствовал, как упало мое сердце и забилось почему-то, и сам себе не верил. И потом началось. Ряд видений все растущий, очень непонятный. Выход за бурей музыки. Вы в партере бледная и совсем недаром, по воле судьбы неукрасившаяся, усталая, недоверчивая. И непостижимо прекрасная. Или вы думаете, что я когда-нибудь забуду, как меня било в тот вечер, как что-то стучало мне в сердце и требовало ответить. И балетная барышня, и помощники-слушатели, и мокрый снег, и чужой дворник — все сразу меня выбило из этого прозябания, которому я предавался давно.

И наступило новое и меня бросило тогда в бурю музыки. Останавливающее дыхание тех дней, часы у Вашего подъезда, письма, искание Ваших карточек и то, что я краснел, как мальчишка, — разве я это забуду?

И потом, точно волна, которая покрывает с головой: несколько вечеров, напрасные сомнения, отчаяние, злоба и вдруг, точно на гребне волны, этот Ваш звенящий, звонкий смех первого вечера, и моя неловкость, и Ваши открытые плечи, и розы, открывающие грудь. Ваши руки, овладевающие мгновенно всякой вещью. Ваши сияющие зубы, и Ваши таинственные глаза, и эта неровность плеч и их застенчивость, и то, что Вы сразу просто приняли меня, когда я взял Вас под руку. И наши улицы и темная Нева и Ваши духи и Вы и Вы и Вы...

— Наши улицы, — говорит Любовь Александровна, — это улица Декабристов, а тогда она Офицерской называлась. И так странно, что и Александр Александрович и я жили на одной улице. И мы шли дальше через Пряжку, останавливались на мосту — он его называл «Мост вздохов», — знаете, такой в Италии есть, в Венеции — Ponte dei Sospiri, — я тогда еще в Италии не была, и Александр Александрович мне много про нее рассказывал, — и дальше по набережной Пряжки шли к Неве. Вот это он называл «наши улицы». А дом мой был угловой, и квартира высоко, на четвертом этаже, — помните, у него в стихах: «Окно, горячее не от одной зари»? Иногда поздно вечером он проходил домой мимо моего дома и смотрел вверх, горит мое окно или нет. Если горит, значит, я дома, никуда не пошла. Вот и в письме...

Любовь Александровна читает несколько строк:

«Простите мне эту ревность ужасную, я не знаю, может быть, она ни на чем не основана, но я всегда счастлив, когда вижу, что Вы дома, окно Ваше горит. И Вы думаете, может быть, и обо мне».

— Александр Александрович замечательный был человек, но очень сложный, — задумчиво продолжает Дельмас. — Иногда у него бывало очень тяжелое настроение, и ничем его нельзя было прогнать. И он говорил, что и не нужно прогонять, что художник и не может быть счастлив... Я с этим никак не соглашалась, я любила все солнечное, светлое. Может быть, поэтому Александру Александровичу и нравилась Кармен. Но сам он иногда очень был печален. В один из таких дней он писал мне: «Искусство там, где есть потеря, страдание, холод. Эта мысль стережет всегда и мучает всегда, кроме коротких минут, когда я умею подле Вас забыть все до последней мысли».

Таков седой опыт художников всех времен, и я ничтожное звено длинной цепи этих отверженных, и то, что я мало одарен, не мешает мне мучиться тем же, и так же не находить исхода, как не находят его многие. И великие тоже.



Л. А. Дельмас в роли Волшебной Девы в опере Вагнера «Парсифаль».

...Я благодарен Вам, что Вы есть в мире, что Вы такая».

А потом это тяжелое настроение проходило, и через несколько дней он писал:

«Не знаю, почему сегодня мне кажется, что в жизни, этой жизни может быть совсем новое для нас. Давно так не было ярко.

Если будет нужно, я скажу Вам о себе то, чего никогда никому не говорил. Может быть, не знаю.

Сейчас ничем не отвечу Вам на все, что пришло от Вас.

Грусть моя сегодня светлая».

Я не спрашивал у Любови Александровны, что значит «все, что пришло от Вас». Я помнил запись у Блока:

«...У швейцара — колосья ячменя, ландыши и фиалки в лиловой ленте с ее волос».

Из дневника я знал, что на следующий день состоялось одно из решительных объяснений между Блоком и Дельмас. Ее последние слова были: «Я прекрасно знаю, как я окончу жизнь... потому что вы оказались тот».

«...2 апреля. Я посмотрел на солнце из окна — она позвала. — Солнце, мы ходили три часа, пахнет ветром на ледоходной реке.

5 апреля. Вечером — час у Петра».

— Это у Медного всадника, — говорит Любовь Александровна. — Александр Александрович любил ходить туда, слушать оттуда колокола Исаакиевского собора.

«6 апреля. Днем гуляли — с племянницей и пуделем. — Вечер у меня. Сказано многое».

«7 апреля. Мы с ней идем на первое представление «Балаганчика» и «Незнакомки»».

Это была постановка Мейерхольда в зале Тенишевского училища. Там, в этом зале, на одном из следующих вечеров увидела Блока и Дельмас Е. М. Тагер, которая записала потом свое впечатление гармоничности этих двух людей:

«На литературном вечере в зале Тенишевского училища, прочитав стихи на эстраде, он перешел в публику и занял место рядом с Л. А. Дельмас. Она была ослепительная в лиловом открытом вечернем платье. Как сияли ее мраморные плечи! Какой мягкой рыже-красной бронзой отливали и рдели ее волосы! Как задумчиво смотрел он в ее близкое-близкое лицо! Как доверчиво покоился ее белый локоть на черном рукаве его сюртука».

В апреле окончательно отделяются два стихотворения — «На небе празелень, и месяца осколок» и «Есть демон утра. Дымно-светел он», — посвященные Дельмас, но первоначально не включенные в цикл «Кармен». В мае Блок оканчивает еще одно стихотворение, которое давно лежало у него в набросках. Начинается стихотворение так:

Не было и нет во всей подлунной
Белоснежной плеч.
Голос нежный, голос многострунный,
Льстивая, смеющаяся речь.
Все певцы полные напевы
Ей слагают, ей.
Шепчутся завистливые девы
У ее немых дверей.

Теперь Блок заканчивает стихотворение, называет его «Королева» и посвящает Дельмас.

Дневниковые записи этих дней делаются чаще и подробней. Блок спешит удержать хотя бы на бумаге удивленно-радостное состояние своей души.

«26 мая. Во мне — поэт. И она — вся поэт. Я иду гулять один, встречаю ее, провожаю домой. Обедаю на поплавке, возвращаюсь, звоню. Мы едем в 7 часов на Елагин остров, пьем кофе на Приморском вокзале — за пьяным моим столом (набегает прошлое, мрачное), еще гуляем, возвращаемся в 2 часа ночи.

28 мая. Я влюблен в нее сегодня так грустно, как давно не был. ...Нежнее, ласковей и покорней она еще не была никогда.

30 мая. Я смертельно устал, иду бродить. Бело-остров и курорт. Возвращаюсь в 11 часу. Она приходит ко мне, наполняет меня своим страстным дыханием, я оживаю к ночи. И опять, опять пленительное смешение ВЫ и ТЫ.

4 июня. Вечером... Шуваловский парк. Тихо, глубоко, спокойно, прекрасно. Мы это заслужили тоской и томлением нескольких предыдущих дней».

8 июня Блок уезжает в Шахматово. На прощание он дарит Любови Александровне свою фотографию со следующей надписью: «Если Вы сохраните этот портрет, когда-нибудь он покажется Вам более похожим на меня, чем теперь».

Они долго ходят по дорожкам Таврического сада. Блок то задумчив и печален, то начинает шутить и дурачиться. В темной сирени, которая была в ту весну особенно буйна и прекрасна, они выискивают пятиконечные цветки и находят их великое множество. Ищут их еще и еще...

Резкие переходы Блока от глубокой мрачности к детской веселости и непосредственности удивляли даже близких, хорошо знавших его людей. Запомнились они и Любови Александровне.

В первую же ночь по приезде в Шахматово Блок увидел сон, который подробно записал:

«Она сказала: «У меня будут гости», — и я хожу по улице в ожидании, «когда это кончится». Ее дом на очень людной улице, и квартира высоко. Если подняться в соответствующий этаж незнакомого дома напротив, то на какой-то площадке лестницы есть ЕДИНСТВЕННОЕ место, откуда можно заглянуть через улицу в ее квартиру. И я смотрю: столовая во дворе — видна сквозь окно пустой и темной комнаты. Кусок открытой двери — освещена часть стола. Она сидит тихая, напустив свои рыжие волосы на лоб, как делает иногда. В темном.

По обеим сторонам два господина в изящных фраках. Один делает движение, будто хочет обнять ее за шею. Она виновато и лениво отстраняется. Все, что я вижу. Надо уходить. Я испытываю особое чувство — громадности города, нашей разделенности и одиночества. Но это уже — то ГЛАВНОЕ сна, чего нельзя рассказать».

Любовь Александровна уехала в Чернигов.

В тот прощальный день она вписала на последнюю страничку записной книжки Блока свой адрес. Старательным, девичьим почерком.

В конце июня она получила письмо. Только в конце июня! Много раз ей казалось, что он ее забыл, что он только улыбается, вспоминая ее слова... Так она ему об этом и написала. Ответное письмо Блока занимало 6 страниц! Вот некоторые из них:

«20 июня

сельцо Шахматово

Вчера только получил Ваше письмо. И до того уже несколько дней ждал тревожно и теперь хочу говорить с Вами и почти не могу писать: так много и так несказанно все то, что надо говорить. Я хочу говорить Вам прежде всего какие-то длинные, страстные, бессвязные речи... Это слишком невозможно, и поэтому приходится говорить здраво, насколько я могу.

Первые дни я просто ничего не чувствовал от усталости, а теперь начинаю отдыхать, и все-таки я теперь думаю очень много, но много не понимаю. И все чаще по мере того, как возвращается тот волнующий меня ритм, который управляет моей жизнью, все чаще я не хочу понимать, что случилось со мной.

Все равно не сумею.

Что влечет меня к Вам, куда влечет нас? Это больше моего понимания.

...Я отказываюсь понимать, что нашему знакомству нет и 3 месяцев. И этот медленный рост музыки опять новой. «Так вот что так влекло»... И наконец ясно обозначилось то, что теперь все чаще стоит передо мной, которое страшно серьезное — во весь рост. Несколько Ваших взглядов, несколько Ваших движений и то, что есть в письме. Из бури музыки тишина, которая не тишина. Старинная женственность. Да и она. Но за ней еще какие-то глубины верности, лежащие в Вас. Опять не знаю, то ли слово «верность». Земля, природа, чистота, жизнь, правдивое лицо жизни. Какое-то мне знакомое. Все это все-таки не определяет. Возможность счастья, что ли? Словом, что-то забытое людьми, и не мною одним, но всеми христианами, которые превыше всего ставят крестную муку. Такое же простое, чего нельзя объяснить и разложить. Вот Ваша сила в этой простоте.

7. «Юность» № 10.

Дальше копаюсь в моих думах... Опять «я», этот несчастный, иногда ненавистный мне «я», «искусство» и второе «слишком поздно»... Все с вопросами, все тягучее, все неотступное. Об этом и сказано и писано многое и будет, наверное, еще. А теперь мне не до того, потому что я погружен в Вас и ничего не чувствую, кроме Вас, в эту минуту. Кроме тебя ничего.

А Вы спрашиваете в письме: не предал ли я забвению последних дней и не улыбаюсь ли, читая, что Вы «не своя». Нет, я все помню, и нет, я не улыбаюсь. Я улыбаюсь иногда, вспоминая что-нибудь из нашей болтовни, но этому не улыбаюсь, потому что это высоко.

...Я и хочу и не хочу знать, когда и что будет с нами. Как же мы встретимся, моя гордость? В мире очень много скучного, тревожного, неясного... Нет, не умею сейчас записать.

Напишите о себе, надолго ли Вы в Чернигове и кто дразнится Вашей красотой. Напишите еще, что сказал Вам юг. Что значит счастье, которое я нашел в сирени? Напишите мне.

Ваш Александр Блок.

К тем же дням, когда писалось письмо, относятся и первые наброски стихотворения «Я помню нежность Ваших плеч», где так же, как и в письме, но уже в поэтических образах, варьируется тема духовного возрождения, которое приносит человеку большое любовное чувство:

...Печален жизни длинный свиток,
Все в душу мне глядится ночь.
Дай красоты своей избыток
Мне, юга пламенная дочь.
...Звал, заклинал я, погибая,
И Вы явились мне...
...Я вызвал Вас из бури звуков.
Там, в вихре музыки и света
Над бездной...
Я встретил Вас... ..

Окончательный вариант стихотворения помечен 1 июля, и тогда же, по-видимому, Блок надписал его на своей фотографии, посланной Дельмас; на той самой фотографии, которая стояла теперь на ее роляе...

Летом и осенью 14-го года Блок работает над поэмой «Соловьиный сад», которая будет окончена осенью 15-го года. Она была начата еще в январе, но дальше первых трех главок тогда не продвинулась.

Блок, захваченный стихами о Кармен, оставил ее в набросках, лишь наметив следующий план продолжения:

«Он услышит чужой язык, испугается, уйдет от нее, несмотря на ее страсти и слезы, и задумается о том, что счастью тоже надо учиться».

Теперь он возвращается к поэме. Набрасываются строки:

Только с ним погружаясь в забвенье,
Непробудные сны,
Бесконечное, дикое пенье
Никогда не слабевшей струны.

Особенно много вариантов имеет одна из центральных строф поэмы. Вот два из них:

...О доселе неслыханном счастье
Прочитал он в смеженных очах,
И, упав, зазвенели запястья
Громче, чем в его нищих мечтах.
...Страны счастья, чужого доселе,
Мне открыли объятия те,
И запястья, спадая, звенели
Громче, чем в моей нищей мечте...

14
 Всякое стихотворение —
 растоптанное на остриях
 и в сапожках слов. Эти
 слова свистят, как
 звонки. Из да ни с
 существах фразировки.
 Мелко оно бегает, тем
 отдаленные эти слова
 от текста. В самом
 ритме стих. не блещет
 эти одобрительные слова, но
 не знает не им, а бегает
 музыкой пропущено и не
 слышно. Хорошо насыть и
 звонки и беззвонные фразы
 в розах могут быть
 звонки, или можно их слышать.

Страница из пятнадцатой записной книжки А. Блока. Декабрь 1906 г. Отдел рукописей ИРЛИ АН СССР.

Близость некоторых образов и отдельных строк «Соловьиного сада» и стихов цикла «Кармен» казалась мне очевидной и раньше, но окончательно я уверился в этом, лишь увидев рукопись поэмы в архиве Пушкинского Дома, лишь узнав, что Блок подарил Дельмас отдельное издание поэмы с надписью «Той, что поет в Соловьином саду».

19 декабря 1914 года поздно вечером В. Э. Мейерхольд принес Блоку журнал «Любовь к трем апельсинам» (Мейерхольд был редактором и издателем этого журнала), в котором был напечатан цикл «Кармен». Эпизод биографии поэта стал фактом искусства.

«В эпохи бурь и тревог нежнейшие и интимнейшие стремления души поэта так же преисполняются бурей и тревогой», — писал Блок о стихах Катюла. Бурей и тревогой преисполнены и его собственные, самые лирические стихи.

Цикл «Кармен» и сопутствующие ему стихи не только о высоком и прекрасном, все преображающем чувстве, но стихи, на которых неизгладимую печать оставило само время, когда они писались.

Поэма «Соловьиный сад» была окончена Блоком в октябре 1915 года. Герой этой поэмы уходит из «Со-

ловьиного сада», покидает его иллюзорный уют, его прекрасную обительницу.

Пусть укрыла от дольного горя
 Утопавшая в розах стена —
 Заглушить рокотание моря
 Соловьиная песнь не вольна!

«Рокотание моря» — голос самой действительности, который мы слышим в любовной лирике Блока, — теперь зазвучит с новой силой в таких стихах, как «Петроградское небо мутилось дождем», «Рожденные в года глухие», в публицистике военных лет.

В эти годы Блок собрал и тщательно прокомментировал забытые стихи замечательного русского поэта и критика А. Григорьева, написал большое исследование «Судьба Аполлона Григорьева».

— Здесь будет и о нас с вами, — говорил он Дельмас.

В своем исследовании Блок цитирует письма Григорьева столь обильно и с таким сочувствием, что не может быть никакого сомнения в том, что, размышляя о судьбе этого поэта, он говорил и о себе:

«...Григорьев много любил — живою, русскою, «растительной» любовью... Страстно любил женщину, с которой ему не суждено было жить. Любил свою родину, и за резкие слова об этой любви (а есть любовь, о которой можно говорить только режущими, ядовитыми словами) много потерпел от «теоретиков»... Он любил страстно и самую жизнь, ту «насмешливую», которая была с ним без меры сурова, но и милостива, ибо награждала его не одною «хандрой», но и восторгами».

15 декабря 1915 года Блок дарит Дельмас только что вышедшую книгу «Стихотворения Аполлона Григорьева» с надписью:

От знающего почерк ясный
 Руки прилежной и прекрасной
 На память вечную о том
 Лишь двум сердцам знакомом мире,
 Который вспыхнул за окном
 Зимой над Ponte dei Sospiri.

«От знающего почерк ясный» — эту строчку я понял, лишь узнав, что Любовь Александровна помогала работе Блока над Григорьевым, переписывая его рукопись.

Ponte dei Sospiri — это тот самый мост через Пряжку, с которого обычно начинались их долгие прогулки по городу. Он был прекрасно виден из окна комнаты Блока. И не раз они вдвоем видели этот пейзаж. И какой-то зимний день им особенно запомнился. Какой и почему, я не спрашивал у Любови Александровны. Этот вопрос не имел смысла, ибо ответ уже был дан в стихах: «лишь двум сердцам знакомом мире...»

Несмотря на свою давнюю неприязнь к публичным вечерам, Блок в 1915 году соглашается на несколько выступлений вместе с Дельмас, которая пела романсы на его слова. Одна из сохранившихся афишек свидетельствует, что 28 марта 1915 года на «Вечере современного искусства» Блок читал стихи «Россия», «На поле Куликовом» и «Песнь Газтана» из драмы «Роза и Крест». Дельмас исполняла романсы «Девушка пела в церковном хоре» (который Блок особенно нравился), «Песню пажу Алискана» и «Вербочки». На этом же вечере выступали Ф. Сологуб, А. Ахматова, И. Северянин.

А. А. Ахматова в 1965 году в выступлении по Ленинградскому телевидению рассказала, откуда появилась «испанская шаль» в стихотворении Блока,

ей посвященном: «У меня никогда не было испанской шали, в которой я там изображена, но в это время Блок бредил Кармен и испанизировал и меня. Я и красной розы, разумеется, никогда в волосах не носила. Не случайно это стихотворение написано испанской строфой романсеро».

Когда я сопоставляю стихотворные и дневниковые записи Блока, я вовсе не хочу сказать, что вот именно эта женщина, или этот пейзаж, или эта сирень дали нам то или другое стихотворение. Нет, все это гораздо сложнее. Но все же, когда я увидел фото Любови Александровны 16-го года, мне не могло не вспомниться стихотворение Блока того же времени. Очень известное стихотворение. Только мало кто знает, что оно тоже посвящено Дельмас и называлось «Она».

Превратила все в шутку сначала,
Поняла — принялась укорять,
Головою красивой начала,
Стала слезы платком вытирать,

И, зубами дразня, хохотала,
Неожиданно все позабыв.
Вдруг припомнила все — зарыдала,
Десять шпильек на стол уронив.

Подурнела, пошла, обернулась,
Воротилась, чего-то ждала,
Проклинала, спиной повернулась
И, должно быть, навек ушла...

Что ж, пора приниматься за дело,
За старинное дело свое,—
Неужели и жизнь отшумела,
Отшумела, как платье твое?

Может быть, какой-то поворот, какое-то горькое выражение этого лица дали начало этого стихотворения, может быть...

Уже вернувшись в Москву и проявив фотопленки, которые я снимал в ленинградских архивах, я прочитал в них одну блоковскую запись о Дельмас, которая мне кажется замечательной. Раньше, в спешке, я не обратил на нее особенного внимания. Эту запись в дневнике показала мне Н. Т. Панченко — научный сотрудник отдела рукописей Пушкинского Дома, которая помогала мне ориентироваться в тысяче страничном блоковском архиве, легко читала совершенно неразборчивые на первый взгляд строки, терпеливо отвечала на мои подчас весьма наивные вопросы. Конечно, без ее советов мне не пришлось бы в голову искать записи о Дельмас среди бумаг Блока, относящихся к его служебным делам 17-го года. Запись сделана 21 мая, когда, разбирая старые бумаги, Блок открыл ящик, к которому уже давно не прикасался и где лежали письма Л. А. Дельмас.

«Боже мой, какое безумие, что все проходит, ничто не вечно. Сколько у меня было счастья (счастья, да) с этой женщиной. Слов от нее почти не останется. Останется эта груда лепестков, всяких сухих цветов, роз, верб, ячменных колосьев, резеды, каких-то больших лепестков и листьев. Все это шелестит под руками. Я сжег некоторые записки, которые не

любил, когда получал; но сколько осталось. И какие пленительные есть слова и фразы среди груды вздора. Шпильки, ленты, цветы, слова. И все на свете проходит. Как она плакала на днях ночью, и как на одну минуту я опять потянулся к ней, потянулся жестоко, увидев искру прежней юности на лице, молодостью от белой ночи и страсти. И это мое жестокое (потому что минутное) старое волнение вызвало только ее слезы.

Бедная, она была со мной счастлива.

Разноцветные ленты, красные, розовые, голубые, желтые, розы, колосья ячменя, медные, режущие чуткие волосы, ленты, колосья, шпильки, вербы, розы».

На этой записи кончается все «личное» в отношениях Блока и Дельмас. Они останутся добрыми друзьями. В январе 19-го года он подарит ей «Двенадцать» со следующей надписью: «Если бы Вы не сочувствовали этой книге, я все-таки хотел бы подарить Вам ее. Потому что Вы артистка милостью божьей, и служа новому миру Вашим искусством, сжигаете старый мир Вашим огнем».

Все дальше в прошлое отодвигалась необыкновенная, волшебная весна 14-го года, но и для поэта и для его героини она оставалась одним из лучших воспоминаний жизни, и на сборнике «Седое утро», вышедшем в 1920 году и тогда же подаренном Блоком Любови Александровне, он написал:

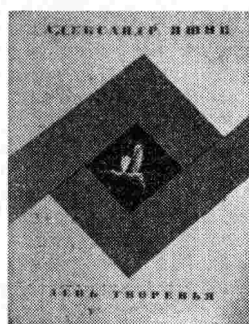
Едва в глубоких снах мне снова
Начнет былое воскресать,—
Рука уж вывести готова
Слова, которых не сказать.
Но я руке не позволяю
Писать про виденные сны,
И только книжку посылаю
Царице песен и весны.

В моей душе, как келья, душной
Все эти песни родились.
Я их любил. И равнодушно
Их отпустил. И понеслись...

Неситесь! Буря и тревога
Вам дали легкие крыла,
Но нежной прихоти немного
Иным из вас она дала.

Я листаю этот сборник, перебираю фотографии дневниковых записей Блока, автографов его стихов, писем и афиш спектаклей, которые он видел, прокламаций, которые он читал... Я перебираю эти фото и стараюсь представить себе яркие, полные залы, где пела Дельмас, и темные, безлюдные парки, где бродил Блок, и постепенно по этим обломкам восстанавливаю то, что удается восстановить. Я чувствую себя немного археологом. Я сдуваю пыль и разгребаю золу, и вдруг мои пальцы обжигают непогасшие угли. И слова, написанные больше чем полвека назад, кажутся произнесенными только что и звучат в тебе, и ты никогда уже их не забудешь, как не забудешь дневниковую запись Блока о Дельмас:

«Ей имени нет. Ее плечи бессмертны...»



Острый, пронзительный аромат леса исходит эта книга (Александр Яшин «День творенья»). Изд-во «Советский писатель». Это атмосфера высокого места, где деревья стоят давно и крепко, и солнце легко между ними находит дорогу к земле. И шелест птичьего крыла различим хорошо. Древесные волокна, которые превратились в страницы, празднично существуют в новой для себя жизни. Ведь есть же, кроме практического, и еще немалый смысл в том, что человек издавна запечатлевал свое слово на папирусных свитках, на бересте, то есть на листьях, на коре — на дереве, понимая, что оно может продолжиться во времени за черту человеческой жизни.

Александр Яшин — удивительный собеседник. С ним нельзя не быть откровенным. Когда он пишет природу, испытываешь грусть оттого, что не ты это вовсе вблизи схваченных первым заморозком рек, на жухлой траве в тени вологодских лесов смотришь вослед журавлю. И жаль, что не узнать уж тех людей, с кем поэт прошел Великую Отечественную, отстаивая наши поля и леса, нашу жизнь. Там, среди этих людей, навсегда возмужало доброе его сердце. А что поэт без мужества и доброты!

Эх, полюшко, Поле боя!
Теперь-то оно другое.
Но мне не уйти от сравнений,
Добытых ценой войны
В землянках, в ходах сообщений.
Они нам навек даны.
Он много и страстно работал. «Я обречен на подвиг, и некого винить,

что свой удел свободно не в силах изменить...» Он был человеком долга и совести. И все, кто был знаком с ним, гордились этим знакомством. Он надолго уезжал из Москвы в Вологодскую область, в родные места. И возвращался не с пустыми руками: его новые стихи, прозрачные и горьковатые, оказывались заметными и нужными. Он любил наш журнал и регулярно печатался в нем.

Как так стало, что он ушел? Словно скрылся в гуще леса — только колышутся еще ветви, сомкнувшиеся за ним, и звучит еще глуховатый его голос. Когда-то, почти десять лет назад, он отнес в издательство мою первую рукопись. В то самое издательство, которое выпустило — рука не поднимается написать «последнюю» — новую книгу его стихов. И вот я пытаюсь рассказать об этой книге читателям «Юности» и чувствую, что говорю о человеке, о поэте, а не о книге. А он был старший товарищ, надежный и строгий. А он был, я уже говорил, удивительный собеседник. И — странно! — каждый раз, когда приходилось говорить с ним, возникало ощущение, что самое-то важное ты не рассказал, что получил неизмеримо больше, чем сумел возвратить.

Такова судьба общения с поэтами — они оставляют нас вечно невысказавшимися, они оставляют нам чувство невозвращенного долга.

Н. ЗЛОТНИКОВ

Говорят, ученый не может предвидеть, как будет использовано его научное открытие. На первый взгляд это правильно. Но достаточно вспомнить, как по-разному отнес-

лись ученые к величайшим открытиям нашего века, и станет ясно, что общепринятая точка зрения справедлива только на первый взгляд. Вспомним хотя бы супругов Кюри. Совершенно очевидно, что в конечном итоге, как будет использовано научное открытие, тоже зависит от ученых. Поэтому в наш век стремительного накопления знаний, пожалуй, главное в облике ученого — степень его нравственности...

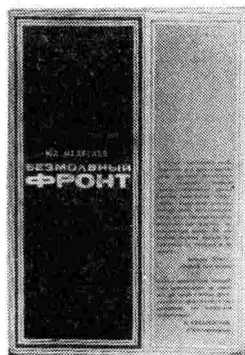
Вот этому главному и посвящена пьеса «Солнечное сплетение», давшая название сборнику пьес А. Зака и И. Кузнецова, вышедшему в издательстве «Советский писатель». «Показать людям всю красоту мира — вот ради чего работают ученые нашей лаборатории». Эта не ахти какая глубокая мысль приписана молодой журналисткой Зоей молодому ученому в финале пьесы. Сам Валерий никогда таких слов не произносил. У него несколько иные взгляды на науку и роль ученого... Но он соглашается принять приписанные ему слова. Что это? Обычная лицемерная условность? На этот раз нет. Дело в том, что на наших глазах жизнь, как говорится, сняла с Валерия стружку, и к финалу пьесы перед нами не тот «сверхчеловек», для которого наука существует лишь как средство удовлетворения собственного тщеславия, потребности мозга мыслить. Валерий потрясен и растерян неожиданными «открытиями». Он вдруг понимает, что естественные человеческие чувства можно подавить, уничтожить, но ими нельзя управлять по своему произволу, нельзя подчинить себе. «Сверхчеловек» начинает понимать, что его жизнь тесно связана с жизнью обыч-

ных людей, больше того, зависит от них.

В этой коротенькой аннотации я так подробно остановился на одной пьесе потому, что эта пьеса характерна и для художественной манеры авторов и для их мироощущения.

Мне приходилось слышать, как Зака и Кузнецова упрекали в прямолинейности. Но разве можно упрекать художников за то, что является особенностью их творческой манеры? Мне приходилось слышать, как авторов упрекают за схематичное решение проблем: «Порок наказан, добродетель торжествует». Но разве за этой схемой не стоит правда жизни? Да, в пьесах Зака и Кузнецова как бы два цвета — добро и зло, нравственное и безнравственное — находятся в прямом и непримиримом столкновении. Причем добро всегда побеждает зло. В одном случае эта победа «внутренняя», герой как бы побеждает самого себя («Солнечное сплетение», «Взрослые дети»), в другом положительные герои побеждают отрицательных, оказываясь сильнее обстоятельств, которые по разным причинам сложились не в их пользу («Два цвета», «Слово из песни»). Невольно вспоминаешь ехидные слова Бармалея из фильма «Айболит-66» (авторы сценария В. Коростылев и Р. Быков): «Добро побеждает, побеждает, а победить не может». Но этот же фильм показывает, как всеисильное зло на самом деле не в состоянии одолеть добро.

Опубликованные в сборнике пьесы давно отыграны на сцене, но, как мы видим, они обрели вторую жизнь в литературе. Секрет этого в умении Зака и Кузнецова находить в быстротекущих событиях действительности не столь



быстро исчезающие черты. Другими словами, при всей злободневности и внешне прямой конфликтной ситуации авторы умеют через характеры своих героев показать природу непреходящих явлений. А разве не это одна из задач искусства?

Б. БАЛТЕР

Рассказанные Виктором Драгунским приключения Дениски («Денискины рассказы», изд-во «Малыш») — на московских улицах и бульварах, в школе и дома, во дворе и в кино, на водной станции, в элктричке, под столом, в лифте и на чердаке — оживают в нашей памяти наше детство, наши первые шаги в жизни, возвращая нас к истокам наших уже сложившихся привычек и привязанностей. Прочтите эту книжку, и вы вспомните, как с детской доверчивостью входили вы в этот страшно любопытный мир и как мир доверял вам свои тайны и чудеса, как много каждый день открывали вы в этом мире. Вы вспомните, как впервые узнали, что «тайное становится явным», когда вы врали, и как впервые узнали горечь обиды оттого, что обманули вас, как учились прощать обиды и начинали догадываться, что такое дружба, узнаете, как трудно варить куриный бульон, когда курица прыгает, «как будто живая», и как мама устает, когда приходится мыть много посуды, вспомните, как вы узнали, что такое «рыцарь», и как впервые победили свой страх.

Вы почувствуете условность нашего взрослого мира, в котором мы пьем чай с «обманщицей» и «мещанкой»

Марьей Петровной, увидите себя глазами маленького мальчишки с живым воображением, которое рисует ему сцены, какие вам и не снились, и дорисовывает сны, сновидения ему, увидите жизнь глазами детской души, для которой все в мире пока делится на черное и белое, красное и белое, любимое и нелюбимое.

А в этой жизни детское и взрослое порой так перепутано, что «просто удивительно», как часто взрослые ведут себя совсем по-детски, а дети поступают удивительно взросло. И, наконец, поэтому В. Драгунский и сам иногда запутывается в этом мире, и дети у него начинают говорить, как взрослые, а мама вдруг совсем по-детски спрашивает у Дениски: «Живот, что ли, болит?» Но ведь это не беда, потому что все это можно исправить — правда, только в следующий раз, потому что книжка эта уже вышла, и вся разошлась, и купить ее уже никак нельзя.

Вл. КИРЗОВ

Безмолвная и беспощадная война идет вокруг нас, не затихая ни на день. — война между человеком и насекомыми. Ставка в этой войне: у человека — увеличение количества пищи, у насекомого — жизнь. И хотя силы человека, вооруженного всеми новейшими достижениями химии, выглядят неизмеримо большими, победа пока отнюдь не за ним. Потому что эта война — игра без правил, ибо одной воюющей стороне — человеку — правила ее, к сожалению, еще не до конца известны, а другая вою-

ющая сторона, насекомые-вредители, пользуется ими бессознательно, но успешно.

Об этом книга Юл. Медведева «Безмолвный фронт» (изд-во «Советская Россия»). Напряженный сюжет, стремительно разворачивающееся действие, многоплановость событий и, наконец, целая галерея замечательно выписанных героев обеих воюющих сторон — все это делает повествование захватывающе интересным. Если у вас есть неотложные дела, сначала сделайте их, потому что оторваться от книги очень трудно. И, пожалуй, самое примечательное — занятность книги не идет в ущерб ее научной достоверности. Ни в едином случае авторская фантазия не отступила от научного факта.

Итак, речь идет о защите растений, необходимых человеку, от насекомых-вредителей, о различных методах этой защиты — химических и биологических.

Урон, наносимый вредителями сельскому хозяйству, настолько велик, война идет так давно, что применение ядохимикатов было воспринято сначала просто как избавление. Однако ядохимикаты не разбирали правого и виноватого — среди насекомых гибли и враги и друзья растений, погибали рыбы, птицы, животные. Ядохимикаты либо из окружающей среды — воды, воздуха, либо с продуктами питания попадали и к самому человеку, грозя отравлением. И самое главное в любой игре — конечный результат — не было достигнуто, не было полной победы: вредители выживали, а на смену погибшим вставали новые, еще более злобные.

Книга Юл. Медведева как раз о том, что пришла пора глубже вникнуть в законы природы, а поняв их, постараться, например, в таком важнейшем деле, как защита растений, следовать этим законам, а не поступать вопреки им.

И такие попытки делаются. Речь идет о биологических методах защиты растений. За ними, по всей вероятности, будущее, но сейчас они еще не настолько разработаны, чтобы обеспечить необходимую эффективность защиты полей и садов. Пока химическая защита остается главным средством борьбы с насекомыми-вредителями, но увлечение сильными ядами и безоговорочная вера в них все в большей степени сменяются тревогой, а тревога — всегда хоро-

ший стимул для поисков новых путей.

И об этом тоже книга Юл. Медведева. Исследуя историю и настоящее, автор счастливо избежал основной ошибки почти всех научных дискуссий — крайностей, сумев объективно оценить положение на фронте безмолвной войны.

Читая книгу Юл. Медведева, получаешь бескорыстное удовольствие от хорошо сделанной работы и от приобретения огромного количества ценной информации.

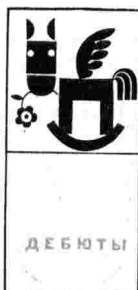
М. АНДРИАНОВА,
кандидат медицинских наук

Возьмите в руки небольшую книжку Александра Лесса «Вторая стихия» (изд-во «Молодая гвардия»), и вы познакомитесь с ныне здравствующей героиней рассказа Куприна «Соловей» — польской певицей Адой Сари, встретитесь с пианистом Исаем Добровейном, игравшим В. И. Ленину, узнаете о том, как режиссер Николай Смолич ставил музыкальный спектакль по поэме Владимира Маяковского «Хорошо!», прочтете о вальсе, написанном Львом Толстым.

Александр Лесс приводит в своей книге пушкинские слова: «Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записки к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертывавшая эти смиренные цифры, эти незначущие слова, тем же почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения, предмет наших изумлений и восторгов...»

Поэтому всякий штрих к биографии, эпизод из жизни великих артистов приносят нам радость общения с замечательными людьми. Такую радость приносит и книга Ал. Лесса. Преданный искусству человек, он неустанно, по крупицам собрал интересные сведения из жизни Шляпина, Григория Пирогова, Неждановой, Энрико Карузо, Тита Руффо, знаменитой балерины Анны Павловой, пианиста Вана Клиберна. Особое место в книге занимают люди, страстно любившие музыку: маршал Тухачевский, летчик Сергей Уточкин, писатель Николай Островский.

О. НЕМИРОВСКАЯ



Петр Мостовой:

«Остановить мгновение»



Фото Н. Лагиной.

Три года назад у входа в Ленинградскую студию документальных фильмов стоял молодой человек, держа под мышкой большую железную коробку, в какой обычно хранят кинолентку. Он ждал директора студии Валерия Михайловича Соловцева. «Ну, появится Соловцев,— думал он,— что я скажу ему? Что хочу снимать фильмы?.. А кто я такой? Инженер-физик, окончил электротехнический институт... Правда, скажу, что поступил во ВГИК на операторский, учусь заочно...»

— Я хочу у вас работать,— произнес Мостовой, когда наконец появился директор.

Соловцев коротко сказал:

— Ну, идемте!..

И вот на экране маленького просмотрового зала загорелась ленинградская белая ночь, прозрачная, насквозь пронизанная музыкой и любовью к городу, его людям, к Неве... Фильм назывался «Живая вода», снимал его Петр Мостовой вместе с другим кинолюбителем, архитектором Геннадием Кравцовым. Некоторое время спустя эта лента была отмечена первой премией на Всесоюзном фестивале любительских фильмов, а затем серебряной медалью — в Каннах...

Первая профессиональная работа оператора Петра Мостового — фильм «Взгляните на лицо» (режиссер П. Коган) — о людях, пришедших в Эрмитаж к великому творению Леонардо да Винчи «Мадонна Литта». Скрытая камера позволила перенести на экран самое дыхание человеческое, сложную и разнообразную гамму эмоций. И авторы полностью использовали эту возможность.

А после фильмов «Маринино житие», «День за днем» — о Красной площади и Мавзолее Ленина, — «Военной музыки оркестр» пресса уже писала о Мо-

стовом: «мастер психологического портрета», обладатель «нежной камеры»... Сам же Петр Мостовой мечтал о режиссуре и неоднократно мне говорил об этом (мы знакомы еще с его «инженерных» лет).

И вот наконец режиссерский дебют — фильм «Всего три урока», поставленный на «Леннаучфильме», где сейчас работает Мостовой. Нынешним летом на международном кинофестивале в Кракове эта лента получила Гран-при — «Золотой дракон».

Фильм — о школе. Вернее, об одном классе ленинградской средней школы № 53, где уже двадцать лет преподает учительница-словесник Анжелика Павловна Балабанова...

Итак, мой собеседник — режиссер Петр Мостовой. Сейчас ему тридцать один год.

— Почему ты так рвался к режиссуре? — спрашиваю его.

— Вот я снимал людей самых разных профессий, — отвечает он, — пожарников, рабочих, моряков с ледоколов, официантку в молодежном кафе, музыкантов военного оркестра... Многих... И всегда стремился, чтобы каждый человек на экране жил самой естественной, ни в чем не надуманной, не сыгранной, своей жизнью. Чтобы экран раскрывал его психологический портрет, за которым угадывалась бы человеческая судьба. Мой метод — кинонаблюдение. Очень осторожное, деликатное вторжение камеры, чтоб не нарушить естественного хода жизни, мысли. Поймать момент, когда человек раскрывается наиболее полно, распахнуто, что ли. В самом обыденном, часто и не предусмотренном сценарием. Снимая такие ленты, на мой взгляд, оператор должен быть и режиссером. Знаешь, очень важна старая аксиома: оператору нужно обладать зорким взглядом, умением схватить не-

обходимое выражение или эмоциональный поворот в какой-то один, быть может, даже единственный миг. Он должен уметь решать многое сам, не только кинопластику, но и ловить мгновение: поймаешь — и человек раскроется! Вот с режиссером Павлом Коганом мы друг друга с полуслова понимали. А чаще: оператор стоит за камерой, а рядом — режиссер, который диктует кадр, оставляя оператору возможность только облекать режиссерское видение в пластическую форму. В этом случае не часто удается поймать мгновение... Бывают, конечно, счастливые совпадения. Но... Потому я и считаю, что в такого рода документальном камерном кино оператор, режиссер и сценарист (ну, последнее уже почти из области несбыточных грез!) должны соединиться в одном человеке.

— Ты считаешь себя таким человеком?

— Я хочу быть таким. Не знаю, получится ли... А насчет сценариста... Режиссер и оператор должны заставить звучать с экрана какую-то определенную идею сценария. Но ведь мы снимаем поток жизни, естественный ее ход, и каждый поворот трудно, почти невозможно предусмотреть заранее даже самым подробным сценарием. Ведь здесь недопустимо какое «играние ролей». Многое неожиданно рождается уже в самой съемке. Так было и с моими «Всего тремя уроками». Учительница. Дома, в школе, в общественной работе. Вот она идет с ребятами в театр, вот ведет их на Черную речку, к месту пушкинской дуэли. Следуя сценарному плану, мы показали бы ее вроде довольно разнообразно. Но при всем внешнем многообразии с самого начала ощущалась некая односторонность, однообразие ее показа. Мое мнение разделяла и консультант фильма — писательница и педагог Наталья Долинина. Тянуло к чему-то менее разнообразному, но более углубленному... В общем, сомнения терзали меня...

— Так, в сомнениях, и начал снимать?

— Не скрою... Но мне уже было ясно, что в короткой, двадцатиминутной ленте надо заглянуть в самый процесс воспитания, подчеркнуть непосредственность взаимоотношений педагога и учеников... Характеры детей. Характер учительницы Анжелики Павловны... И сама жизнь, ворвавшаяся в кинокамеру (часто даже и помимо моей воли), подсказывала многое...

— Кинонаблюдение?

— Да, оно самое.

— Но не ведет ли тебя, пусть невольно, на поводу это кинонаблюдение? Не захлестывает ли поток жизни?

— Пока, думаю, нет. И ни в коем разе не должен. Без авторской позиции вообще нет фильма. Только она должна быть тонкой, очень продуманной, ненавязчивой. Ведь снята тьма материала, а отобрано немного. То, что мне, оператору-режиссеру, представляется основным. Как я вижу конкретного человека... В этом фильме я выбрал всего три урока.

— Почему именно эти три?

— Первый — знакомство, первое представление о Балабановой и ее учениках. Второй — попытка как можно глубже заглянуть в мир учительницы, ее характер. Она добра, внимательна, совершенно бескорыстно отдала детям жизнь. С другой стороны, она в чем-то и догматична... Не хотелось рисовать одной-двумя красками... Характер сложен — нужна и разнообразная цветовая гамма. И потому так дорог мне урок в учительской.

— Ну, а третий?

— Дети читают свои сочинения на тему «Мой портрет», раскрывая себя самих и еще четче выявляя свои взаимоотношения с Анжеликой Павловной.

— А это искренне?

— Безусловно... Ручаюсь за взаимную откровенность (кроме того, не забывай, что камеры-то они не видят, не «играют» на нее). В общем, первый урок — своеобразный дуэт: класс и педагог. Второй — соло педагога. Третий — хор учеников, каждый из которых выступает и со своим соло. А учительница? Она дирижер этого хора. Незримый. Но все, что происходит, вся эта симфония, — может быть, это результат ее творчества, ее труда...

— Видимо, не напрасно ты учился играть на скрипке...

— Ты права. Музыка — очень многое для меня. И в кино — тоже. Без музыки Валерия Арзуманова не было бы «Живой воды». И «Взгляните на лицо» — вся лента тоже идет на музыке. И, уж конечно, «Военной музыки оркестр»... В «Уроках», правда, нет музыки как таковой. Но построение фильма идет, конечно, от музыки...

— Вот ты назвал мне очень разные по тематике фильмы, которые снимал. А как ты выбираешь тему?

— Тема — это самое сложное. И находишь ее всякий раз по-разному. Авторская заявка. Встреча. Заметка в газете. Хотя это, скорее, уже отыскание фактов, сюжета. Основное же — найти интересный, живой характер.

Мостовой продолжает:

— Каждый раз, приступая к фильму, я страшно волнуюсь, а теперь, когда я стал режиссером, особенно. Такое ощущение, что ничего не получится. Ложись спать, а перед глазами мельтешат кадры, в ушах — голоса с монтажного стола... И идефикс: найти какой-то оптимальный вариант в каждой будущей ленте...

— Боишься пропустить мгновение?

— Наверное...

— Что будешь теперь снимать?

— Варшавская студия документальных фильмов предложила мне работать над картиной к столетию со дня рождения Ленина на современном материале. Это чрезвычайно интересно и страшно ответственно...

Беседу вела Наталья ЛАГИНА.



Александр Берман

СТОЛБЫ, СТОЛБЫ...

Когда идешь по скале один и нет веревки, которая «простит» ошибку, ты за ошибку можешь ответить жизнью.

Но когда я лазил по скалам на красноярских Столбах, рядом всегда были люди, которые знали эти скалы наизусть и которые подсказывали мне, как использовать малейшую зацепку камня, ибо на сложных ходах надо точно повторять давно отработанные и проверенные движения.

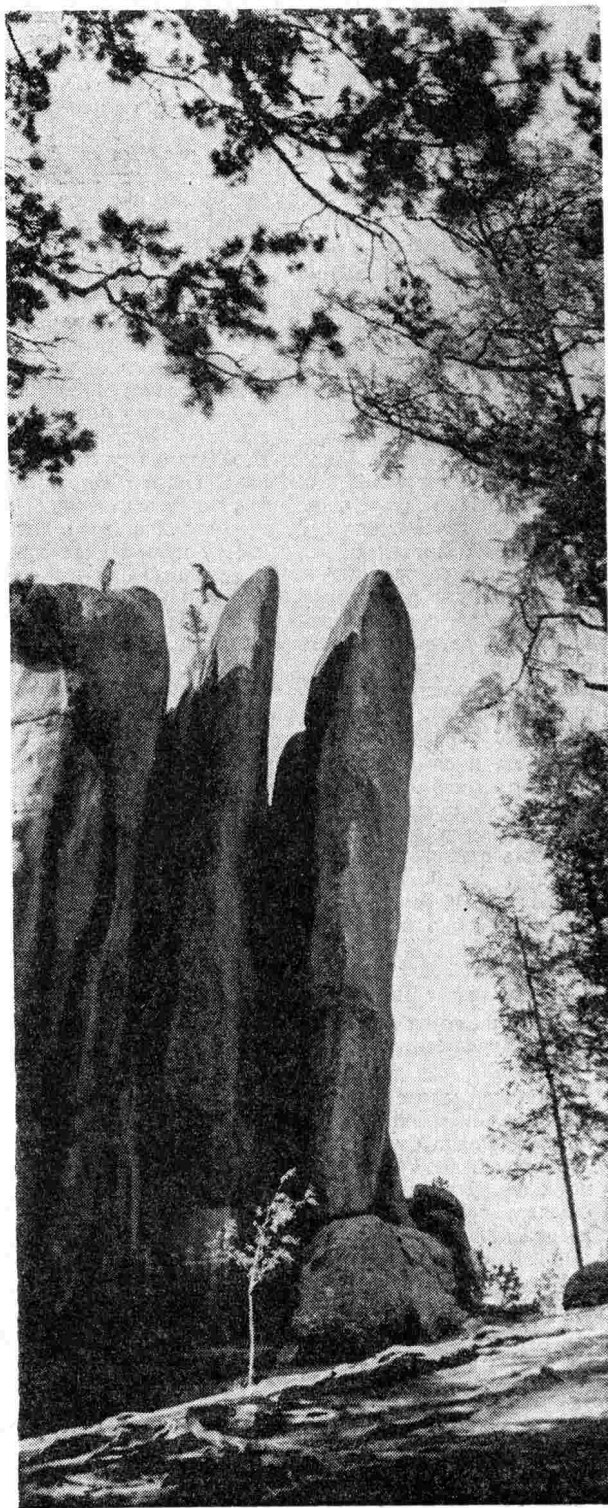
Помню, как, впервые будучи на Столбах, я висел на скале «Митра» и смотрел вниз на убегающе-ровную стену, скользящую в шестидесятиметровую глубину. Сверху мне советовали, как поставить руку, но я испугался вдруг, что сейчас соскользнет нога, и остро подступило одиночество. Но потом, уже выше, на еще более сложном участке стены, названном «Аллилуйя», я ощутил вдруг эту магическую связь с голосом человека — столь же осязаемую и материальную, как веревка.

На «Аллилуйе», опираясь правой рукой на узкую покатую полочку, на которой умещается только половина ладони, отжимаешься до уровня живота и теперь на эту полочку тянешь ногу — складываешься пополам. А левую руку одновременно вытягиваешь над головой, пытаешься дотянуться до верхней зацепки и никак не можешь достать ее. Помню, как я балансировал на «Аллилуйе» и как вдруг подо мной покачнулась стена. Но тут же вернулась уверенность, как будто подцепили веревку, я сильнее подался вверх, и рука достала зацепку. Встал, выпрямился, огляделся, облегченно вздохнул. И только тут с опозданием осознал — как эхо услышал слова, прозвучавшие секунду назад:

— Немножко, еще немножечко, сантиметрик еще... Ну, вот и все!

Этим летом я вновь побывал на Столбах, чтобы вновь испытать яркое чувство риска, идя по скалам без веревки, или, как говорят на Столбах, «свободным лазаньем».

Я шел на Столбы в воскресенье, было много народу. Спрашивал Папу Карло, Дика, Гапона (среди



столбистов приняты клички, так что настоящих имен порой и не знаешь), но никого из них на Столбах в то утро не оказалось, и я наконец познакомился с двумя молодыми ребятами: Седым и Художником.

Пошел с ними на столб, который называется «Первый», самым людным и доступным ходом — «Катушки». Впереди шел Седой. Он часто отклонялся от основного хода, шел более сложным путем и в то же время рассказывал мне:

— Наш камень кажется гладким, но он шершавый и ноздреватый, толкаешься и идешь... Нет, не жмись к камню, выпрямись.

Он бежит вверх по крутому камню, и вот он уже метрах в пяти надо мной.

— Это считалось когда-то высшим классом — пока боялись попрыгать. Попробуй сам.

И я пробую — бегу по красноватому монолиту, каждым шагом-толчком поднимая себя — и усаживаюсь рядом с Седым.

А мимо нас шел по «Катушкам» воскресный поток людей, обгоняли друг друга, прыгали. Девочка остановилась, потеряла толчок — рука поползла. Парень, пробежав мимо, прижал ее руку к камню, остановил и подтолкнул вверх, а сам, потеряв скорость, изогнулся и прыгнул куда-то вбок. Рядом с нами другая девочка кричит кому-то вниз, разговаривает, а сама чуть-чуть двигает ногами, двигается все дальше на крутизну, хочет кого-то внизу увидеть.

— Эй, подружка, упасть хочешь? — прерывает рассказ Седой.

— Нет, я держусь.

— Все так думали.

На этом простейшем ходе мне трудно сразу различить, кто опытный столбист, а кто новичок. Раньше у столбистов была форма. Я помню расшитые узорам жилетки, фески с украшениями, просторные шаровары, красные, синие, желтые кушаки и на ногах — галоши. На скалах галоши неизмеримо удобнее современных кед и тапочек: тонкая резиновая подошва с мелкой насечкой; особенно хороши остроносые галоши: они обтягивают все пальцы от большого до малого, не оставляя опасной пустоты. Галоши просто и остроумно крепятся на ноге тесемочкой. Когда красноярцы впервые появились на современных скалолазов в Ялте, их галоши подверглись насмешкам. Теперь же многие скалолазы ходят в галошах. Кушак был тоже утилитарен. Длинная штука сатина, иногда десятиметровой длины, обматывалась вокруг талии и при необходимости заменяла веревку. Кушаки и галоши были общеприняты, но при жилетках и фесках, в полной форме, появлялись лишь немногие. Сначала годами учились ходить по скалам, а потом надевали форму и были готовы в любой момент лезть сложнейшими и опаснейшими ходами и просто так, чтобы доказать принадлежность к касте или помочь беспомощно повисшему на стене человеку (на людных скалах это бывает часто). Облечься в форму без оснований было равносильно позору. Это была высокая достояния форма, добровольная, никем не пожалованная. Но появилось на Столбах хулиганье, и местные власти, не мудствуя лукаво, распорядились срывать со всех жилетки, кушаки, фески. Старые столбисты не любят рассказывать об этом: «Бог с ней, с формой, Столбы-то остались».

Вот парень лихо откуда-то с высоты прыгнул на узкую площадку, где мы стоим. За ним, лицом к стене, медленно спускается девушка. Парень здоровается с Седым; он, оказываясь, сегодня за день «излезил» галошу. Они с Седым рассматривают галошу. Девушка молча спускается, она

уже низко, но прыгать боится, сгибает, сгибает колени (натянутые джинсы, металлические заклепки на задних карманчиках), парень занят галошей; девушка прыгает, качнулась к обрыву, но устояла, парень весь подобрался, но не протянул руки, девушка гневно оборачивается к нему: «Ты чего?!» (белые волосы, огромные накрашенные глаза).

И продолжается обсуждение галоши.

Седой говорит:

— Люблю «Первый» столб, здесь всегда много народа. Ходы забиты, а кому-то надо спешить; вот и лезет сбоку. Один пройдет, другие увидят — тоже за ним. Вот и пошли всякие задачки-фокусы. Их тут тьма, и хочется всюду пролезть, людей посмотреть, себя показать, сочетая приятное с полезным. Как-то собралось много ребят, и мы здесь лазили, лазили, за пять лет столько не налазает, и все друг перед другом. Вот тогда Санька и прошел здесь вниз головой...

Я никак не мог уловить момент, когда его рассказ переходил в иллюстрацию действием. Это случилось мгновенно. И в этот раз, не успев я запротестовать, как уже вижу подошвы его галош, вытянутую шею, светловолосую голову, широко расставленные руки с растопыренными пальцами, и он уходит от меня вниз головой, по круто наклоненной плите, обрывающейся в пропасть. Вдруг из карманов у него посыпались монетки — мелочь, зазвенели, покатались по плите, бесшумно пропадая за краем. Часть монет застряла в щелях, и Седой со смехом, все так же вниз головой, стал подбираться к ним. Седой вылез наверх, но не успев я опомниться, как Художник пошел через «Гребешок Бифа» (Беляк Иван Филиппович, учитель, прошел его когда-то давно; очень опасный ход). Художник, не расставаясь с сигаретой, легко одолел первую часть хода, но, вылезая нам навстречу, вдруг остановился. Он водит руками по камню, выкинул сигарету, несколько раз приподнимает локти, расслабляя мышцы, глубоко дышит. Седой говорит, сидя рядом со мной: «Вот отсюда уж точно смерть, никаких ему случайностей». Художник виден нам по поясу. Он расслабляет руки, он глубоко дышит, он стоит в трех метрах от нас. Мы удобно сидим на камне. Седой перестал рассказывать и ждет. Художник нашел зацепки, толкнулся, перелез через камень, сел с нами рядом и спросил:

— А от чего руки трясутся: от страха или от напряжения?

Мы спускаемся с «Первого» столба ходом «Вопросик». Седой впереди, показывает мне ход. Вот здесь и есть вопросик: нужно спрыгнуть вниз на небольшой выступающий камень — устоишь или нет? Виден обрыв до самой земли, и маленькие фигурки людей, и тренировочная скала-малютка «Слоник». На «Слонике» много народу, ветер доносит голоса.

Седой уже спрыгнул, освободил мне место. Он вытягивает руку в моем направлении, а потом ведет ее к камню, приглашая прыгнуть, совсем как дрессировщик в цирке. Он что-то мне говорит, но уши уже залепил страх. Вернуться? И вдруг мутный толчок в голову, и неожиданно прыгаю, мгновенно вижу себя в полете; встал на камень. Не успев отойти — прыгает Художник. Сверху вываливаются его длинные ноги и летят на меня; шарахаюсь в сторону. Художник встал на камень четко.

В Красноярске я разговаривал с Верой Казимировной Гудвиль. Она на Столбах с девяти лет.

— И Вова, мой сын, на Столбах с девяти лет. Я тогда работала инструктором скалолазания и доверяла ему водить «Катушками» на «Первый» отды-



Виктор Янов. Флаг на «Беркуте». Гравюра.

хающих из санатория, и еще парнишка с ним был, маленький такой — Бекас... Какой ваш любимый ход? Вы ходили «Уголок» на «Перья»? Эх, жаль, уже неделю радикулит, я бы сводила вас. «Уголок»! Я лично любила «Уголок», он пришелся по мне, он выносит, выталкивает, тут-то и борешься за жизнь (лицо радостное, смеющееся). Нас испортила веревка. Теперь идешь, думаешь, лучше бы с веревкой. Эх, испортили нас эти мастера-альпинисты.

В пятидесятом году Вера Казимировна стала чемпионкой города по спортивному скалолазанию. В течение следующих пятнадцати лет она была сильнейшим скалолазом города, края, побеждала на матчевых встречах городов. С пятидесяти пятого года в одной команде с ней стал выступать сын Вова.

— Вот, в 61-м году, в Ялте, на всесоюзных соревнованиях, я заняла третье место, и Вова тоже. Мы эти кубки получили, вот этот мой, а этот Вовин, или наоборот, не помню.

В 1965 году Вера Казимировна была участницей команды, победившей в соревнованиях на приз Евгения Абалакова. Ей тогда было 48 лет.

— Я любила технически сложные трассы, чтобы маленькие зацепки, где щелка красивая, вертикальные переходики; это ведь не пожарный спорт, чтобы по лестнице бегать. «Митра» — страшная. Раньше не было страшно, а веревка появилась — теперь страшно. А «Уголок» я и сейчас люблю. Вроде бы как по мне он пришелся: идешь врасклинку, и руками и ногами упираешься, и все по-разному, а он тебя выталкивает из угла вон, на простор (на простор!). Сходите «Уголок» на «Перья», сходите обязательно!

На следующий день, под вечер, прямо из города мы отправились на «Дикие» столбы. Мы бежали, потому что темно, а впереди было двадцать километров тайги.

Ребята, хорошо тренированные альпинисты, бежали по тайге, как лоси. И успевали еще на ходу говорить о больших горах, о том, как однажды шли много часов подряд и как было тяжело, — обычные разговоры. Хорошо, что эти ребята еще не знают, думал я, что тяжело в походе в единственном случае, а именно, если ты слабее всех. Однажды со мной такое случилось, и я три года потом «выздоровливал». А сейчас я бежал за этими ребятами, и сердце стучало радостно, как в лучшие времена.

Мы были на «Диких» уже в полной темноте. Непривычно и страшно ходить ночью по скалам. Наконец мы поднялись в «Грифы». На площадке, под самой вершиной скалы, стоит бревенчатый домик. Бревна сюда поднимали снизу лебедкой. Дом красив и удивительно точно вписан в профиль скалы. Как хорошо после ночного лазания войти в замкнутую безопасность дома и прилечь на широкие нары!

Спрашиваю Витю Янова, который привел нас в «Грифы»: разбиваются ли настоящие столбисты?

— Редко очень, не чаще, чем мастера-альпинисты. Есть ведь внутреннее чувство, подсознательный точный расчет. Хороший столбист лезет только тогда, когда может уверенно пройти ход. Вот Абалаковская щель, ведет она на «Коммунар» прямо снизу. Считалось, что Евгений Абалаков прошел ее когда-то. Но это неизвестно, точно мы не знаем. Лучшие скалолазы пытались пройти ее со страховкой, и не удавалось. И был на Столбах парень, Симочка. Он однажды пошел по щели без страховки, просто так, и взял ход. Это все видели.

— Симочка лучше всех ходил?

— Не знаю. Симочка ходил легко, ну, вот совсем без напряжения, и улыбался всегда. И со скалы он не мог упасть. Он был мотористом катера. Его резали в низовьях Енисея... Какая-то шпана. Я написал его имя на «Митре»: «Владимир Денисов».

Вот Дуся Власова, сама бы она никогда не упала. Но на «Токмаке» застрял приезжий альпинист из Перми. Внизу было много парней, но полезла Дуся, она ходила лучше всех. Не успела она подойти, как пермяк сорвался и сшиб ее, вместе и полетели, там было не очень высоко, пермяк здорово разбился, а Дуся упала удачно — сломала ногу. Через неделю пришла на Столбы на костылях и взойшла на «Первый» по «Катушкам». Потом ее на другие Столбы ребята подняли на руках.

Дусю я видел накануне. Она сидела на камне под «Вторым» столбом. Седой заулыбался, потрепал ее по коротким красно-рыжим волосам.

Ребята сказали «Дуся Власова», подразумевалось, что все на свете знают Дусю Власову.

Я помню старшего брата Дуси — Виктора Власова; чуть ли не с младенчества он был на Столбах, букварь на скалах читал. Он ходил по скалам с великой небрежностью, с гитарой, спускался сложными ходами вниз головой. На «Коммунар» он залезал с самоваром, с дровами, раздувал самовар голенищем, жарил блины, и не каждый мог зайти к нему в гости, хотя он приглашал всех. Говорят, он широкой души человек, любому мог отдать все, что у него было. Он ходил рабочим в экспедиции и, возвращаясь на Столбы, покупал ящик водки и поил всех. Он не мог упасть со скал, и другие при нем не падали. Потом он подолгу жил в Столбах, собирал грибы, ягоды. Шесть лет назад, в прошлый мой приезд на Столбы, я сидел с ребятами возле костра. Из темноты вышел высокий парень. По чуть уловимо

дрогнувшей атмосфере у костра я понял, что это Виктор Власов. Он тихо сел в стороне и не лез в разговоры, а потом спел песню об одиночестве на скалах.

Я слышал, что он считался комендантом Столбов, но ребята говорят, что это брехня. Ни комендантов, ни королей на Столбах никогда не было и не будет, потому как не может быть королей среди королей.

На «Втором» на голой стене, в стороне от ходов, с дореволюционных времен начертано слово «Свобода». Буквы не старятся, их подновляют. Перед революцией на Столбах вывешивали красные флаги. При Колчаке ночью кто-то поднял флаг на «Большой Беркут». На эту скалу и днем не смогли залезть. Колчаковцы расстреливали флаг снизу.

Про «Большой Беркут» мне рассказал Витя Янов. Он говорит, что по Столбам ходят и ночью, потому что обычные ходы коротки, их запоминают на ощупь. На спор столбисты ходят с завязанными глазами. Были случаи, когда старые столбисты, придя с войны ослепшими, ходили по скалам на память, без подсказок. Но Витя говорит, что ходить ночью в одиночку трудно. Он рассказывает, что мальчишкой на спор залез в темноте на «Токмак» и в доказательство оставил на вершине ножик. И теперь уже много лет каждую весну снова в одиночку ночью поднимается он на «Токмак», чтобы убедиться и обрадоваться тому, что еще не стареет. Витя Янов — художник-профессионал, он сделал гравюру «Флаг на «Беркуте».

Я рассказал уже, как шел с Седым и Художником по простым приятным «Катушкам», но умолчал, что этот приезд на Столбы начался с испытания, нелегкого для моего самолюбия. Но теперь я чувствую, что должен все-таки рассказать, как попытался подняться на «Митру». И дело не в том, что ночь в самолете прошла без сна и что, едва придя на Столбы, я увидел парня и девчонку, только что упавших со скалы, и я их тоже нес на самодельных носилках... Нет, на сей раз я приехал сюда, чтобы написать о Столбах, и готовился подсмотреть на себе острое ощущение риска. Вот так и полез на «Митру», движимый не просто азартом, и, уже идя по стене «Митры», попросил вдруг страховочную веревку. Сергей Прусаков, мастер спорта по альпинизму, невозмутимо ждал, пока я обвяжусь веревкой. И я вновь полез по стене, волнуясь, думая обо всем на свете, кроме хода, которым иду. Неожиданно я увидел Сергея сбоку и выше, он обошел меня по стене, по другому ходу, а потом моментально зашел с другой стороны, без хода, прямо по стене, совершенно немыслимым образом. Я такого не видел никогда, я забыл, что все это — на стене «Митры», и удивлялся, и с интересом высматривал, на чем же он держится и что из всего этого выйдет.

В этот раз на вершине «Митры» я не испытал никаких эмоций. Спустился опять со страховкой, развязался, веревку скинул. Далеко внизу, прямо из тела стены виднелись зеленые ветки березок и кедров, или, как сказал Сережа, кедрúшек. Сверху по стене шел Художник. Он перепутал зацепки. Он явно застрял. Одна нога не находила опоры, другая угрожающе задрожала.

Сергей заговорил с ним почти грубо:

— Возьмись за зацепку, меняй ноги, ты что глупишь, упасть хочешь?

Художник нашел зацепки, добрался до щели, крепко заклинил в нее руку. Дальше произошло нечто для

меня совершенно необъяснимое. Он без передышки опять прошелся по зацепкам вверх и потом опять по ним вниз.

— Вот сейчас правильно, — сказал Сережа.

Дальше мы шли «Леушенским» на «Второй» столб. Я уже иду нормально, без страховки (для Столбов это нормально). Щель узкая, но она как бы постепенно раскрывается, и идешь в вертикальном желобе, и нет этой открытой свободной пустоты, и спокойнее. Сергей рядом. Его уверенность, непонятная, странная, начинает даже раздражать меня. Появляется капризная мысль: а что он будет делать, если я попытаюсь сорваться? Потом, уже на спуске, я, обнаглев, прыгаю, и нога чуть скользит. Сергей останавливается, он медленно говорит, что это недопустимо совершенно, этого никогда не должно быть. И я начинаю понимать правила игры, по которым я обязан быть внимательным и аккуратным предельно возможным для себя образом, тогда об остальном позаботится он, Сергей, и эти ребята. Я подумал, что вообще исконно естественно для человека быть предельно внимательным, а за четкостью своих движений отвечать жизнью. Цивилизация отучила нас от этого. И хотя, живя без риска, мы невольно возвеличиваем обыденность, но, определенно, есть у человека неосознанное стремление к риску. Мне, однако, претит коррида, как и острая соревновательная игра с себе подобными, и злость при этом неминуемая, может быть, и она естественна, но мне несимпатична. А вот на скалах все иначе.

Спрашиваю Сергея: как же он, альпинист, рискует водить новичков по скалам без веревки? И что можно сделать, если в метре от тебя человек спрыгивается и падает вниз?

— Я вижу, когда человек собирается упасть и можно подойти к нему и подставить руку, ведь нужно совсем немножечко поддержать, копеечное усилие, потому что на Столбах человек сам держится, и еще как держится!

На третий день утром я уходил со Столбов. Я шел один по пустой тропе и, подойдя к «Митре», остановился, еще раз прочитал на скале две надписи: «Владимир Денисов, Сима, 1939—1962» и «Цедрик Алик, 1947—1968».

Про Симочку я уже рассказывал. А что я знаю про Алика Цедрика? Он был, говорят, заурядным столбистом, на «Митру» ходил, но один — никогда. И однажды в будний день, возвращаясь с ребятами со Столбов, Алик отстал. А ребята подумали, что он ушел вперед, что он уже в городе. Его нашли через три дня лежащим у подножия «Митры»...

Он отстал, чтобы одному пойти на «Митру». И ребята решили написать его имя высоко на скале, рядом с именем Симочки.

Я вдруг подумал, что улечу сегодня в Москву, и кто знает, когда еще вернусь сюда и смогу подняться на «Митру»?..

А взойти в этот раз на «Митру» и притом самостоятельно мне было очень важно. Я был один у подножия скалы, хотя не стремился к этому — уж так случилось.

И пошел по скале. У качающегося камня остановился, потом сел на него верхом, стал смотреть вниз... Наконец внушил себе, что падать не собираюсь, что сейчас выйду на стену...

И тут пошел дождь.

А в дождь лезть на «Митру» нельзя, и я обрадовался дождю, как избавлению...



ИСПАНСКАЯ СЕРИЯ ЮРИЯ ПЕТРОВА

«Надо только суметь показать человека на войне. И не сорвать голоса... Я не люблю крика...» — сказал однажды Мате Залка.

Недавно мы видели живого Мате Залку — легендарного генерала Лукача в фильме «Гренада, Гренада моя!», рассказывающем о героической борьбе молодой Испанской республики с фашизмом.

Фильм этот посвящен интернациональным бригадам, в которых сражались антифашисты из разных стран. Они полюбили многострадальную испанскую землю, ее народ, с которым их связала дружба, скрепленная кровью, пролитой за общее дело. Среди этих людей был человек, сумевший выполнить завет Мате Залки, — русский художник Юрий Петров: он сумел показать человека на войне.

Страстное увлечение Ю. Н. Петрова Испанией началось еще в юности. Все восхищало и привлекало его в этой стране: живопись Эль Греко, Веласкеса,

Гойи, литература, своеобразная архитектура, романтическое прошлое, природа, народ Испании. С жадностью он собирает в книгах и музеях сведения об этой стране, изучает испанский язык. В 1937 году мечта художника неожиданно осуществилась — он попал в Испанию, но не как турист, а как боец-переводчик, прикомандированный к танковой бригаде.

В обстановке непрерывных военных действий художник ни на минуту не забывал о своей основной профессии. Бесчисленные наброски, сделанные в перерывах между боями и переходами, в короткие минуты затишья дали ему драгоценный фактический материал.

Вернувшись из Испании, Петров с увлечением берется за работу. В течение года он создает «Испанскую серию», состоящую из сорока двух листов.

Вверху: Ю. Петров. Серенада раненому бойцу.

Основная тема «Испанской серии» — народ в войне, люди разных профессий и возрастов, связанные единой целью спасти республику. Эту главную тему дополняют пейзажи, запечатлевшие суровую, прекрасную природу Испании.

Среди портретов, как бы крупным планом показывающих нам участников событий, особое место занимает портрет Долорес Ибаррури. Он не имеет непосредственного отношения к «Испанской серии», так как был сделан для сборника стихов «Салют, Испания!». Ю. Петров видел Пасионарию, не раз слышал ее выступления.

С любовью художник создавал «Портрет бойца». Это один из тех тысяч рабочих, которые по зову республики оставили свои дома и семьи, чтобы взять оружие и встать на ее защиту. Один из лучших рисунков серии — «Серенада раненому бойцу» — полон глубокого содержания. Перед носилками, на которых полулежит раненый боец, два человека с гитарами. Один из них — солдат, товарищ ра-



Портрет бойца

неного, другой — пожилой крестьянин. Притихшая девочка сидит на земле подле носилок.

Пейзажи «Испанской серии», выполненные акварелью, очень нежны и изысканны по колориту. В прошлом году в издательстве «Художник РСФСР» вышел альбом, в котором воспроизведены все листы



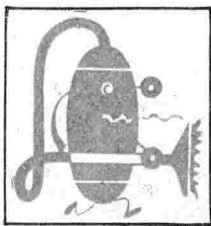
Долорес Ибаррури

«Испанской серии» Ю. Н. Петрова. Этот альбом — дань памяти художнику, погибшему на Ленинградском фронте в июне 1944 года.

Е. ХОДЗА



Портрет
девушки



Варлен Стронгин

СМЕХИ

Рисунок И. Оффенгендена.



Меня не всегда переваривало начальство. Зато я нравился молодому инженеру Свете. Это было для меня главным.

— Люблю остроумных людей,— говорила она.— Но шуточки в рабочее время тебя до добра не доведут.

Света оказалась права. Однажды я сострил по поводу показухи,

и Николай Петрович пригласил меня в свой кабинет.

— Смеяться изволите. Слышал. Смешно. Даже очень,— как-то нехорошо улыбнулся он.— А вы по делу шутить можете?

— Это как? — спросил я.

— Ну, например, по вопросам использования производственных мощностей, экономии средств или охраны труда.

— Не пробовал.

— Что ж, попытайтесь,— в tone приказа предложил Николай Петрович.— Вот вам тезисы моего доклада на районном совещании. Внимательно посмотрите и, где возможно, добавьте смеха. Это сейчас модно.

Три дня я ломал голову над заданием.

— Думаете, смешно получилось? — сказал Николай Петрович.— Сейчас проверим на бухгалтерии.

Главбух слушал доклад, смеялся — и даже в тех местах, которые я оставил без изменения. Николай Петрович недоверчиво посмотрел на него, но ничего исправлять не стал.

— Михалков! — похвалил он меня после выступления.— В докладе было четыре хороших смеха и один отличный, с аплодисментами!

В следующее выступление Николая Петровича мне уже удалось вкратить шесть отличных смехов.

— Малость переборщили,— заметил он.— Это уже не доклад получился, а монолог Аркадия Райкина. Кстати, вы по-шведски острить умеете?

— Нет.

— Ну ничего. Шпарьте по-русски. Там переведут. На днях встреча с делегацией из Швеции. Так вы хотя бы пару смехов сделайте. На тему хоккея с шайбой, «Тре крунур», «Хейя»...

К этому времени я уже посерьезнел и перестал шутить даже в присутствии Светы. Она как-то странно смотрела на меня, но я не придавал этому значения и упорно придумывал смехи. Мои труды не пропали даром. Через месяц Николай Петрович выступал в развлекательной радиопередаче, а еще через некоторое время по местному телевидению судил КВН.

С домашним заданием обе команды справились неплохо,— авторитетно решал он.— Но у команды цинкового комбината было на один смех больше, и поэтому ей присуждается восемь очков!

Николай Петрович стал модно одеваться, даже помолодел.

— У меня сегодня после работы встреча с молодежью,— сказал он мне.— Нужно три-четыре интеллектуальных, современных смеха.

После работы Николай Петрович провожал Свету. Смехи действовали.

— Люблю остроумных людей,— ворковала Света, повиснув у него на руке.

● ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС.

Юрий Раков



НОВЫЙ ХОД

Рисунок М. Шестопала.

С приятелем по институту я не встречался несколько лет. И вдруг в переполненном автобусе кто-то хватает меня за руку. Обернулся — вижу знакомое лицо. Приятель спрашивает:

— Как поживаешь, старик? Все еще коптишь в своем КБ?

— Копчу, — отвечаю. — А ты как?

— Разве не слышал?.. Жили-были три веселых маляра... — вдруг запел он.

— И подбирали колера, — допел я. Память на популярные песенки, признаться, у меня всегда была хорошая.

Приятель закивал головой.

— А эту помнишь? Где-то, где-то, где-то... — затянул он.

— На краю земли и света... — дотянул я.

— А Боря, Боря, Боря, Боря, Боря? — спросил он.

— Боря, Боря, Боря в Черном море, — спел я в ответ. — Так это все ты?

— Слова — я, а мотивчики других. Нравится?

— Ничего... запоминающиеся слова... Особенно про Борю...

— Пройденный этап! Сейчас нужен новый ход. Специализация. Свежинка. К примеру, для школьников что-нибудь такое:

Очень жаль, что на десять пятаков По статистике девять колов.

Или песенка-реклама для Аэрофлота:

Хочешь самолетом — да!
Хочешь пароходом — нет!

На этот же мотив можно рекламировать и водные путешествия:

Хочешь самолетом — нет!
Хочешь пароходом — да!

Для влюбленных все больше идут песенки почти без слов:

Если ты доверяешь мечтам,
Это значит тарурам.

Глаза приятеля разгорались огнем вдохновения. Я внимал ему с раскрытым ртом. Кто бы мог подумать, что мой товарищ, сдававший когда-то с грехом пополам водоснабжение и канализацию, станет поэтом-песенником!

В этот день на работе в Гипросельхозе я был особенно рассеян. Штамповал типовой проект птичника, а сам мучительно искал. Искал тему для новой песенки.

Кажется, телепрограмма «Театральная тумба» не имеет музыкальной заставки, вспомнил я. Но ничего, кроме «через тумбу-тумбу — раз, через тумбу-тумбу — два», в голову не приходило.

Нет, нужно найти новый ход!

А если нечто сказочное? Великаны и гномы, Буратино, Дон-Кихот... Все было. Меня опередили. Жажда самовыражения оставалась неутоленной.

...Долго я не видел своего институтского приятеля. Наконец, он повстречался мне на улице. Вид его был куда менее жизнерадостным, чем при встрече в автобусе.

— Как поживаешь, старик? — На этот раз уже я схватил его за руку.

— Местами, — протянул он. В его голосе не чувствовался прежний металл.

— Есть новинки? — полюбопытствовал я.

— Да так, кое-что. Понимаешь, старик, сейчас опять почему-то в

ходу старые. К примеру, «На солнечной поляночке»...

Некоторое время мы шли молча.

— Есть сигареты? — спросил он.

— Нет! — пропел я.

— Есть папиросы? — буркнул он.

— Да! — заорал я.

Мы закурили.

— Закурю-ка, что ли, папиросу я... — Он слабо улыбнулся.

— На днях, старик, слышал отличную оркестровую обработку этой штучки. Неплохая идея: а что, если сделать песню в песне?

— Как это? — спросил я.

— Очень просто, — горячо зашептал он. — Новая песня о старой песне! Главное, свежо.

В глазах его загорелся огонь вдохновения.

— Ну и что получится? — наивно спросил я.

— Как что? Шедевр! Вот послушай:

Закурю-ка, что ли, папиросу я,
Никогда я раньше не курил.
Полюбил я девушку курносую,
Да, видать, напрасно полюбил.
Ох, неприятности!..

Ничего? — хлопнул меня по плечу товарищ.

— Пока абсолютно ничего — ни одного твоего слова.

— А припев?!

— Какой?

Там-та-будам-табудам-табуда.
Старая песня, а как молода!

И я почувствовал, что присутствую при рождении нового хода.

г. Ленинград.

• ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС •

Акварели
Г. ХРАПАКА.



Ульяновск. Бульвар Новый Венец.



1870
-1970

Ордена Ленина средняя школа № 1 имени В. И. Ленина.
В этом доме помещалась гимназия, в которой учился Володя Ульянов.



Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Первый заместитель главного редактора
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: А. Г. АЛЕКСИН, В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ,
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Индекс
71120